Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 2

ПРОЛОГ

***РОМАН***

***ИЗ НАЧАЛА***

***ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ***

ЛЕНИНГРАД

**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1978

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

ПРОЛОГ ПРОЛОГА

*Посвящается той,*

*в которой будут узнавать*

*Волгину*

**Глава первая**

Было начало весны 1857 года. Весь образованный Петербург восхищался прекрасным началом своей весны. Вот уже третий день погода стояла не очень холодная, не совсем пасмурная; иной час даже казалось, будто хочет проясняться. Как же не восхищался бы образованный Петербург? Он был прав, если судить его чувство по петербургским понятиям о весне.

Но, восхищаясь весною, он продолжал жить по-зимнему, за двойными рамами. И в этом он был прав: ладожский лед еще не прошел.

Часу в двенадцатом утра по солнечной стороне Владимирской площади, в направлении к Невскому, шли смуглая дама и бледноватый мужчина с плохою рыжею бородою. Они были жена и муж. Мужу было лет двадцать восемь или тридцать. Он был некрасив, неловок и казался флегматиком. Тускло-серые глаза его, в золотых очках, смотрели с тихою задумчивостью на жену. Жена весело смотрела вперед, беззаботно опираясь на руку своего спутника, и, по-видимому, очень мало думала о нем. Но заметила, что он не спускает с нее глаз, улыбнулась, сказала: «В три года все еще не нагляделся», и опять перестала обращать внимание на него.

— Твоя правда, голубочка, — вяло согласился муж, подумавши; вздохнул и сказал: — А знаешь ли, о чем я думал, голубочка? Когда ж это будут у тебя свои лошади?

— Довольно смешно вздыхать, мой друг. Теперь мы живем хорошо; со временем будешь получать больше. Тогда куплю себе и лошадей. А пока отучайся не спускать с меня глаз: это забавно.

— Твоя правда, голубочка, — отвечал он и стал рассеянно глядеть по сторонам. Через минуту сострадательно усмехнулся.

Навстречу шел студент с длинными, гладкими, светло-русыми волосами — тоже некрасивый и неловкий, как и спутник смуглой дамы, тоже несколько сгорбленный, — только в нем это было гораздо заметнее, потому что он был очень высокого роста — тоже бледноватый, тоже с тускло-серыми глазами, тоже в золотых очках. Он пристально смотрел на смуглую даму, и лицо его оставалось спокойно, холодно. Потому-то муж смуглой дамы и не мог удержаться от сострадательной усмешки: наконец- то нашелся человек еще хуже его самого. Еще юноша, и такая рыбья кровь! Муж смуглой дамы не знал, более ли смешон или более жалок ему этот студент.

— Чрезвычайно умное лицо у этого молодого человека, — сказала смуглая дама, когда студент прошел. — Необыкновенно умное лицо.

Муж подумал. Точно, лицо студента было не только холодно, но и умно.

— Правда твоя, голубочка. Должно быть, умный человек. Но бездушное существо, хуже меня.

— Почему же? Не влюбился в меня?

— Не смейся, голубочка, — отвечал муж, — это моя правда.

— Ты забавный человек, мой друг, — сказала жена, засмеявшись.

— Вовсе не я, голубочка, разве я сам думаю? Вовсе не сам; ты знаешь, я говорю это больше по слуху, чем сам. Все говорят мне. Чем же я виноват? — вяло возразил он. — Я тут посторонний человек; я говорю по чужим словам. А чужое мнение в этом надобно считать справедливым. Что правда, то правда.

— Перестань, мой друг, надоел.

— Ну, хорошо, голубочка, — согласился он и замолчал. Через минуту начал мурлыкать нараспев, сначала про себя, потом послышнее и послышнее, неслыханным и невозможным ни в какой музыке мотивом: «Как у наших у ворот — ай, люди, у ворот, — стоял девок хоро-

вод — ай, люли, хоровод». Он был глубоко убежден, что изумительный мотив не был его собственным сочинением.

— Перестань, мой друг, — заметила жена. — Ты, кажется, забыл, что ты идешь не один.

— А, точно, голубочка, — согласился он и несколько сконфузился. Зная достоинство своей вокализации, он вообще занимался ею только для собственного удовольствия. Кроме того, жена убеждала его, что идти по улице и напевать — смешно, и он постоянно желал помнить это.

— С тобою стыд и смех, мой друг.

— Ну так что же за важность, голубочка, — с философским спокойствием отвечал он и стал с усиленным усердием глядеть по сторонам, чтобы опять не замурлыкать по рассеянности.

— Знаешь ли что, голубочка? — начал он через минуту. — Ты отпустила бы меня. Уверяю, отпустила бы, — ну, что же не отпустить? Прогулялся довольно. А ты сама купишь мне перьев. Уверяю, купишь. А то в другой раз: у меня еще есть несколько.

— Как тебе не совестно? Прошел двадцать шагов и уверяет, что довольно!

— Не двадцать, голубочка, а двести или гораздо больше. Уверяю.

Жена оставила это уверение без всякого ответа.

— Ну, что же, голубочка? Я только так сказал, а я иду с удовольствием. Уверяю. Как же? Разве я не понимаю, что ты принуждаешь меня только для моей же пользы, а не то что тебе самой приятно, что я иду с тобою.

— Если понимаешь, то зачем же сердишь? С тобою больше скуки, чем с Володею.

— Видишь ли, голубочка: ты делаешь это потому, что думаешь, будто вредно, что я все сижу. Но я не все только сижу, я тоже и лежу. Зачем же мне ходить?

Рассуждение не было лишено основательности. Но жена только промолчала на него. Муж глубоко вздохнул и опять стал глядеть по сторонам, с апатиею, не совершенно соответствовавшею тяжкости страдания, выраженного вздохом.

По одну сторону была мелочная лавочка, дальше вывеска сапожника, дальше ничего замечательного. По

другую сторону — тротуарные тумбы, голубая извозчичья карета, опять тумбы, тумбы, тумбы... Дальше, с этой стороны, все то же: тумбы, тумбы; с той — лавочка, лавка, лавочка, прекрасный подъезд с резными дубовыми дверьми, с бронзою.

Шедший с удовольствием муж внимательно рассматривал все это, для рассеяния своей скорби.

— Эх, голубочка, — начал он. — Если бы я был хоть немного поумнее, то и теперь у тебя уже были бы свои лошади.

На эту новую мысль навело его то, что он с женою подходил к карете.

— Ты не поверишь, как я глуп в своих делах.

— Замолчи, не серди.

— Ну, хорошо, голубочка, — согласился он и взглянул налево, направо — как раз против окна кареты.

Занавесь окна кареты была опущена, только угол приподнят. Рука, придерживавшая его, торопливо упала. Но муж смуглой дамы еще успел рассмотреть лицо, спешившее закрыться. Это было очень чисто выбритое лицо мужчины лет тридцати пяти, не жирное, скорее, напротив, сухощавое, но свежее, здоровое; овальное, с тонкими чертами, с красивым профилем. Темные волоса были коротко острижены; оттого высокий лоб казался еще выше. Светло-карие глаза зорко смотрели на подъезд с дубовыми резными дверьми, бывший в полусотне шагов, — карета стояла поодаль от него.

— Видела, голубочка? Каков бестия?

— Видела, и помешаю ему. Пойду на этот подъезд, найду, где она. Найду.

— Трудно будет найти, голубочка. По этой лестнице квартир десять, я думаю. Где она, там прислуге велено отказывать.

— Не велико затруднение.

— Твоя правда, голубочка, — тотчас же рассудил муж. — Подъезд богатый, потому квартиры большие. Спросишь у швейцара обо всех. Вероятно, почти все заняты семейными...

В эту минуту дверь подъезда отворилась. Вышел стройный молодой человек в гороховом пальто. Из-под шляпы вились каштановые волосы, слегка кудреватые. Лицо было прекрасно, что редкость в красивых мужских лицах, не женоподобно. Муж смуглой дамы с любезной улыбкою — потому что был такой же искусный светский

человек, как и певец, — хватился за фуражку и поклонился с грациею, свойственною всем медведям и очень немногим людям, — но светскость осталась оказана совершенно понапрасну: молодой человек, выходя из двери, уже повертывался к Невскому и не видел замечательной эволюции любезного светского человека. Любезный светский человек надел фуражку и продолжал свое рассуждение, прерванное для светской эволюции.

— Почти везде семейные люди, у них нечего искать. Одна, много две квартиры, где надобно искать. А то, что прислуга говорит: «никакой дамы здесь нет», — что за важность? По тону будет видно, правда ли. Уверяю, голубочка.

— Хорошо, верю. Но ты знаешь этого молодого человека? Что за прекрасное лицо! Он очень понравился мне. Ты позови его к нам.

— Я вижу его, голубочка, когда бываю у Рязанцева. Очень благородный...

— Слышишь? Да не оглядывайся, мой друг: если опять взглянешь так ловко, этот, в карете, поймет, что мы заняты им и любовником! Мне будет трудно помочь жене, или сестре, или кто она ему. А я не хочу бросить этого!

— А! Точно! Слышу, голубочка.

Дав молодому человеку отойти подальше, извозчичья карета тронулась. Муж смуглой дамы хоть и отличался не столько догадливостью, сколько основательностью, понял, что карета следит за молодым человеком, с которым он неудачно раскланялся.

— Так вот кого подкарауливал этот шельма! Видно, жена-то осторожна, не уследишь, — так он за молодыми знакомыми! Видишь, я недаром сказал: о, бестия! Да что же, голубочка: ты сказала «жена, или сестра, или кто она ему», — не знаешь, значит, что он женатый, видно, не знаешь его?

— Не знаю, мой друг, — а кто ж это?

— Все у того же Рязанцева! Это, я тебе скажу, удивительно, кого не увидишь у этого Рязанцева! Раз я сижу у него один, входит эта шельма, Рязанцев рекомендует: Савелов! Я, разумеется, сейчас ушел: черт с ними!

— Так это муж милочки Савеловой? О, как я рада, что я услужу ей! Я просто влюбилась в нее, когда увидела в концерте, — мало и слушала, все любовалась! Но му-

жа там не было, она была с кем-то другим, старше его. Ах, что это за красавица! Вот это, мой друг, красавица! Большие темно-голубые глаза, тихие, нежные, сама беленькая, беленькая, нежненькая — ах, так и расцеловала бы ее! Ах, как я рада услужить такой милочке!

Молодой человек в гороховом пальто шел очень быстро. Карета, следившая за ним, опередила смуглую даму и ее мужа.

— Подзови извозчика, мой друг, — сказала смуглая дама. Муж подозвал. — Садись и ты.

— Точно, голубочка. Со мною лучше. Может быть, и понадоблюсь.

— Нет, мой друг; но я хочу, чтоб ты рассказал мне об этом молодом человеке. Вот это парочка, мой друг, он и Савелова! Ах, как я рада, что у нее такой любовник! Ах, что за прелесть оба! Я расцелую их обоих — и ее, так и быть, и его!

— Ну, голубочка, себя-то она позволит тебе целовать, — а его-то не очень-то.

— Вот прекрасно! Смеет! Если б у меня был такой любовник, я не позволила бы ей, — а ей, такой милочке, бояться меня!

— Ну, голубочка, знаю я этих красавиц! — Основательный муж покачал головою. — Видывал, голубочка. Когда прежде жил в Петербурге, бывал в опере, — видел. Красавицы! Видишь ли, голубочка: по-моему, — ну, да вот покажи мне свою Савелову, — ну, покажи. Вперед знаю: ничего особенного.

— Ах, не люблю, когда ты так врешь. Лучше рассказывай о нем. Вот если б у меня был такой муж или хоть любовник, — ах, как бы я любила его!

— Ну, голубочка, это еще неизвестно, стоило ли бы любить, — основательно возразил муж. — Были ж у тебя женихи не хуже его, — что же не шла?

— Ах, нет, такого не было! О нем ты не смей и говорить! Это прелесть, прелесть! Да что же ты знаешь о нем, говори скорей! Ах, если бы можно было отнять его у нее! Ах, отняла бы, отняла бы, мой друг! Ах, зачем она лучше меня? Я отняла б его у нее! Отняла бы, отняла бы, мой друг! Нет, лучше рассказывай о нем, а то я готова плакать, — ах, какая досада!

Муж покачал головою. В самом деле, странно было то, как думала о себе смуглая дама. Она никогда, нигде не встречала соперниц себе. Когда она бывала в театре,

и продажные и непродажные аристократки красоты зеленели и багровели от зависти. Она одна не хотела замечать эффекта, который производит. Впрочем, ее муж находил это нисколько не удивительным: живость характера не оставляла ей досуга наблюдать, производит ли она эффект. На бале она была занята балом, танцами, разговорами; в опере — оперою, разговорами с теми, кто сидел подле нее. А главное, она приходила в восхищение от каждой хорошенькой блондинки, она любовалась на блондинок до того, что забывала о себе и даже не любила себя: зачем она не такая беленькая, беленькая, зачем у нее не голубые глаза. Когда ее заставляли замечать, как отвлекаются ею глаза мужчин от всех, и от блондинок и от брюнеток, она говорила, что мужчины глупы, слепы, и через четверть часа забывала о них, чтобы восхищаться какою-нибудь блондинкою. Так, она слишком мало думала о себе и после, когда ей много раз указывали эффект, какой она производит в больших собраниях. Но теперь она еще только начинала выезжать в общество, и любовник Савеловой был первый человек в Петербурге, лицом которого она так увлеклась. В первый раз после девических лет, о которых теперь она вспоминала как о ребяческих, она подумала о том, хороша ли она собою, — и готова была расплакаться от досады, зачем она не блондинка.

— Друг мой, скажи мне, что это со мною? — начала она, наполовину смеясь, наполовину грустно. — Неужели я делаюсь глупою девчонкою в мои лета? Неужели я могу влюбиться? Это было бы смешно, мой друг.

— Не знаю, как тебе сказать, голубочка, — отвечал основательный муж.

— Но мне кажется, я в самом деле была бы готова полюбить кого-нибудь... Я так увлеклась, — не смешно ли это?

— Что касается касается собственно до этого, голубочка, — глубокомысленно отвечал муж, — это, разумеется, еще ничего не значит; стала говорить со мною, заговорилась, расфантазировалась. Пустяки.

Она задумалась.

— Но рассказывай, что ты знаешь о нем, — сказала она, опять смеясь. — Не могу отнять его у Савеловой, так и быть. Но хочется полюбить кого-нибудь — вот увидишь, найду себе любовника.

— Ну посмотрим, голубочка, желаю тебе, чтоб

нашла еще лучше этого. А впрочем, и этот хороший человек, не говоря о том, хорош ли собою, — флегматически пошутил муж и стал рассказывать основательно.

Фамилия молодого человека была Нивельзин. Муж смуглой дамы встречал его, когда бывал у Рязанцева, тогдашнего авторитета петербургских прогрессистов. Молодой человек не возвышал голоса между знаменитостями петербургского либерализма, и муж смуглой дамы едва обменивался с ним несколькими словами, но довольно слышал о нем от Рязанцева.

Рязанцев очень хвалит Нивельзина, и, кажется, справедливо; да, справедливо, подтвердил сам себя основательный рассказчик, подумавши: по крайней мере верно то, что Нивельзин очень хороший человек и, безусловно, честный. Нет, мало того, и даровитый человек, и при этом очень скромный; да, очень: говорит о себе, что должен еще учиться; больше слушает, нежели говорит: как же? — там рассуждают такие мудрецы! Рязанцев и другие — такие ученые, знаменитые, что остается только слушать! Он скромный человек, он мало говорит, а между тем когда скажет что-нибудь, всегда умно и дельно.

Он помещик, довольно богатый. Отец его, важный генерал, отдал сына в школу гвардейских подпрапорщиков. Сделавшись офицером, сын продолжал учиться. Отец находил это лишним. Были размолвки. Сын остался при своем и поступил в академию Генерального штаба. Тогда это считалось неприличным аристократу. Отец негодовал. Но сын приобрел репутацию офицера, подающего высокие надежды. Отец примирился. Сын пошел по службе очень быстро. Но как умер отец, подал в отставку. Он математик и астроном. Его уважают как ученого. Его работы печатаются в бюллетенях Академии наук.

Прежде он был ветреником. Да и не мог не быть: светские дамы вешались ему на шею. И натурально, что вешались: надобно признаться, хорош собою и блистательный человек. Да, ветреничал. Но потом почувствовал, что увлекаться кокетками — пошлость, и стал чуждаться большого света. Этой перемене сильно помогло то, что он заинтересовался общественными вопросами. Поехал в свое поместье. Честно устроил свои отношения с крестьянами, не жалея уменьшить свои доходы, чтобы облегчить совесть. Да, он один из тех немногих богатых

людей, у которых честный образ мыслей применяется к делу.

Между тем Нивельзин повернул на Невский, перешел Аничков мост. Карета с Савеловым переехала Аничков мост.

Нивельзин вошел в богатый модный магазин. Карета с Савеловым остановилась, немножко не доезжая магазина.

— К тротуару, направо, — сказала смуглая дама извозчику. — Ты можешь ехать домой, — заметила она мужу. — Рад?

— Натурально, голубочка; ну, а погляжу, как ты пойдешь.

— О, какой ты чудак, мой друг! Смешнее всякого жениха!

— Ну, что за важность, что тебе смешно, голубочка, — совершенно основательно возразил он.

Она взошла в магазин. Он велел извозчику ехать назад: извозчик стал поворачивать лошадь.

— Милостивый государь, позвольте сделать вам один вопрос, — сказал с тротуара твердый и спокойный голос. Муж смуглой дамы оглянулся: подходил тот высокий студент с бесстрастным лицом.

— А, это вы! Извольте, какой вопрос? — Муж смуглой дамы умел разговаривать очень замысловато: он не показал виду, что понимает, о ком будет вопрос.

— Кто эта девушка?

— А, так и вы не угадали! Точно, никто не угадывает. Она три года замужем.

Смуглые женщины вообще кажутся старше своих лет. А ее все принимали за очень молоденькую девушку, хоть она была три года замужем и имела двадцать лет, выходя замуж. Когда она говорила, что она замужем, ей отвечали: «Вы смеетесь»; когда она говорила, что она уже давно замужем, что у нее уже есть сын, — перестали сомневаться, что она мистифирует; когда она говорила, ей уже двадцать четвертый год, ей отвечали тем, что формально объяснялись в безграничном уважении и просили ее руки, потому что на такую неловкую мистификацию нельзя было обращать уже никакого внимания.

— Да, милостивый государь, она давно повенчана, — продолжал хитрый человек, усиливая впечатление своей замысловатости в разговорах остроумнейшими оборо-

тами слов. — Я могу ручаться вам, что она давно замужем, потому что сам был на ее свадьбе.

По лицу студента пробежало что-то похожее на легкую тень, но мгновенно и едва заметно.

— Она ваша супруга?

— Да. А вы, должно быть, вздумали влюбиться в нее? — Хитрый человек был не только чрезвычайный хитрец, но и великий мастер шутить. Уместны ли шутки или неуместны, умны или глупы, это выходило как случится; его забота была только то, чтоб выходило, по его мнению, шутливо. — Но не огорчайтесь на меня. Я не думал, что она повенчается со мною. Я не был влюблен в нее, молодой человек. Я был тогда благоразумнее вас; впрочем, мне было тогда двадцать пять лет. В ваши лета простительно быть неблагоразумным.

— Вы шутите, но, в сущности, вы прав, — отвечал студент, уже давно сделавшийся по-прежнему бесстрастным. — Глупо влюбляться в таких женщин, если есть другие такие женщины. Надобно молиться на них. Я и думал, что я не забывал этого. Из ваших слов я вижу, что кажусь несколько влюбленным. Но если вы и не ошиблись, это чувство совершенно ничтожно: я человек апатический.

— Мне самому так показалось; иначе разве стал бы я шутить?

— Я не мог думать, что она уже вышла замуж, и подходил к вам с тем, чтобы узнать, каким образом мог бы я познакомиться с ее родными. Теперь я прошу позволения бывать у вас.

— Признаться вам сказать, я очень мало тут значу. Заходите ко мне; если понравитесь ей, прекрасно; если нет, то я сам по себе — извините за откровенность — не стану приглашать вас. Я, признаться сказать, не люблю никаких знакомств. Но полагаю, что она полюбит вас. Вы, должно быть, умный человек, — потому что так ей показалось. Вот вам, — он вынул свою карточку. — Заходите.

— Вы Алексей Иваныч Волгин? — с некоторою оживленностью сказал студент, взглянув на карточку.

— Да-с, — флегматически отвечал муж смуглой дамы и вслед за тем взвизгнул пронзительным ультрасопрано, от которого зазвенели стекла в соседних окнах: — Ххи-ххи-ххи-хха-хха-хха-ххо-ххо-ххо! — изумительная рулада перелилась через теноровые, раздирающие ухо звуки

в контрабасовый рев, от которого, сквозь шум экипажей, загудела мостовая: — Ххо-ххо-ххо-хха-хха-ххи- ххи-ххи! — поднялась рулада опять до пронзительного визга. — Ххи-ххи-ххи! А вы, я вижу, мой поклонник? Вот находка! Драгоценность! В целой России только два экземпляра: вы да я сам. Ну, прощайте. Заходите. Думаю, что жена полюбит вас. Прощайте. Нет, позвольте: в котором курсе вы?

— Я студент педагогического института, а не университета. Кончаю курс.

— Ну, вот видите, я чуть не сделал глупости, забывши спросить. Кончаете курс, то прежде кончайте курс: экзамены на носу, — или уже начались? Занимайтесь. Кончите, тогда заходите. Прощайте. Погодите, опять глупо: не сообразил. По окончании курса вас пошлют из Петербурга черт знает куда? Так заходите теперь.

Студент подумал.

— Нет, я не буду у вас до окончания курса. Тогда я приду к вам с какою-нибудь статьею. Надобно приготовить что-нибудь прежде, чем идти к вам.

— Хорошо. Но вас отправят черт знает куда?

— Нет. Я останусь в Петербурге.

— Ваш скотина директор любит вас?

— Нет. Но товарищ министра знает меня и обещал.

— Ну, это плохая надежда: тряпка.

— Кроме того, я даю уроки у Илатонцева; это вельможа. Он хочет, чтобы я продолжал их.

— А когда так, то другое дело. Попросит, и останетесь, правда. Прощайте же, наконец. Да, опять забыл: а фамилия-то ваша как же?

— Левицкий.

— Ну, прощайте, — ххи-ххи-ххи — мой поклонник — ххо-ххо-ххо-ххи-ххи-ххи... — залился он пронзительными и ревущими перекатами по всем возможным и невозможным для обыкновенного человеческого горла визгам, воплям и грохотам.

Мелодичности своих рулад он нисколько не удивлялся, но решительно не понимал и сам, как это визг и рев выходят у него такие оглушительные, когда он расхохочется. Обыкновенным голосом он говорил тихо, и пока он не начинал, по забывчивости, давать волю своей глотке, никто бы не мог ожидать, что он перекричит и петуха, и медведя.

— Я пришла к вам не покупать наряды, — сказала Волгина хозяйке магазина в ответ на фразу о приятности нового знакомства. — Мне надобно сказать вам несколько слов.

Любезно-вопросительное выражение лица магазинщицы сменилось одобрительно-скромным.

— Мой магазин в полном вашем распоряжении. Смею вас уверить, что ваше доверие ко мне будет оправдано. Прошу вас, — она отворила дверь в свою квартиру. — Нам удобнее будет продолжать разговор в моей гостиной.

— Конечно, — сказала Волгина. Через большой зал с великолепными зеркалами они прошли в гостиную, очень роскошную.

— Прошу вас. Здесь мы можем говорить совершенно свободно.

Они сели.

— Я пришла затем, чтобы предупредить молодого человека в гороховом пальто, который сейчас вошел сюда, что за ним следит господин, — имя которого он, вероятно, угадает. От самой квартиры за Нивельзиным ехала голубая карета, — он не заметил, скажите ему, что нехорошо быть таким неосмотрительным. Карета стоит теперь у вашего подъезда. Он увидит ее. Пусть он сейчас уходит отсюда.

— О, боже! Какое было б это несчастье!Monsieur Saveloff[[1]](#footnote-1) так силен! Он погубил бы меня! — Магазинщица, всплескивая руками, вскочила идти.

— Прошу вас, дослушайте же. Отдайте ему эту перчатку, — Волгина сняла перчатку с правой руки, — и пусть он любуется на нее, идя отсюда. Я выйду через минуту и тоже пойду мимо кареты — конечно, тот господин в карете будет ждать даму Нивельзина, — я уроню зонтик, буду поправлять шляпку — словом, тот господин увидит, что у меня одна рука в перчатке, другая без перчатки, — он увидит, что Нивельзин любовался на мою перчатку. Да берите же, несите ему, — берите же.

Хитрое, дурное лицо магазинщицы сделалось честным.

— Нет, я не возьму вашу перчатку. Я не могу допустить, чтобы вы так ужасно компрометировали себя. Он уйдет, этого будет довольно.

— Нет, этого не будет довольно. Карета стала бы ждать и дождалась бы. Вы сама говорите, что господин, который сидит в карете, умеет мстить; той, которую он подозревает, он может мстить сильнее, нежели вам. Она погибла, если войдет сюда прежде, нежели <он> убедится, что подозревал напрасно, что Нивельзин был здесь для меня. Самого Нивельзина я не хочу видеть; но ей я оставлю мой адрес, и мы подумаем, что ей делать.

— Вы незнакома с madame Saveloff?[[2]](#footnote-2) И так ужасно компрометируете себя для нее?

— Идете вы или нет?

— Вы незнакома с madame Saveloff?

— Незнакома или дружна, как вам угодно, только идите же.

— Но если вы незнакома с нею, почему ж вы знаете, что ее еще нет здесь?

— Как вы сердите меня! — нетерпеливо сказала Волгина. — Кто ж не знает, что мужчина приходит на свидание первый, пока женщина еще не надоела ему? Почему я знаю, что она еще не надоела ему? Можете полюбопытствовать позже. А теперь идите.

— Вы незнакома с нею — незнакома или во вражде с ним, потому что не хотите видеть его, — и между тем так ужасно компрометируете себя для нее!

— Кажется, вы уже начинаете подозревать, нет ли у меня злого умысла? Это лишнее. Идете вы или нет? Я сумею обойтись и без вас. — Брови Волгиной сдвинулись. — Идете вы или нет?

— Иду, иду, — проговорила модистка, торопливо вставая.

— Берите же перчатку, — забыли.

Модистка побежала и через минуту вернулась:

— Он умоляет вас сказать ваше имя, — он хочет знать, кто та, которой он обязан так...

— Умолять не было надобности, услышал бы от той дамы. Мое имя Волгина. Да пусть же он уходит поскорее.

Модистка убежала и возвратилась, запыхавшись:

- Он не знает вас. Но знает вашего супруга... Я не могу найти довольно слов, чтобы достаточно выразить вам мою благодарность. Вы спасли репутацию моего магазина, — я так дорожу ею! Поверьте, это был

совершенно исключительный случай, что я согласилась на просьбу madame Saveloff. Я так привязана к этой милой, милой молодой даме, что у меня недостало бы сил отказать ей ни в чем. Только поэтому, только для нее нарушила я свое неизменное правило с негодованием отвергать подобные просьбы...

Волгина засмеялась.

— Все это прекрасно. Но я сделаю вам маленький выговор. С какой стати заговорили вы о madame Saveloff? Я не говорила ни о какой madame, я говорила только о monsieur Nivelsin[[3]](#footnote-3).

— Я согласна, это была ошибка с моей стороны. Но, в сущности, тут не было нескромности. Понятно, вы должны были знать, кто она: вы видели, кто следит за monsieur Nivelsin.

— Я могла видеть, что за ним следит кто-то, и не знать кто. Но, я думаю, Нивельзин уже довольно далеко, и я могу идти.

Слушая рассказ жены о развязке этого маленького приключения, Волгин погружался в размышления, потому что был человек искусный в размышлениях.

— Ну, хорошо, голубочка; только ты скажи мне: по-русски говорила ты с этой магазинщицею или, я думаю, по-французски?

— По-французски, мой друг. Думала, совсем забыла, — нет, еще могу говорить, хоть не очень хорошо.

— Нет, голубочка, я вот о чем: как же она говорила тебе? «Вы» — по твоим словам выходит, — «вы»…

— Да, vous, — что ж такое? Vous.

— Гм! То-то же и есть!

— Что же такого особенного тут?

— Нет, я так, голубочка, ничего. — Он размыслил, что в разговорах с незнакомою дамою по-французски обращаются к ней не словом «vous», а словом «madame». Но если б он высказал свое соображение, что вот и магазинщица принимала ее за очень молоденькую девушку — потому-то и спорила против нее, — то жена с досадою сказала бы: «И охота тебе говорить мне такой вздор!» Потому он умолчал свое размышление о vous и madame, а обратился к другому размышлению.

— Но вот что, голубочка. Ты сказала ей: «Эта дама еще не здесь, потому что мужчина приходит на свидание первый, пока женщина не надоела ему»; согласен, так. Но почему ж ты могла знать, что Савелова еще не надоела ему? А впрочем, это удивительно, как я глуп! — воскликнул он, не переводя духа и в величайшем восторге от своего удивительного открытия. — Само собою, это было видно из того, как он шел на свиданье! Не то чтобы заглядываться на женщин, которые встречались, — он под ногами у себя земли не слышал. Да, он сильно влюблен в нее. Это видно. Уверяю тебя, голубочка.

— Верю,— сказала она, засмеявшись. — Но уйду, не буду мешать тебе работать. И так я отняла у тебя много времени этою прогулкою и своею болтовнею. И вот еще заставляю тебя знакомиться с Нивельзиным.

— Да, — воскликнул он от нового соображения, — что ж это ты, голубочка, не захотела видеть-то его? Неужели тебе пришло в голову, что лучше и не знакомиться с ним? Да это пустяки, голубочка!

— Да не сейчас ли я сказала, что мы будем знакомы с ним, что мне жаль, что заставляю тебя тратить время не него? Ты слишком рассеян, мой друг.

— Это твоя правда, голубочка, — согласился глубокомысленный муж. — Но как же это, что он будет отнимать у меня время? Каким же это образом? Твой гость, а не мой. Я своих гостей не люблю. А твои — чтó мне? Все они вместе много ли мешают мне? Ну, сама скажи: много ли?

— Он, мой друг, не то, что мои гости. Он старше их; и ученый. С ним ты не будешь без церемоний, как с этими ребятишками.

— Правда твоя, голубочка, — согласился он. — Но не велика важность. — Да, так почему ж ты не захотела видеть его?

— Я вздумала, что прежде надобно увидеться с нею; потому что, мне кажется, тут что-нибудь не так: едва ли тут серьезная любовь обеих сторон.

— Почему ж ты вздумала это, голубочка? А впрочем, натурально, это всего вероятнее, — тотчас же размыслил он, потому что был чрезвычайно быстр в соображениях. — Это очень вероятно, голубочка; потому что, уверяю тебя: «люблю», «люблю» — думаешь, и точно,

серьезно, — а выходит обыкновенно, пустые слова. Уверяю тебя, голубочка.

— Верю, — сказала жена, засмеявшись. — Но работай, не мешаю тебе.

— Да, это твоя правда, голубочка, — подтвердил он. — Оно точно, что нынешний день мне надобно несколько поработать.

— Да, «нынешний день» и «несколько». — Она вздохнула. — Друг мой, ты убиваешь себя.

— Э, пустяки, голубочка, совершенно пустяки, — указал он вслед ей.

На следующее утро Волгин лежал, перебирая пальцами свою рыжеватую жиденькую бороду, чем занимался только в затруднительных обстоятельствах. Обстоятельства были так затруднительны, что он не мог продолжать работу; лег читать — и то не шло. Четверть часа назад жена взошла и спросила, не надобно ли ему ехать куда-нибудь: она взяла бы его, ей все равно, она хочет прокатиться. Нет, ему никуда не нужно. «Если так, мой друг, то и прекрасно. Быть может, приедет Савелова. Ты прими ее. Я скоро вернусь, только пройду в Гостиный двор». Не предвидел он, что выйдет ему такая комиссия! Приедет, прими ее! А впрочем, что за важность? — утешал он себя. — Может быть, она и не приедет ныне. Или, может быть, Лидия Васильевна возвратится раньше того. А если и не так, что за важность?

— Алексей Иваныч, — сказала служанка, — приехала Савелова; я попросила ее взойти, как велела Лидия Васильевна, потом сказала, что Лидия Васильевна скоро будет, а вы дома. Пожалуйте.

«Ничего. Надобно только уметь держать себя, то и ничего». Он повязал галстук, сбросил халат и надел пальто, безо всякой трусости.

— Жена извиняется перед вами, — очень развязно начал он, входя в гостиную и делая усердный поклон прежде, нежели успел разобрать, в какой стороне комнаты гостья и туда ли он обращается с поклоном, куда следует. — Жена извиняется перед вами; она не была уверена, что вы приедете ныне; она скоро... — На этом пресеклось объяснение, и голова развязного хозяина, поднимавшаяся из глубокого поклона, заморгала: он постиг, что ляпнул непростительную неловкость: он

знает, что она должна была приехать к его жене, — стало быть, знает, по какому случаю приехала! Как он глуп! И что она подумает о Лидии Васильевне? Какое право Лидия Васильевна имела сообщать ему чужую тайну? Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в его уме, потому что он был необыкновенно быстр в соображениях, он заморгал в отчаянии; но отчаяние и дало ему силу: он махнул рукою, приподнимавшеюся перебирать бороду, и, не моргая, прямо смотря в глаза гостье, быстро заговорил:

— Не вините Лидию Васильевну: она умела бы молчать и передо мною. Но дело вышло так, что я был свидетелем. Мы шли вместе. Я знаю в лицо вашего мужа. Я не мог не понять, что это значит. Да и не опасайтесь меня: я неловок, но поверьте, я не совершенно бесчестный человек.

Он смотрел прямо в глаза Савеловой. Но он и вообще не был мастер наблюдать, а тут вдобавок, был взволнован стыдом за свою неловкость и усердием оправдать жену. Потому он решительно не заметил, какие впечатления сменялись на лице Савеловой. Вероятно, она была озадачена; может быть, испугалась. Но об этом он мог только догадываться: видеть он ничего не видел. А впрочем, он видел все как следует и совершенно согласно с тем, как описывала Лидия Васильевна: он видел, что Савелова высокая, очень молодая — года двадцать два, — белая, нежная, с большими темно-голубыми глазами, что она из тех женщин, которые считаются очаровательными красавицами, — ну, и прекрасно, тем больше, что Лидия Васильевна находит ее дивною, прелестною, — пусть так и будет, — уступчиво решил он.

— Madame Волгина скоро возвратится, по вашим словам? Я подожду ее. А пока поговорю с вами, monsieur Волгин. Сядем.

Прекрасно. Теперь ему нет надобности смотреть на нее, пока усядется. Он стал рассматривать пол, сам занимаясь размышлениями, приличными случаю. Он не заметил никакого волнения в ее голосе. Ему показалось, что она так спокойна, будто приехала с визитом по какому-нибудь из обыкновеннейших, ничтожнейших поводов к деланию нового знакомства. Не следует ли из этого, что слишком усердная светская полировка стерла в ней все живое и благородное? Очень вероятно. Но

если и так, не она виновата; она еще так молода, что не успела бы сама испортить себя.

А между тем он не забывал обязанности хозяина. Ему было видно ее платье. Он наблюдал, когда она усядется, — тогда, по его мнению, ему опять надобно будет смотреть на нее. Она села, оправила складки платья; судя по движению локтей, должно быть, сняла шляпу, оправила волоса. Хорошо, если она сама придумает разговор; а если надобно будет ему самому придумать, — что бы такое придумать? Она опять оправляла складки платья, несколько сдвинувшиеся от движения при снимании шляпки... Кончила. О чем же выдумать говорить?.. Не выдумывается. Но она сама найдет, она светская, и так спокойна. Надобно только опять смотреть на нее, она уже сама завяжет разговор. Он перевел глаза с пола на нее.

Она сидела, задумчиво и застенчиво потупившись. На щеках ее горел румянец. Она с трудом переводила дух.

Он мгновенно расчувствовался.

— Вы должны осуждать меня, monsieur Волгин, — проговорила она, почти задыхаясь.

— Осуждать? Помилуйте! Что вы! — Он схватил и погладил ее руку. — Помилуйте! Что вы! С чего взяли?

— Я вижу, monsieur Волгин, что вы жалеете меня. Благодарю вас.

— Вы извините меня, я вовсе не умею держать себя, — сказал он, увидевши, что она стала дышать гораздо спокойнее, и потому рассудивши, что довольно погладил ее руку и может прибрать свои. — Совсем не умею держать себя; Лидия Васильевна всегда смеется над моею светскостью. Ну, да это пустяки, разумеется. А если вы с Лидиею Васильевною вздумаете что-нибудь, так это будет прекрасно.

— Да, я не знаю, что мне делать; посоветуйте мне, monsieur Волгин.

— Лучше подождемте Лидию Васильевну,— отвечал он. — Я плохо полагаюсь на свои мнения, даже и по таким делам, которые кажутся мне очень просты.

И она, должно быть, видела, что он более способен сочувствовать, нежели советовать. Но то, что он искренне сочувствует, она видела. Она откровенно отвечала на его вопросы, полные дружеского участия; и если она не все договаривала, или даже сама не все понимала, то даже н недогадливому Волгину нетрудно было получить

довольно точное представление и о ее истории, и о ее характере.

Ее отец — младший брат генерал-адъютанта Агафонова, который умер с год тому назад. Волгин слышал о генерал-адъютанте Агафонове. Это был человек довольно сильный; старый холостяк, игрок, мот. Его обеды были великолепны. Он умер, оставивши порядочные недочеты в разных кассах, откуда мог черпать, и, кроме того, кучу долгов.

Но ее отец не имел никаких сношений со старшим братом. Они разошлись еще в молодости, когда один был столоначальником, другой каким-нибудь капитаном. Когда старший брат стал важным генералом, он и вовсе потерял охоту помнить о брате, которого никогда не любил. Да и вообще, едва ли он когда-нибудь любил кого-нибудь, кроме самого себя.

Ее отец — очень смирный человек; и по честности — как она говорила, — вероятно, и по робости, по неуменью — как дополнял Волгин в своих мыслях — он не мог сделаться взяточником. — Следовательно, не мог иметь и хорошей карьеры в те времена, — дополнил Волгин вслух. — Да. Два года назад он был не больше как советником губернского правления.

Савелов тогда еще не был таким сильным человеком, как теперь, но уже приобрел доверие нового министра. Министр послал его ревизовать ту губернию, где служил ее отец. Министр сказал Савелову: «Если найдете нужным отставить губернатора, он будет отставлен, хоть у него и важные связи; с другими я еще меньше поцеремонюсь». Савелов предложил губернатору и вице-губернатору подать в отставку. То же и другим, кого не отдал под суд. И точно, все они стоили того: или разбойничали, или прикрывали разбойников. Изо всего состава губернского правления уцелел только ее отец.

Однажды Савелов сказал ему: «Вы назначены вице-губернатором». Невозможно описать изумление и радость ее отца, всего их семейства. До той поры Савелов не бывал у них. Она и он не знали друг друга. Он едва ли и помнил, если случайно слышал, что она существует на свете. Встречаться им было негде. Он вовсе не бывал на губернских балах. Она почти не бывала в высшем губернском кругу: у отца было слишком мало денег. Она однажды видела Савелова в соборе, в большой царский праздник. Он, разумеется, не заметил ее за

толпою стоявших ближе к почетнейшим местам. Теперь он стал бывать у них. Она понравилась ему. Он ей также, — по крайней мере так ей казалось тогда. Ей могло казаться это; она могла сама не понимать себя. Правда, ей было уже двадцать лет; но она почти вовсе не бывала в свете. Правда и то, ей уже делали предложения; но какие люди? — или пожилые, или если молодые, то слишком неблестящие. У нее не было приданого. А жили они так уединенно, воспитана она была так скромно, что романических отношений она не имела. Она не видывала вблизи молодых людей, которых можно было бы сравнить с Савеловым. Он красивый мужчина, с прекрасными манерами. Говорили, что он суров; но говорили только взяточники. Все честные люди хвалили его. В их городе он казался полубогом, по своей силе в Петербурге. Ее отец и мать, еще и не мечтая о возможности предложения, так много говорили о нем, о блистательной карьере, какая ждет его. Могло ли ей не казаться, что он нравится ей? Могла ли она не почесть себя счастливой, когда он сделал предложение?

Так она говорила. Даже и недогадливому Волгину нетрудно было понять из этих слов и ее характер, и то, с какими чувствами выходила она замуж. Человек с поэтическою дурью или с неумолимыми принципами думал бы о ней очень низко. Но Волгин, хотя и простяк, все-таки знал, что люди слишком любят рисоваться, и ценил в ней то, что она не сочинила ни принуждения со стороны отца с матерью, ни романического увлечения со своей стороны. Пусть она вышла замуж больше по расчету, нежели по влечению сердца, — за что презирать ее, когда у нее не было ни расположения к другому, ни отвращения к тому, за кого решалась идти? Она, конечно, думала, что пылкие страсти — выдумка поэтов или сумасбродство. Вероятно, она и прожила бы весь свой век без увлечений, если бы не попала в общество, где слишком много блеска и пустоты, праздности, скуки, пронырств и волокитства. Она казалась Волгину женщиною кроткого характера и непылкого темперамента; быть может, она увлеклась надеждою блистать в Петербурге, желанием стать важною дамою, — но и жених не был ни старик, ни урод. Напротив, он действительно был красивый мужчина, очень изящный. Волгин не сомневался в том, что, кроме расчета, было у нее и влечение к нему. Пусть не очень глубокое или поэтическое, — но она и

говорит о своем влечении без пышных фраз. Простота и честность нравились Волгину, и он всегда называл хорошим человеком того, в ком находил их. За них он всегда готов был извинять и довольно большие слабости.

— Вы не были влюблены в вашего жениха? — спросил он, чтобы испытать, не слишком ли полагается на простоту и честность ее характера. Она поняла, что он невыгодно думает о том, как она шла замуж, и покраснела. Ему показалось, что она и колеблется, как отвечать. Но если она и действительно колебалась, она вышла из борьбы с честью для себя, по крайней мере в его глазах ее ответ делал честь ей.

— Нет, — сказала она, потупивши глаза. — Я не была влюблена в него; и я не была влюблена ни в кого до... до... вы знаете... — Она не заплакала. Но видно было, что ей легче бы дать волю слезам, нежели сдержать их.

«Она и неглупая женщина — по крайней мере умеет отвечать, — подумал Волгин. — Потому что заставила меня опять несколько расчувствоваться».

Она довольно долго молчала. Потом стала говорить довольно спокойно. Ее слова были опять так просты, что даже и Волгину было нетрудно видеть из ее рассказа всю правду. Впрочем, и правда эта была очень проста для понимания.

Она не была влюблена в Савелова. Но она была хорошо расположена к нему. От него зависело, чтоб это чувство сохранилось, упрочилось. Но он человек сухого сердца. Она не была требовательна в этом отношении: она не сходила с ума от любви к мужу, и ей вовсе не было надобно, чтоб он был без ума от нее. Но она имела расположение к нему, — и она не могла быть счастливою, когда поняла, что он совершенно холоден к ней. Я говорю о его сердце, — сказала она. — Зачем он брал жену, если жена — существо, такое незанимательное для него? Удобнее, лучше для него было бы нанимать маленькую квартиру для какой-нибудь женщины, взятой с улицы. Это стоило бы ему дешевле, нежели жена. Он не способен понимать, что жениться не значит только взять женщину на содержание. У него сердце, не способное к привязанности».

— Я уверен, что он очень привязан к вам, — вас называют красавицею, — сказал Волгин.

— На улице он мог бы найти любовницу очень красивую, — отвечала она. — Для него было бы все равно,

та или другая женщина, лишь была бы молода и красива. Но что я говорю? Он верен мне, а я... о, до какого унижения довел он меня! Я должна сознаваться, что он прав передо мною, а я преступница перед ним!..

Она залилась слезами. Волгин рассудил — и совершенно справедливо, — что сделал не очень хорошо, заставивши ее плакать.

— На вас досадно смотреть, какими пустяками вы смущаетесь, — извините меня, вы могли уже видеть, что я не умею говорить деликатно. Что вам за охота не понимать ваших истинных отношений к мужу? Зачем он женился на вас? Вы говорите, вы нравились ему. Согласен. Но вы сама говорите, всякая красивая женщина с улицы была бы очень хороша ему, а стоила бы гораздо дешевле. Значит, жена ему была нужна не для него самого, — для общества. Почему он выбрал вас? Аристократку — то есть настоящую, важную аристократку — за него не отдали бы тогда; из мелюзги, которая воображает себя аристократиею, отдали бы, но какая польза от такого родства? Ему нужно было стать своим в настоящем, сильном аристократическом обществе. Он рассчитал: «Ее дядя хорош в нем. Он эгоист, не хочет ни­чего сделать для родных. Но пусть он увидит племянницу женою человека, который не нуждается в его протекции; пусть он увидит, что она — блестящая молодая женщина. Он примет ее, как самую приятную находку: пусть она украшает собою его обеды, вечера». Было это? Хорошо принял вас дядя? Просил вас быть хозяйкою на его обедах и вечерах?

— Да.

— То-то же и есть. И вы вошли в аристократическое общество?

— Да.

— А ваш муж?

— Конечно, и его не могут не принимать хорошо в тех домах, которые дружны со мною.

— То-то же и есть. Это хорошая вещь, подружиться с аристократами, не переставая быть демократом. Как ему было втереться самому? Первое, собственно его-то и не впустили бы; второе, стараясь втереться, испортил бы репутацию демократа. Ныне, известно, всё реформы; реформировать должны демократы. Надобно было и залезть в высший круг, и сберечь свою славу, что он дельный реформатор. Удалось, как видите. И я думаю, он

говорит друзьям-демократам в минуты откровенности: «Против воли якшаюсь с аристократами и продолжаю ненавидеть их». Так думает Рязанцев, — вероятно, не сам выдумал, слышал от него. Хорошо. Вы производите эффект; за вами ухаживают; а вы неглупая женщина. Что же из этого? Натурально: «Прошу тебя, душа моя, будь любезна с таким, он мне нужен». «Душа моя, прошу тебя, будь очаровательно мила с женою, или сестрою, или с теткою такого-то, он мне нужен», — позвольте спросить, так ли? Да и спрашивать нечего. В чем же, оказывается, вся сущность дела? «Я беру вас, mademoiselle[[4]](#footnote-4), переименоваться в madame[[5]](#footnote-5) и помогать моим делам». Вы помогаете. Чего ж ему больше? Больше ничего и не требуется.

Раздался звонок. По манере звонить Волгин узнал жену.

— Ну, вот и Лидия Васильевна. Да-с, чего же ему больше? Вашего расположения? Вот, очень нужно оно ему! Если б оно было важностью для него, он и сохранил бы его, вы сами сказали. Чем ему огорчаться? Что он, маленький ребенок, что ли? Не знал он вперед, что если женщина окружена поклонниками и потеряла расположение к ужу, то увлечется кем-нибудь другим? Зачем же он не берег вашего расположения? Значит, сам решал: «Душа моя, конечно, для мужа неприятно, если жена увлекается другим, но ты видишь, у меня много интересов гораздо поважнее этого. Мне с тобою некогда нянчиться, душа моя. Знаю, ты увлечешься кем-нибудь, — но, душа моя, продолжай усердно помогать мне в делах, более важных для меня». Теперь, вы видите...

Взошла Волгина. Савелова бросилась на шею к ней. Пока она душила и заливала слезами Лидию Васильевну, он перебирал пальцами бороду: ловко ли уйти, недоговоривши, — и особенно когда говорил с горячим участием? Неловко. Но случай уйти не раскланиваясь был очень хорош. Раскланиваться! Да; если пропустить эту минуту, надобно будет раскланиваться. Он пятился к двери и благополучно исчез.

Вчера Савелова с трепетом возвращалась домой. Нивельзин оставил ей в магазине записку, наскоро

написанную карандашом: «Он подозревал. Но опасность совершенно миновала. Благодарите Волгину». Магазинщица также успокоивала ее. Но она все-таки боялась. Напрасно. Перчатка Волгиной имела полный успех. Савелов был уже дома, когда жена, сделавши несколько визитов, чтобы дать себе время сколько-нибудь оправиться от волнения, вернулась. Муж, против обыкновения, встретил ее: он дожидался! Это снова испугало ее. Он очень ласково обнял ее и, как ей показалось, не заметил ее смущения. Она ободрилась и успела подавить свое замешательство. Но все ока еще не знала, как понимать его ласковость и веселость. Не притворяется ли он, чтобы лучше можно было продолжать следить? Но, ушедши в свою комнату раздеться, она увидела на столике у трюмо новую коробочку. Это был дорогой браслет; слишком дорогой по доходам ее мужа. Такого дорогого подарка он не мог бы сделать для притворства: видно было, что в самом деле он был в восторге, забыл расчет от радости. Теперь она перестала сомневаться. Но как ей тяжело было идти благодарить за подарок! За подарок, который сделан обманщице обманутым мужем!..

Она с неподдельным чувством говорила о том, как мучительно было для нее лицемерить перед мужем. Она получила награду за верность! Муж был в этой новой сцене совершенно доверчив; ему было даже как будто бы совестно за себя перед женою. Если б она захотела, она могла вырвать у него признание, что он подозревал ее, — он стал бы просить прощения! Но ей и без того было слишком тяжело: она получила награду за верность!

— Пусть он перестал подозревать, но надолго ли? — стала говорить Волгина. — Такие опасные отношения не могут продолжаться.

При первых словах ее об этом Савелова заплакала.

— Чего вы требуете от меня? Чтобы я разлюбила Нивельзина? Чтобы я перестала видеть его? Я не могу.

Волгина была проникнута сожалением о бедной женщине; но эти слова очень дурно подействовали на нее. С чего она вздумала, что от нее требуют бросить Нивельзина? Волгина должна была сделать усилие над собою, чтоб не отвечать резко. Но не могла принудить себя говорить с прежнею нежностью. Она не могла при-

творяться; все, что она могла, было только сдерживать себя.

— Я не говорила, чтоб вы бросили Нивельзина,— сказала она. — Я сказала только, что это не может продолжаться так; и вы сами должна понимать: не может. Ваше положение слишком опасно и тяжело. Как вы думаете выйти из него?

Савелова не заметила перемены в ней. Плакала, плакала, и опять бросилась на шею к ней. Волгина подавила свою досаду.

— Я слышала, что Нивельзин очень хороший человек; правда это? Я слышала также, что он перестал быть ветреником, и я расположена думать, что он серьезно любит вас, — так и вам кажется? Или я ошибаюсь?

Савелова стала с энтузиазмом говорить о Нивельзине.

— Верю всему, что вы говорите о нем и искренности его любви к вам. Но я жду, на что же вы решитесь.

Савелова плакала.

— Помогите мне!

— Вы видели, я и без вашей просьбы помогала вам.

— Посоветуйте мне, что мне делать.

— Послушайте, в таких важных делах нельзя поступать по чужому совету. Решайтесь сами так или иначе.

Савелова плакала.

— Я не знаю, на что мне решиться... Давно он убеждает меня бросить мужа... Помогите мне, посоветуйте!..

— Ах, вот что! — сказала Волгина с досадою, но опять подавила ее. — Он убеждал вас. Почему же вы не решались? Вы не были уверены в том, что его любовь прочна?

— Нет, нет!.. Я знаю, он любит меня!.. — Она продолжала плакать. — Помогите мне, посоветуйте, что мне делать...

— Советовать вам я не могу. Вы не ребенок. Помочь? Извольте. Вы понимаете, что это не может продолжаться так. Если вы не решаетесь бросить мужа, я пошлю моего мужа вытребовать от Нивельзина, чтобы он не видел вас больше. Вы говорите, Нивельзин благородный человек и искренне любит вас, — и я думаю, что это правда; не сомневайтесь же, он поймет необходимость повиноваться...

Савелова слушала как убитая. Встрепенулась и с энтузиазмом воскликнула:

— Я решаюсь бросить мужа.

— Я очень рада, если так, — сказала Волгина. — Я начинала терять терпение с вами. — Она стала ободрять Савелову и сделалась опять ласковою; ободряла, хвалила. Савелова экзальтировалась и была совершенно счастлива своею решимостью.

— Ну, что, голубочка? — спросил Волгин, обертываясь от письменного стола к ясене, которая, проводивши Савелову, шла к нему. — Знаешь, она мне понравилась: в сущности, хорошая женщина. Хочет бросить мужа?

— Да. Нивельзин уже предлагал ей это. Остается только, чтобы ты отправился к нему, сказал, что она согласна. Ты говорил мне, нужно трое суток, чтобы получить заграничный паспорт.

— Это обыкновенным порядком, голубочка. Если захотеть, можно и скорее.

— Помню, ты говорил. Но я уже сказала ей, три дня...

— Зачем же ты сказала, голубочка, «три дня», когда можно б и скорее? — не утерпел не сказать Волгин. Если он не мог пояснить, то уже непременно желал пояснений.

Было бы долго говорить, мой друг: тебе надобно поскорее идти к нему. Но, между прочим, я сказала так и потому, что вовсе нет надобности подымать шум особенными хлопотами.

— Это твоя правда, голубочка, — согласился муж.

— У меня была и другая причина; но после, когда будет время говорить. Может быть, я и ошибаюсь. Но некогда заводить длинный разговор. Я сказала ей, что она не должна теперь ни видеться с ним, ни переписываться. Ты...

— Натурально, голубочка, — не преминул пояснить муж. — Им обоим надобно теперь держать себя посмирнее, чтобы не возбудить как-нибудь нового подозрения. Значит, и я должен сказать ему: не ищите видеться и не пишите. — Он взял фуражку. — Как же теперь условие? Берет паспорт себе и еще какой-нибудь женский — не на ее имя, конечно, голубочка? Натурально, не мудрено: ну, там швея какая-нибудь, француженка, едет за границу. Понимаю это. Значит, только время и место.

— В четверг, в одиннадцать часов вечера…

— Правда, голубочка, — не мог не пояснить Волгин. — В одиннадцать — будет уже ночь. Раньше — еще светло.

На каждом слове задерживаемая его основательными пояснениями, Волгина досказала и остальные подробности.

В то время железной дороги из Петербурга к западной границе еще не было. Кто не хотел ждать парохода, ехал на почтовых. Нивельзин, в дорожной карете, будет ждать у квартиры Савеловых.

— Прекрасно, — заключил Волгин общим пояснением, пояснив поодиночке все подробности. — Прекрасно, голубочка. Тем больше, что она понравилась мне.

— Иди же, будь спокоен: верю, что она понравилась тебе. Не уверяй больше.

— Эх, ты, голубочка, все смеешься надо мною, — сказал муж и залился руладою, раскаты которой продолжали долетать до Волгиной и с лестницы.

Нивельзин ходил по комнате, служившей ему кабинетом. Он встретил Волгина с боязнью. Волгин захохотал во все горло, по одной из многих милых своих привычек:

— Что, видно, боитесь, что я стану читать мораль? Оно и стоило бы за вашу вчерашнюю неосторожность. Должны были знать, с каким человеком имеете дело. Следовало бы осматриваться повнимательнее. Ну, да уж так и быть. Сейчас, — ах, позвольте, как ее имя и отчество? Я сохраняю нравы доброй старины, не могу говорить, не зная имени и отчества; ну, вас-то зовут Павел Михайлыч, кажется; так? А ее?

— Антонина Дмитриевна. Но умоляю вас, говорите же скорее: зачем вы? Что вы знаете о ней?

— Сейчас, погодите, попросите прежде сесть, — Волгин залился руладою от восхищения своим остроумием: ха-ха-ха! — Ну-с, теперь можно. Сейчас Антонина Дмитриевна была у нас, — он погрузился в серьезность, — и, проводивши ее, Лидия Васильевна прислала меня сказать вам, чтобы вы собирались за границу.

— Я знал это, — проговорил Нивельзин, опускаясь, как пораженный громом.

— Что вы? Да натурально, с нею! Она решилась.

— Она решилась! Она решилась, говорите вы? — Он казался помешанным от радости.

— Само собою, решилась. — Волгин погрузился в размышление. — Антонина Дмитриевна очень хорошая женщина, Павел Михайлыч, — произнес он чрезвычайно поучительным тоном.

— Как поняла она мое чувство к ней! — с увлечением сказал Нивельзин. — Такое доверие ко мне! Как она знала, что не обманется во мне!

— Позвольте, Павел Михайлыч, — прервал Волгин. — О каком доверии вы говорите? Зачем же вы думаете о себе так низко, будто можно не считать ваших слов серьезными?

— Каких моих слов? — Нивельзин не понимал, в свою очередь. Но Волгин уже успел сообразить и потому отвечал очень ловко, по крайней мере очень возгордился в глубине души ловкостью своего ответа.

— Оно разумеется, Павел Михайлыч: с одной стороны, вы и прав. Она вверяет вам свое счастие — как же не доверие?

Нивельзин был так взволнован, что не заметил ловкости, с какою увернулся Волгин. Он был мало знаком с глубокомысленным дипломатом, но достаточно знал его за дикаря, который по рассеянности и неловкости очень часто говорит вздор, ни к селу ни к городу. Вероятно, так он и понял замечание и уступку Волгина; по крайней мере пропустил их без особенного внимания.

— Она оказывает мне великое доверие, и как возвышает она меня им в моем собственном мнении! — продолжал он и довольно долго, очень горячо толковал на эту тему: Савелова оказала ему необыкновенное доверие, он очень гордится тем, что она так хорошо поняла его чувства.

Волгин, как человек, отличавшийся догадливостью нисколько не меньше, нежели ловкостью, теперь уже совершенно ясно понимал, в чем дело: между Нивельзиным и Савеловою никогда не было речи о такой развязке, на какую она решилась. Нивельзин никогда не предлагал ей бросить мужа. Она могла только вообще видеть, что он готов был бы и умереть за нее, не только посвятить свою жизнь ее счастию. Но он никогда не говорил ей ничего, кроме страстных фраз, в которых не бывает никакого определенного смысла или, вернее, ровно никакого смысла.

Вот это штука! — размыслил он. — И как могла выйти такая штука?» При своей необычайной сообразительности, он не затруднился и объяснить себе, как могла она выйти, и был готов головою ручаться, что не ошибается в своем предположении; но его прежнее мнение о характере Савеловой значительно изменялось от этого предположения.

— Да, она очень понравилась мне, — заметил он, считая обязанностью выразить свою симпатию разгоряченному Нивельзину, восторженно твердившему, что вся жизнь его будет одною непрерывною заботою о счастье Нины», как называл он Савелову. — Знаете, я не очень-то много наблюдателен, но тут даже и я увидел с первого раза: кроткая женщина, не рисуется, — очень хорошая женщина,

— Вы не ошиблись, — подхватил Нивельзин и совершенно отдался порывам своего чувства, уверенный в сочувствии слушателя. Волгин действительно восхищался честностью сердца, раскрывавшегося перед ним, — расчувствовался, но и глубокомысленно соображал: он всегда соображал, и всегда глубокомысленно.

Кроткая! — надобно слышать, как она говорит о своих завистницах: никогда, ни об одной из них не сказала она злого слова; она умеет мстить им только молчанием, если не может мстить услугами. Скромная! — надобно слышать, что говорят о ней ее завистницы: при всем ожесточении принуждены они сознаваться, что в ней нет кокетства. Они только могут называть ее холодною, лишенною сердца, беснуясь от досады, что не могли до сих пор найти ни малейшего предлога для сплетен о ней. Как стыдится он за свое прошлое, сравнивая себя с нею! На какие пошлые увлечения потратил он свежесть своего сердца!

До недавнего времени он был пошлым человеком. Единственное хорошее, что было в нем, — он любил науку. Но какую? — отвлеченную, которая могла развить ум, доставить ученую репутацию, — только; она не облагораживала его сердца, и его образ мыслей оставался мелочен, мертв, гадок. Он не думал о народе, не думал о счастии людей. Отечество было для него — официальный механизм, со своею мишурною стройностью, славою. Этому отечеству он служил, и воображал, что исполняет весь долг гражданина, стараясь помогать увеличению силы механизма, который давит народ. Он

усердно служил этому чудовищу своими знаниями — и затем считал себя вправе не думать ни о чем, кроме грубых наслаждений. В своем поместье видел он источник средств для покупки наслаждений, в женщинах — торговок, продающих наслаждение собою. Он и был прав, думая так о женщинах, которыми наслаждался. Пока он был юношею, не мог играть роль в свете, он кутил с теми женщинами, которые продают себя прямо за деньги. Он вошел в свет и увлекся другими, более грациозными: этих надобно было покупать, затмевая соперников светским блеском, точно так лее бросая деньги, только не прямо в руки им, а на лошадей, на всяческие безрассудства для потехи им, а прямо, им самим, вместо денег надобно было давать лесть, — и они отдавались так же легко и с таким же сердечным влечением, как те, обыкновенные продажные женщины...

— Ну, позвольте, Павел Михайлыч, это уже слишком мрачно, — возражал Волгин, с неизменною своею основательностью, и совершенно справедливо объяснял, что и в самых отъявленных кокетках часто бывает некоторая сердечная теплота, потому что и они тоже люди, следовательно, имеют некоторую потребность привязываться; что в бедных женщинах, принужденных продавать себя, это человеческое чувство проявляется еще менее редко. И надобно думать, что довольно многие привязывались к Нивельзину довольно искренне, потому что он и сам по себе очень может нравиться, независимо от своих денег или своей лести.

— Конечно, бывало, что и они привязывались, и я к той или другой, — соглашался Нивельзин. — Но с обеих сторон человеческое чувство было так слабо, так мимолетно, так загрязнено пошлостью и так легко исчезало, лишь только разводил нас или случай, или новый каприз.

— И опять же, нет вам причины особенно стыдиться за себя, — пояснял Волгин. — Правда, вы не имели порядочного образа мыслей, потому провели первые годы молодости в пошлых кутежах и волокитствах. Но все молодые люди, имевшие деньги, вели себя тогда не лучше вашего. Время было такое бессмысленное.

— Я думаю, что мне это менее простительно, нежели другим. Другие были невежды.

— Да, ну это вы сами справедливо заметили: тогдашняя наука была безжизненная; потому и не могла

облагораживать человека. Общество не требовало от человека ничего, кроме пошлости.

— Вот это мне горько, что я не мог очнуться от нее сам, — сказал Нивельзин, — Я раскрыл глаза на свою жизнь и стал понимать свои обязанности только тогда, когда пробудилось такое же сознание в делом обществе.

— Об этом уже сказано, Павел Михайлыч:

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,—

продекламировал Волгин и залился руладою в одобрение остроумной цитате.

— Аполлон, то есть общество; под именем же поэта разумей всякого человека. Один воин в поле не рать, говоря проще, Павел Михайлыч: потому и хороший воин отлагает оружие и предается занятиям, не свойственным его мужественной природе. — Он опять залился хохотом, потому что и новая острота была очень недурна, по его мнению, а вслед за тем предался размышлению и вздохнул:

— Пробудилось сознание в целом обществе»! Ну, хватили, Павел Михайлыч! — Он покачал головою и опять вздохнул.

— По крайней мере стало пробуждаться, — сказал Нивельзин.Тогда и он увидел перед собою вопросы, от которых затрещало у него в голове. Как должны быть решены они? Он сознал себя невеждою во всяком живом знании, и ясно было для него только одно: он расточал на свои пошлости чужие деньги, добываемые, быть может, не пóтом только, но и кровью; быть может, потому что он не знал, как живут крестьяне его села. Он поехал туда.

— Ну, что же? — и поступили там очень хорошо; Рязанцев говорил, — одобрил Волгин.

Правда, Рязанцев хвалит. И в самом деле, он прожил около года в деревне не совсем без пользы и для крестьян, и для себя. Если что помогло крестьянам, то именно его незнакомство с их бытом и надобностями. Оно отнимало у него всякую мечту благодетельствовать им по своему усмотрению. Он мог только спрашивать их, чего они желали бы. Спросивши, он сделал, как они считали хорошим. Они, конечно, остались довольны. Но велики ли желания людей, которые привыкли жить очень бедно? Жалкое благосостояние, благосостояние

по их понятиям! Теперь они даже боятся освобождения! Трудно ли удовлетворить желаниям людей, которые боятся освобождения?

— А в каком положении были они прежде? Разорены? — спросил Волгин.

— По их словам, и прежде жили хорошо; хорошо! Впрочем, ответ их был резонный: «Как же не хорошо? Где же в соседях-то живут лучше?»

— Много вам стоило поправить это прежнее хорошее? Половины доходов?

— Да, около.

— То есть больше, нежели половины?

— По двум, трем годам нельзя вывести верного расчета, — отвечал Нивельзин. — Но вообще я стараюсь как можно меньше думать о благоденствии моих крестьян: и вспоминать о нем грустно, а смотреть — было очень неприятно. Поэтому я не выдержал и одного года в деревне, хоть мне очень хотелось бы остаться там подольше: развлечений не было, я мог читать и думать вволю. Но невыносимо было видеть крестьян с их довольством.

Он поехал за границу. Прожил с полгода в Париже. Там он провел время недурно.

Веселая сторона Парижа осталась неизвестна ему: пошлости опротивели ему. Но для человека, желавшего учиться, Париж был хорош. Парижский народ держит в своих руках судьбу Европы. Любопытно было всматриваться, чего можно ждать от него. Но упадок духа в парижских работниках очень велик. Это тоже своего рода русские крепостные крестьяне, по широте размера своих желаний. Разница только та, что у русских крестьян и не было никогда желаний более широких; а там были, но убиты. Это еще грустнее. Он не выдержал в Париже более полугода и поехал в Петербург: у нас все-таки жизнь пробуждается, а не замирает, гораздо больше отрадного.

Но то общество, в котором он погубил свои прежние годы, конечно, не могло уже привлекать его. Он стал сходиться с передовыми людьми Петербурга. Некоторых он нашел пустыми фразерами. Другие внушили ему и любовь, и уважение. В особенности Рязанцев, в котором великий ум, колоссальная ученость соединены с энтузиазмом к правде, с пламенною преданностью народному делу. Он был так счастлив, что приобрел располо-

жение Рязанцева. У Рязанцева изредка бывает Савелов. Он познакомился там с этим замечательным человеком, которому, к счастию для русского прогресса, открывается такая блистательная карьера.

— Вот как вы расхваливаете его, — вставил Волгин, — признаться, я не ждал этого.

Нивельзин отвечал, что готов, если бы то понадобилось, стреляться насмерть с Савеловым, как частный человек с частным человеком, но должен признавать его чрезвычайно полезным государственным деятелем. Как реформатор он безусловно честен. Энергия его непреклонна. Он преклоняется перед благородным двигателем освобождения крестьян.

Он стал бывать у Савелова. Не очень часто, потому что время Савелова дорого. Но не редко, потому что Савелов желал сблизиться с ним, хотел сделать его одним из своих помощников. Да, это положительно верно. Уже были намеки довольно ясные. Савелов говорил с ним делах; давал прочитывать ему разные проекты и просил делать замечания о них. Говорил, что когда будет решено освобождение крестьян, то Нивельзину будет надобно «бросить свое безделье». Когда Нивельзин приезжал к Савелову, то обыкновенно обедать. Обед — почти единственный час отдыха и свободы для Савелова. Он живет очень скромно. У него нет состояния, и он бескорыстен. Министр предлагал увеличить его жалованье, он постоянно отказывался. Он отказался бы и от половины того, что получает, если бы не знал, что это показалось бы лицемерием. Обыкновенно они обедали втроем: изредка чиновник, который заработался до обеда с Савеловым и оставлен был продолжать работу после обеда; еще реже — какой-нибудь официальный гость, пожилой, умеющий говорить только о службе. Иногда Савелов оставался с женою и Нивельзиным довольно долго после обеда; чаще ему не было времени, и Нивельзин оставался один с хозяйкою. Савелов был чужд всякой мысли опасаться Нивельзина; отчасти, быть может, потому, что видел в нем человека честного, серьезного, а главное, человека, которому до омерзения надоело волокитство, но еще гораздо больше потому, что не опасался никого: он был совершенно уверен в своей жене.

Она вполне заслуживала того. Такой муж и не мог бы верить ей, если б она не заслуживала того вполне.

Возвратившись в Петербург, Нивельзин почти совершенно перестал бывать в большом свете. Но у него остались связи с ним. Нивельзин знал репутацию Савеловой. Странным феноменом казалась эта женщина молодым людям, которые прежде были товарищами Нивельзина по ветрености, из которых иные оставались теперь его приятелями, потому что и сами отчасти подверглись перемене к лучшему. Между множеством кокеток, довольно большим количеством искренних ветрениц в большом свете есть, хоть и немногие, молодые дамы, верные мужьям. Но это или набитые дуры, у которых недостает ума даже и на то, чтобы изменить, или женщины, которых никто не желает соблазнять — так ужасно некрасивы они, или женщины без души и сердца, совершенно холодные эгоистки, расчетливые лицемерки, злые завистницы, рассудившие, что надобно затмевать других добродетелью, потому что не могли бы затмить их ни красотою, ни грациею. Но таких женщин, как Савелова, приятели Нивельзина не видели в аристократическом кругу. Она была добра и мила; она была умна. По красоте мало было соперниц ей; по грациозности — еще меньше. Толпы поклонников теснились к ней; она дозволяла говорить себе любезности, пока любезности говорились без претензий. Но едва любезность переходила границы ничтожной болтовни, она заставляла замолчать; заставляла без жеманства, не разыгрывая оскорбленную, не прикидываясь ни ангелом наивности, ни мегерою добродетели. Навязчивых глупцов она отдаляла от себя. Неглупые люди, отказавшись от претензий, могли оставаться хороши с нею; и когда они после говорили ей, что не могут понять ее, она отвечала: «Я не так глупа, чтобы верить, и не так ветрена, чтобы увлекаться, когда не верю». Тем, которые были особенно хороши с нею, она прибавляла: «Я должна быть в обществе и люблю его. Но я езжу в общество затем, чтобы поддерживать отношения, которыми должна дорожить, и вместе с тем веселиться. Но вовсе не затем, чтобы кокетничать, — это дурно; еще меньше затем, чтобы влюбляться; влюбиться — значило бы страдать и подвергнуться унижению; я не хочу ни того, ни другого». Сначала некоторые глупцы отваживались повторять какую-нибудь сплетню, сочиненную какою-нибудь подлою завистницею. Но их слова были встречаемы таким хохотом и таким презрением менее глупых товарищей, что они со

стыдом прикусывали языки. Довольно давно уже не было и попыток сплетничать о Савеловой: кокетки убедились, что она не отнимет ни у одной из них ни одного любовника, добродетельные фурии убедились, что никто не поверил бы новым клеветам.

Нивельзин знал, что она не позволила бы волочиться за собою; да и не был расположен волочиться: пора легкомысленных ухаживаний прошла для него. Но Савелова произвела на него очень хорошее впечатление; кроме своей красоты, также и умом, добротою. Когда муж уходил после обеда работать, ему было приятно оставаться с нею. И ей также было приятно, что он остается: прежде ей почти всегда приходилось проводить одной время между обедом и началом аристократического вечера. Они продолжали говорить так же, о том же, как и при муже. Иногда они читали. Они стали дружны.

Это могло бы продолжаться много времени, могло бы продолжаться, быть может, до той поры, пока Нивельзин не полюбил бы другую — конечно, девушку, — потому что, ему казалось, он уже не полюбит иначе, как с мыслью жениться. Одно обстоятельство дало его чувствам направление, какого он не воображал: он увидел, что Савелов держит себя в таких отношениях к жене, которых нельзя одобрить. Она была для мужа не больше, как должностное лицо. Это лицо должно было исполнять свои обязанности. Одна, не очень важная, — заменять экономку; другая, гораздо интимнее, — заменять наложницу; но еще гораздо была третья: помогать его возвышению приобретением очень сильных или очень знатных друзей, которые легче и прочнее привязываются самою ничтожною внимательностью красивой, грациозной молодой дамы, нежели самыми старатеьными заискиваниями мужчины. Савелова безукоризненно исполняла две первые обязанности, с большим успехом третью. Потому она была в совершенной милости у мужа. Он не делал ей выговоров по хозяйству и по обеду; напротив, часто выражал свое удовольствие тем иди другим блюдом. Он не ездил ни к какой лоретке и очень лестно для законной своей одалиски называл себя счастливым мужем. За хорошее выполнение своих инструкций о том, как с кем должна она держать себя в обществе, он очень любезно благодарил ее; однажды — когда она успела наконец очаровать долго не поддавав-

шуюся чрезвычайно важную и еще более злую старуху, он так обрадовался, что благосклонно поцеловал руку жены, — но и тем не ограничил своей награды: с глубоким чувством сказал: «Ты незаменимая жена». Он был очень милостивый начальник.

Довольно долго Нивельзин не видел, что он только начальник и содержатель своей жены. В свете было решено, что она любит мужа: иначе она не могла держать себя так безукоризненно. А он не имел любовницы: как же не владела его сердцем жена, притом же такая красавица? — конечно, она и владела бы сердцем мужа — если б у мужа было сердце.

Нивельзин не мог предполагать, что Савелов не способен любить. Может ли благородный гражданин быть бездушным эгоистом в частной жизни? Нивельзин и теперь не понимал, каким образом это возможно. Он только видел, что в Савелове это так. Ему трудно было заметить это, потому что это было неимоверно.

Но, убедившись, что Савелов не имеет ни искры теплого чувства к жене, он не мог не понять, что эта добрая и нежная женщина не совсем счастлива. В ней была потребность любви.

Нивельзин заметил, что слишком живо жалеет о ней. Он не был неопытный юноша, чтобы не рассмотреть, какое чувство скрывается под симпатиею к женщине, лицо которой казалось ему очень мило. Он не колебался: он не мог сохранить личной привязанности к человеку сухой души, но глубоко уважал в Савелове благородного государственного деятеля...

— Эх, вы! — перервал Волгин, покачал головою, размыслил и повторил с удвоенным чувством: — Эх, вы! Связать бы вас с Рязанцевым по ноге да пустить по воде! — Он залился руладою в поощрение остроумию, с которым воспользовался поговоркою.

— Шутки не опровержения, — сказал Нивельзин, — факты за нас с Рязанцевым.

— Хорошо, не спорю, факты, — сказал Волгин, покачал головою и опять превратился в смирного слушателя.

Нивельзин не колебался. Он сказал Савелову, что решился не принимать никакого официального места. «Прежде мне казалось, что вы не прочь служить, лишь бы с пользою для общества», — сказал Савелов. «Желал бы; но увидел, что не способен». Савелов стал говорить, что, когда двинется дело об освобождении крестьян, бу-

дут устроены консультативные комиссии, что их члены будут пользоваться полною независимостью. Нивельзин отвечал, что не примет никакого назначения, и потерял интерес для Савелова.

— Вы не были у нас целую неделю, — сказала ему Савелова.

Он пересказал ей разговор, который имел с ее мужем в прошлый раз. «Прежде мы с ним думали, что можем пригодиться друг другу. Теперь я нашел, что не могу ни быть полезен ему, ни получить пользы от него». — Но он всегда будет дорожить вашею дружбою. — Да; и я его дружбою. Но это не резон, чтобы я по-прежнему отнимал у него время.

— Если не хотите отнимать времени у него, то меня отнимайте как можно больше. У меня его очень много.

Через несколько дней приехал Савелов и увез его к себе, говоря, что так велела жена.

Прошло еще несколько дней. Она увидела его в опере, призвала в ложу, осыпала его упреками за то, что он забывает ее: а она — она скучает без него. Она все еще думала, что скучает без него. Он видел, что она любит его. Он мог бы давно видеть это, если бы не воображал, что она уже никого не полюбит. Она взяла с него слово, что завтра он обедает у них.

В тот вечер он очень много думал. Его голова стала гореть. Он написал ей. Он говорил ей в этом письме, что не должен больше видеть ее, и умолял ее написать ему хоть слово в утешение. Поутру его голова несколько прояснилась, но было уже поздно: письмо, отданное слуге на рассвете горячечной ночи, было уже отнесено. Он мучился совестью за свою слабость, за свой эгоизм, — и был рад, что уже не может поправить свое безрассудство.

Она отвечала. Она говорила, что его письмо удивило ее; что она не сердится; что она прощается с ним, — но не навсегда. Она просит его успокоиться. Они были дружны. Его экзальтация пройдет, и тогда они опять будут дружны.

Он отвечал. Она отвечала опять. Они стали переписываться. Если б его письма попали в руки ее мужа, они были бы лучшим оправданием ей. Он умолял ее о свидании. Она говорила, что это безрассудно. Он покорился и хотел только хоть издали видеть ее: он стал снова

бывать в обществе, где мог встретить ее. Она просила его не делать и этого: они вовсе не должны видеть друг друга, даже и в обществе, пока его экзальтация пройдет. Он покорился и этому. Она хвалила его послушание, благоразумие, утешала тем, что со временем они снова будут друзьями... Ее письма бывали иногда залиты слезами; но ее нежность всегда была тиха.

Он повиновался ее кроткой воле. Но силы его рассудка изнемогали. По временам безумные проекты овладевали его мыслями. То ему воображалось, что он мог бы послать вызов Савелову, и придумывал предлоги для ссоры. То ему мечталось, будто он говорит Савелову: «Вы не можете любить никого; ваше великое сердце холодно ко всему, кроме великого, кроме желания заслужить славу, дав счастье народу. Я люблю ее. Жду от вас решимости, достойной вас. Скажите ей, что вы позволяете ей быть счастливою». Он смеялся над этими фантазиями, но смеялся с ужасом: он чувствовал, что начинает терять власть над своими мыслями.

Никакие развлечения не были возможны для него. Он старался искать рассеяния в физической усталости. Он бродил из улицы в улицу, пока ноги подламывались. Тогда он мог спать.

Он услышал, что послезавтра будет большой бал во дворце.

«Она будет там, — стало думаться ему. — Она не заметила бы меня в толпе».

На другое утро ему думалось: «Я буду там говорить с нею. И муж ее будет там. Я подойду к нему. Я выпрошу у нее позволение бывать у них. Ее муж скажет: „Что ж это, вы совсем забываете нас? Завтра мы будем ждать вас”».

Он шел по Невскому. Далеко впереди, из Караванной, показалась ее карета, проехала сотню шагов и остановилась у модного магазина. Она вышла из кареты. Она не видела его: он был очень далеко.

Он опомнился только уже от того, что рука его взялась за холодную бронзовую ручку двери магазина. «Идти или нет? — подумалось ему. — Идти. Все равно я увиделся бы с нею так или иначе».

Она испугалась, увидев его. «Одну минуту разговора, и я опять буду послушен вашей воле», — сказал он. «Безумец! Я думала, что вы уважаете меня». — «Вы боитесь? — сказал он с улыбкою. — Вы боитесь меня? Вы

знаете, что не должны бояться меня». Он улыбался, а на глазах у него были слезы. «Я верю вам, Нивельзин, — сказала она. — Вы не только влюблены в меня, вы друг мне». — «Madame угодно будет пожаловать в комнату за магазином, чтобы примерять платье? — скромно и ничего не понимая, сказала магазинщица.

Свидание длилось не одну минуту. Но мать, сестра могли бы быть свидетельницами его. Савелова сохраняла власть над собою. Нивельзин был покорен ее тихому напоминанию: Милый Поль, я верила тебе, — будь же другом, достойным моего доверия».

Он умолял ее согласиться на второе свидание. Она была уверена и в себе, и в нем. Она приехала на второе свидание без опасений. И на этот раз она не обманулась в себе, ни в Нивельзине.

Свиданья продолжались. Конечно, они не могли долго сохранить того совершенно идеального характера, какой имели вначале. Она привыкла больше и больше надеяться на себя и на повиновение Нивельзина. Она забывала осторожность. Она видела Нивельзина бледным, и тревожилась за него, и позволяла ему все более жгучие ласки.

«Я не виню тебя, милый Поль, — говорила она, когда, очнувшись от забвения, увидела себя его любовницею. — Я не хотела делать тебя моим любовником. Но ты счастлив, Поль; и я счастлива, что ты не будешь думать, что я мало люблю тебя. И не напрасно ли я мучала тебя, безрассудная? Не теперь я погубила себя, если мой муж узнает, что мы виделись: я погубила себя первым же свиданием.

Прошло уже три дня после того, как Волгин передал Нивельзину решение Савеловой. Погода была ясная. Волгина хотела воспользоваться ею, чтобы ехать искать дачу. Она послала взять карету. Наташа, очень молоденькая девушка, титуловавшая себя горничною Лидии Васильевны, отправленная с этим поручением, вернулась и с гордостью объявила, что наняла карету полтинником дешевле, нежели думала Лидия Васильевна, и карета самая прекрасная, и лошади самые прекрасные.

Но Волгиной еще надобно было кончить дело, которым начала она заниматься, послав за каретою.

Она стояла в зале, у двух сдвинутых вместе и раскрытых ломберных столов. На столах лежали куски шелковой материи. В руках у Волгиной были ножницы. Она кроила платье. Блондинка, одетая как барышня, но не барышня по своим слишком бойким манерам, следила, едва помня себя от восторга, за движениями ножниц.

— Если бы вы опоздали еще пять минут, вы уже не застали бы меня, — стала говорить Волгина, когда выкроила лиф и рукава и осталось только отрезать куски для юбки — работа, не требующая внимания. — Слышите, карета уже взята. Я не была бы виновата: я говорила Миронову, что буду ждать вас в двенадцатом часу.

— Все выбирала материю, Лидия Васильевна, — отвечала блондинка: — Денег-то немного, а хочется, чтобы материя была получше.

— Сумеете ли вы перекроить сама другие платья по этому?

— Не знаю, Лидия Васильевна; может быть, сумею.

— Это значит, не сумеете. Но по крайней мере не поленитесь перешить. Судя по тому, в котором вы шли вчера, и по этому, которое теперь на вас, все надобно перешить. И это сидит на вас мешком как-то.

— Не поленюсь, Лидия Васильевна; покорно вас благодарю. — Блондинка с быстротою молнии нагнулась и чмокнула руку Волгиной.

— Что вы, с ума сошли, Даша? А если я прибью вас за такие глупости?

— Как же, Лидия Васильевна, когда вы так милостивы ко мне, больше обещания вашего Петру Ильичу? Хотите перекроить все. А у меня их целых семь.

— Хочу? И целых семь?! Хочу все перекроить! Однако вы догадлива, Даша. Не хочу ли я сделать вам еще какую-нибудь милость?

— Как же, Лидия Васильевна? Вы прикажете, чтобы я, как сошью это, и потом, какое перешью, приходила бы показывать вам, хорошо ли сидит.

— Извольте, Даша, с удовольствием буду смотреть; и поправлять, если понадобится. Но я уверена, что с первого раза будет хорошо. На такую правильную талию легко кроить. Вы прекрасно сложены, Даша.

Блондинка с примерною застенчивостью потупила глаза и, очевидно, желала бы даже покраснеть. Этого не удалось ей исполнить; но глаза потупились как нельзя лучше.

— Будьте же и по поступкам такою же прекрасною девушкою, Даша. Будьте рассудительною, не прихотницею, не мотовкою. Я говорила Миронову, чтобы вы принесли мне перекроить платье, в котором шли с ним, — а вы купили материи на новое. Помните, Даша, что у Миронова не так много денег; и если б даже мог он получать больше, у него теперь не такое время, чтобы ему следовало набирать много уроков. Помните, что с каникул он будет последний год в университете; ему надобно как можно больше заниматься для окончательного экзамена. Это может иметь влияние на всю его жизнь. Не забывайте этого, хорошенькая моя Дашенька.

— Не думайте так обо мне, Лидия Васильевна, — отвечала блондинка. — Кроме вот этого браслетика, — приподняла больше на вид руку в браслете, стоившем рублей двадцать, — я ничего не получила от Петра Ильича; и то в первое время. Буду ли я требовать от него? Напротив, Лидия Васильевна: сама была бы готова помочь ему, если б он нуждался.

— Вот как! От кого ж это новое платье, Даша?

— Ах, боже мой! А я думала, он сказывал вам! — проговорила блондинка, совершенно растерявшись, и сильно покраснела.

— Тем лучше, Даша, — сказала Волгина, засмеявшись. — Но когда так, вам не следовало ходить под ручку с Мироновым: сохрани бог, увидят, — вам беда; и будете разорять Миронова.

— Ну, пусть увидит, толстый дурак: не такое сокровище, чтобы заплакала, если бросит, — отвечала блондинка, сначала рассудивши потупить глаза, потом — нашедши, что это лишнее. — Я уж и сама думаю, не бросить ли его. Скряга-то какой, если бы вы знали, Лидия Васильевна! Да что же, вы можете судить, как я живу, когда я должна сама себе шить платья. А сколько деньжищев-то у него! Ей-богу, брошу, Лидия Васильевна! Согласитесь сами: надобно же подумать и о будущем. Не век буду молода. А что я могу нажить, живучи с ним? Так вот, только доброе мое сердце. Но ей-богу, самой перед собою совестно, что

всякий умный человек назовет меня дурою. Одно можно сказать в похвалу ему: не пьянствует. Потому не имеешь неприятностей. Господи! и что это за слабость у мужчин: нет им веселья без вина! Но, все же. Но, ей-богу: лучше уж пойду замуж, соглашусь, если не даст бог человека получше. Ей-богу, пойду, и с волею прощусь, назло ему, толстому черту, скряге.

— Замуж, Даша? Так у вас и жених готов? — сказала Волгина, опять засмеявшись, и продолжала серьезно: — Хороший человек, Даша? Не будет с вашей стороны обмана? И не будет он попрекать вас после? Когда все так, то лучше, нежели связываться с дрянью, — потому что все такие люди дрянь, Даша: у них нет совести; если бы была, не заставляли бы девушек стыдиться — если нравится жить с девушкою, то и женились бы на ней: не могут отговориться тем, что нет денег, когда находят деньги, чтобы содержать ее, не женившись: совести у них нет, Даша, — лучше же, нежели связываться с такою дрянью, идти замуж, хоть бы и не за богатого человека, но который имеет совесть и истинное расположение к вам.

— Хороший человек, Лидия Васильевна. И обманывать его нечего: знает. Говорит: «Если бы вы пошли за меня, Дарья Ивановна, то никогда бы я не подумал на вас». И точно: чего ж ему тогда думать? Идешь замуж, то, когда имеешь каплю совести, понимаешь: замужняя женщина должна держать себя, как следует замужней женщине. Да и до того ли, скажите сама? Захочешь детей иметь; а когда дети, то те ли мысли?.. Ах, Лидия Васильевна, какая у меня к вам просьба... — Бойкая блондинка запнулась и оробела. — Лидия Васильевна, Петр Ильич говорил мне, что вы оберегаете Наташу. Но клянусь вам моим богом, не услышит она от меня ничего дурного. Вы уедете, а мне позвольте остаться, поиграть с Володенькою: люблю детей, Лидия Васильевна; а Петр Ильич говорил про вашего маленького, что он...

— Не Миронов ли это, легок на помине? — заметила Волгина, — за вами, вероятно? Но нет, он не так звонит. Это кто-то чужой.

— Петр Ильич и не может быть; он будет ждать меня. Я сказала, что от вас пройду к нему.

Наташа отворила дверь.

— А! — тихо проговорила Волгина, и тень пробежала по ее лицу. — Играйте с Володею, Даша: я очень рада Зачем вы думаете, что я считаю вас дурною девушкою?

Вошла Савелова.

Беленькое, розовое личико Савеловой было бледно, бледно, и не розовое, а желтовато-красное. Глаза ввалились. Видно было, что бедняжка мало спала в эту ночь и много плакала; и краска ее только краска волнения.

Волгина угадывала, о чем плакала она, и если бы она не была жалка, Волгина сказала бы ей: «Может вы ошиблись? Это не квартира Нивельзина. Вероятно, вы спешили к нему? Если да, то прекрасно». Но жалость взяла верх. Если бы могла, Волгина возвратила бы своему голосу и взгляду ласковость, с которою проводила Дашу. Но она могла только не быть суровою.

Этого было довольно для Савеловой. Глаза, подернутые слезою, видят в сострадании сочувствие. Савелова бросилась на шею Волгиной и заплакала.

— Помогите мне!

— Я обязана. Я вмешалась в ваше дело, я должна не отступаться от него до конца. — Если бы Волгина могла давать своему голосу тот или другой тон по произволу, она сказала бы это с нежностью. Но все, что было в ее власти, было говорить искренне. — Перестаньте плакать. Вы не могли любить вашего мужа, потому что он не способен любить никого, кроме самого себя. Он один виноват в том, что вы полюбили другого. Никто из умных и честных людей не осудит вас за то, что вы не захотели оставаться обманщицею. Он сам покажет себя благородным человеком, когда увидит, что не может вредить вам. Он согласится на развод. Нивельзин безгранично любит вас. Мой муж очень долго говорил с ним и остался в восторге от него. Вся жизнь его будет посвящена вашему счастью. О чем же вы плачете? Вас надобно оправдывать во всем; нельзя оправдать только в том, что вы плачете. — Савелова плакала.

— Перестаньте. Подумайте, какое впечатление произведут на Нивельзина ваши раскрасневшиеся глаза,

ваше желтое лицо, если вы не перестанете плакать. «Неужели ей так трудно было решиться? — подумает он. — О чем она столько горевала? Неужели она так мало любит меня?» Скажите, вы мало любите его?

— Его? Я, мало люблю? — воскликнула Савелова, и нежные слова с искренним энтузиазмом полились у нее.

Искренность чувства бедной женщины опять пробудила в Волгиной расположение к ней. Волгина получила силу приласкать ее.

— Когда вы так любите его, то не плачьте же. Будьте тверда. — Волгина поцеловала ее. — Будьте умница, моя милочка. Вы боитесь, что у вас недостанет решимости. Оставайтесь же здесь, у меня.

Савелова бросилась обнимать Волгину. «Да, я останусь у вас!»

Волгина продолжала ласкать ее, как маленькую девочку, успокоивала, ободряла. Наконец Савелова стала казаться твердою.

— Теперь можете дать мне слово, что не будете плакать?

— Да, теперь я не изменю себе и ему! — с энтузиазмом отвечала Савелова.

— И будете счастлива, моя хорошенькая, моя миленькая. До свиданья же. Мне надобно ехать. Я собралась ныне ехать искать дачу. Я объеду острова; может быть, проеду в Лесной. Будьте же без меня хозяйкою. Если я не вернусь в четыре часа, прикажите подавать обед.

— Возьмите меня с собою, — сказала Савелова с умоляющим взглядом.

— Нет, вы должна хозяйничать без меня, — шутя, но решительно отвечала Волгина. — Умойтесь холодною водою, отдохните. Вы утомлена, и вас ждет дорога. Когда я приеду, вы будете опять розовенькая, глазки у вас будут светленькие, веселые; и —: так и быть, хоть я не охотница нежничать, я опять поцелую вас; мы сядем обедать — я вернусь в четыре часа, вернусь, пусть и не успею объехать острова, я вернусь в четыре часа, увижу вас такою миленькою, хорошенькою, что можно будет показать вас Нивельзину, — мы сядем обедать, а сами пошлем сказать ему, чтоб он

велел запрягать лошадей, — мы встаем из-за стола, он входит, — я посажу вас в карету, поцелую еще раз, поскорее — и до свиданья.

В половине пятого Волгин вошел к Нивельзину. В передней лежали два саквояжа и чемодан. В кабинете вещи с письменного стола и с этажерок были убраны. Нивельзин ходил по комнате.

— Значит, совсем собрались в дорогу, Павел Михайлыч? — вяло сказал Волгин, флегматически усаживаясь на диван. — Когда все готово, то и прекрасно. И лошади наняты, как вы тогда говорили, — с утра готовы, и дорожная карета готова?

— Лошади стоят в конюшне. Карета куплена, привезена. Хотите взглянуть? Очень покойная и легкая.

— Что смотреть-то, я думаю, хорошая. Да и увижу, как буду провожать вас. Прикажите запрягать лошадей.

— Еще рано.

— Не рано.

— Она у вас? Ждет меня? —Он дернул сонетку и велел поскорее запрягать лошадей.

— Да, она приехала к нам. Да вы садитесь-ко, это лучше. — Он притянул к себе Нивельзина и заставил сесть подле. — Сам не люблю ходить, и другим, по-моему, лучше сидеть. — Он залился руладою, потому что сострил, как, по крайней мере, сам был убежден. Потом погрузился в размышление. — Это затем я посадил вас подле, чтобы взять в руки, и возьму, и не выпущу, пока не провожу. Нельзя иначе, потому что невозможно надеяться на людей, — надо держать их в руках. — Эта острота была нисколько не хуже первой, и следовало бы Волгину также наградить себя за нее руладою, но он оставил себя без поощрения и, помолчавши, вздохнул, покачал головою и начал: — Да, надобно будет взять вас в руки. Точно, она приехала к нам: это было поутру: была взволно...

— Она у вас с утра? Что же вы не прислали сказать мне? Паспорта готовы у меня с десяти часов.

— Не дослушавши, да уж и сердитесь, — эх, вы! — вяло сказал Волгин. — Вы дослушайте. Я вам говорю, она была взволнована...

— Савелов догадался? Сделал сцену? Она больна?

— Да нимало; ничего такого. Здорова, и муж ее до сих пор ничего не предполагает. Да вы лучше слушайте, а не перебивайте. Впрочем, ничего особенного, не пугайтесь. Ровно ничего особенного. Приехала поутру, была взволнована. Лидия Васильевна успокоила ее — и точно, бояться было нечего; ну, да и велела мне не уходить из дому — натурально, я сидел, писал, — что мне? Конечно, был уверен, что он не приедет, да и не подозревает; ну, если б и приехал, не велика трудность: «Очень рад, пожалуйте в кабинет, очень рад», — а между тем взял за шиворот, повалил на диван, завязал рот — ну, и лежи: я уж рассудил, как это сделать, — это-то я еще с детства выучился ломать, хоть с виду и плох, — знаете, в детстве-то много играл, — ну, она б и не услышала. Ну, потому я спокоен, тем больше, что сам знаю, этого и не будет, он не приедет, не знает, не подозревает. Ну, и сижу, натурально, пишу. Хорошо. Слышу, вернулась Лидия Васильевна. Идет, слышу, к себе, — идет потом, слышу, ко мне. Ну, натурально, я знаю, зачем она идет: скажет: «Иди, вели ему — то есть вам — приказать запречь лошадей», — вот как я теперь и сказал вам: разумеется, я жду этого от Лидии Васильевны; а она: «Давно уехала Савелова?» Уехала? Как? Я, натурально, рот рази... Да будьте же мужествен! — Волгин подхватил застонавшего и покачнувшегося Нивельзина. — Будьте мужествен, Павел Михайлыч! Что это вы, помилуйте! Будто вы сам не должны были понимать, что это очень возможная вещь — даже слишком возможная. Это только я, дикий человек, не понимал ее характера, сомневался в опасениях Лидии Васильевны за ее характер, а вы сам должны были иметь эти опасения, иначе разве вы давным-давно не предложили бы ей бросить мужа? Предложили бы с первого же свидания? Чего, с первого свидания — с первого же письма! Видно, хоть вы и были ослеплены и не могли видеть, а инстинктивно чувствовали, что нельзя предлагать — не бросит мужа; вас-то, положим, любит, но пока можно не бросая мужа, то и любит: муж-то гораздо поважнее вас для нее...

Волгин мог очень свободно излагать свои совершенно основательные соображения, держа Нивельзина за плечо, чтобы вразумляемый не повалился с дивана: вразумляемый сидел очень смирно под поддерживаю-

щею рукою основательного мыслителя; но основательный мыслитель постиг наконец, что слушатель не слышит, потому не способен воспользоваться справедливыми его соображениями.

Совершенно справедливо сообразивши: «Однако же, в самом деле, удивительный мастер я! Отлично хватил, как молотком по лбу пристукнул. Но, разумеется, опамятуется, и ничего: человек молодой, здоровый». Основательно похвалив и успокоив себя этими очевидно верными соображениями, Волгин прислонил Нивельзина спиною в угол дивана, вздохнул, покачал головою и стал закуривать сигару в ожидании упрямого сопротивления от Нивельзина, когда Нивельзин очнется. Волгин был глубокий знаток человеческого сердца, потому был уверен, что, как опомнится, Нивельзин окажется очень упрям, вздумает хвататься за всяческие нелепые мысли с пустою надеждою. Но факты были слишком ясны; потому Волгин, как мыслитель очень основательный, нимало не сомневался, что уломает юношу», как называл его в своем сообразительном уме, запрячет его в дорожную карету и благополучно выпроводит из Петербурга.

— Где ж она? — глухо проговорил Нивельзин. — Зачем оставляли ее одну?

— Зачем Лидия Васильевна оставила ее одну? Затем, Павел Михайлыч, что можно уговаривать, возбуждать человека, но надобно и дать ему время подумать; затем, Павел Михайлыч, что нельзя приневоливать человека быть счастливым по-нашему, потому что у разных людей разные характеры: для одних, например, счастье в любви; для других любовь — приятное чувство, но есть вещи дороже ее; затем, Павел Михайлыч, что и неопытных девушек не велят вести под венец насильно, не велят потому, что от этого не бывает счастья ни им, ни их мужьям. А она не глупенькая девушка, которая еще может не понимать ни людей, ни саму себя: она вернее всех нас может знать, в чем для нее счастье. Она показала вам в чем: вас она любит; но с мужем у нее такая блистательная карьера!. Он и теперь сильный человек — куда ни явится, она окружена почетом; а скоро он будет министром, — и каким министром? Каких у нас еще и не бывало. Это что за министры! Над ними двор; они мелочь. А он возьмет власть по общественной необходимости, во

имя реформ и государственного блага. Да, он рассчитывает быть не таким, как эти мелкие люди, — и кто из самых важных аристократов не будет гнуть спины перед женою всемогущего первого министра?

Нивельзин вскочил и быстро подошел к письменному столу, отпер портфель, лежавший на нем, и пододвинул кресло. Волгин, с неизменною своею сообразительностью, понял, что до сих пор Нивельзин был все еще оглушен ударом и плохо понимал его справедливые рассуждения, но что вот теперь «юноша» опомнился, начнет сумасбродствовать и будет очень упрям.

— Что это, вы хотите писать ей, Павел Михайлыч?

Нивельзин, не отвечая, вынимал из портфеля письменные принадлежности.

Волгин с быстротою молнии сообразил из этого молчания, что не ошибся в своем соображении о том, что «юноша» будет очень упрям. Но, как основательный мыслитель, Волгин не поколебался и в той своей уверенности, что все-таки запрячет его в дорожную карету: факты слишком ясно показывают, что сумасброд­тво бесполезно, — «юноша», как ни будет отбиваться, уломается.

**Глава вторая**

Прошло с месяц и больше. Волгина давно жила на даче, около Петровского дворца. Местность эта недурна, по крайней мере на островах нет местности менее сырой. Если бы не дела мужа, Волгина, конечно, не захотела бы искать дачу на островах: подальше от Петербурга есть местности лучше его ближайших окрестностей. Волгин обедал обыкновенно на даче, но большую часть времени должен был проводить в Петербурге. Часто дня по два, по три он не показывался на дачу, как ни близка была она.

Недели две он бывал на даче только такими урывками, на несколько часов около времени обеда, дня через два, через три. Наконец он доработался до конца и теперь на несколько дней будет несколько посвободнее.

Он возвращался к обеду. Обед ждал его.

— Измучился, работавши? Не спал эту ночь? Не уверяй, что спал, нечего уверять. И должно быть, очень измучился, когда, при всем своем притворстве, приехал

с таким веселым лицом, — говорила жена, ведя его обедать.

— Видишь, голубочка, конечно, я рад, что управился с работою и могу пробыть здесь суток двое, не ездивши в город, но не в этом главная штука, выходит штука очень хорошая, какой, признаться тебе сказать, я уже перестал надеяться. Вообще, голубочка, могу свалить с себя часть работы, — и теперь ты уже можешь быть спокойна: не буду не спать по ночам, — хоть это и гораздо реже бывало, нежели ты думаешь, но все-таки; а теперь этого уже вовсе не будет.

— Нашел человека, который тоже может писать, как надобно по-твоему? — с живою радостью сказала Волгина, с такою радостью, что глаза ее сияли.

— Нашелся такой человек, да, нашелся, голубочка. И вообрази, как ты угадала тогда, — помнишь, когда ты заметила Савелова, как он подстерегал? Ну, а перед тем самым — тоже, уже на Владимирской площади встретился нам студент — помнишь? — и ты сказала: «Чрезвычайно умное лицо; очень редки такие умные лица, — помнишь? Ну, он самый и есть. Фамилия его Левицкий. Вчера, вечером, приносит статью — небольшую, — читаю: вижу, совсем не то, как у всех дураков, — читаю, думаю: «Неужели наконец попадается человек со смыслом в голове?» Читаю — так, так, должно быть, со смыслом в голове. Ну, и потом стал говорить с ним. И вот потому-то, собственно, пришлось не спать, — нельзя, мой друг, за это и ты не можешь осудить. Проговорил с ним часов до трех. Это человек, голубочка; со смыслом человек. Будет работать...

— Помню теперь, — заметила Волгина, когда муж наговорился без отдыха о своей радости, — очень высокий, несколько сутуловатый, русый, некрасивый — не урод, но вовсе не красивый. Помню теперь. Но это еще вовсе молодой человек, мой друг, — и уже так рассудительно понимает вещи, которые, по-твоему, не понимает никто из литераторов?

— Да, ему двадцать первый год только еще. Замечательная сила ума, голубочка! Ну, пишет превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно, но это хоть и прекрасно, пустяки, разумеется, — дело не в том, а как понимаешь вещи. Понимает. Все понимает как следует. Такая холодность взгляда, такая самостоятельность мысли в двадцать один год, когда все поголовно точно

пьяные! — хуже: пьяный проспится, дурак никогда. Да, о дураках-то, кстати: вчера приезжал Рязанцев. Вот ты, я думаю, полагала, что я по своему обыкновению забыл, — оказалось, не забыл сказать ему, что интересуюсь Нивельзиным, и если он что узнает, сказал бы. Я и думал, что позабыл, — а видишь, нет. Нивельзина видели в Риме — здоров, разумеется; этот господин, который видел его, говорит, что немножко хандрит, но, говорит, ничего. Из Рима думает проехать в Париж.

— Благодарю тебя, что не забыл сказать Рязанцеву. И какой милый этот Рязанцев! — верно, как услышал новое о Нивельзине, сейчас приехал сказать тебе.

— Добряк, голубочка.

— И любит тебя, мой друг, это заметно, хоть я мало видела его. И она, говорят, очень хорошая женщина — и хорошенькая, говорят, — очень молода, хоть уже лет десять замужем. Но послушай же, мой друг: если этот Левицкий так понравился тебе, то привези его сюда.

— Хорошо, голубочка, — говоря это, Волгин начал погружаться в размышление и с тем вместе улыбаться; погрузился, стал мотать головою и наконец разразился неистовым хохотом. — Ох, голубочка, ох! Это я вспоминал, как я запрятывал Нивельзина в карету! Ну, точно! Было хлопот! Молодец я, голубочка, уверяю! Ха, ха, ха! Эх, голубочка! — Волгин вздохнул. — Ну, что тут было мудреного, скажи ты сама? Другой урезонил бы его в полчаса, а я провозился с ним и не знаю сколько времени! Это удивительно, голубочка, какой я жалкий человек! Он мелет чепуху, а я спорю, когда следовало бы просто взять, повести да посадить, — потому что, скажи ты сама, можно ли переслушать все вздоры, когда человек сам не понимает, что говорит! А я себе слушаю, возражаю! Это удивительно!

— Ты очень терпелив, мой друг, и мало бывал в обществе, мало знаешь людей, не привык обращаться с ними. Но ты и слишком преувеличиваешь, когда воображаешь, будто очень легко было бы другому заставить его уехать. Не совсем легко, мой друг. Ты напрасно смеешься над собою.

— Но ты возьми то, голубочка, с какой же стати мне было не понимать ничего? То есть это я уже обо всем этом деле. Например. Приезжает Савелова, в первый-то раз. «Люблю, люблю!» Я и развесил уши. Кажется, ясно: почему ж вы, милостивая государыня,

не разошлись с вашим супругом? Одно из двух: или ваш господин милый не желает этого — то есть вы любите мерзавца, который не любит вас, — или вы не желаете этого? Что же привязывает вас к мужу, позвольте спросить? Есть привязанности сильнее всякой страсти, и можно даже быть расположенной к мужу гораздо сильнее, нежели к любовнику, при самой страстной любви к любовнику и безо всякого пылкого чувства к мужу, но вы нисколько не расположена к мужу. — Что же вас привязывает к нему? Ясно, кажется. А я сижу, слушаю, как она поет: «Люблю, люблю!» Удивительно, голубочка! Это было глупо с моей стороны. голубочка, уверяю тебя, непростительно глупо, непростительно! — Он с негодованием замотал головою. — Опять тот же ответ, мой друг: ты ребенок в жизни; тебе надобно больше бывать в обществе.

— Хорошо. Опять: ты, разумеется, поняла с первого взгляда, но она, по-твоему, красавица, да и вообще тебе жаль ее; думаешь: «Попробую; может быть, она только робка, или, может быть, еще не так поддалась пошлости, чтобы нельзя было ей поправиться»; потом говоришь мне: «Назначила ей отъезд через три дня — ступай, скажи Нивельзину». Три дня! — когда я говорил тебе, что в три дня получается заграничный паспорт без хлопот, а похлопотать, можно выехать через несколько часов: «Голубочка, зачем же три дня?» Кажется, можно было понять зачем. Нет. Ты говоришь:

— Пусть она имеет время обдумать, пусть испытает себя, — я сомневаюсь в ней». А я: «Голубочка, она хорошая женщина и любит его». Удивительно! Удивительно! — повторил он с удвоенною силою негодования. — И потом, когда приехала к тебе в другой раз: «Голубочка, мне жалко ее: зачем ты уезжаешь и не берешь ее с собою? Она просит, голубочка; она чувствует сама, бедненькая, что одной ей плохо оставаться, — голубочка, пожалей, возьми ее с собою». Это удивительно! Если бы я не считала необходимым, чтобы она осталась одна сама с собою, то и нечего было бы ждать: я давно послала бы тебя к Нивельзину; я думаю, у него где готово к отъезду». А я: «Голубочка, жалко. Ну, хоть дозволь мне выйти к ней — ну, хоть через час, ну хоть да минуту, — все же поддержал бы ее». Удивительно!Удивительно! За такую глупость, голубочка, маленьких детей надобно сечь, — а когда дурак в мои лета, что

с ним делать? Да, благодарила бы тебя Савелова, если бы ты послушалась моей жалости! Я думаю, давно проклинала бы свою судьбу, — да и Нивельзину было бы очень приятно! Благодарили бы тебя оба! Нет, голубочка, ты не оправдывай меня тем, что я мало бывал в обществе: просто дрянь. Вот что я тебе скажу, голубочка: сам не понимаю, как это у меня достает глупости быть такою дрянью! Удивительно! — Волгин стиснул зубы и устремил свирепый взгляд на салфетку. — Вот видишь, голубочка, эта тряпка, — он взял салфетку, — это я и есть.

— Если бы тут был посторонний человек, он умер бы со смеху, друг мой. Даже мне смешно, друг мой, как ни привыкла я к твоим странностям. Можно ли так горячиться из-за таких пустяков?

Волгин глубоко вздохнул.

— Эх, голубочка. — Он грустно покачал головою и продолжал уже обыкновенным своим вялым тоном: — Возьми ты то, голубочка, что вот я хорош, а другие-то еще глупее. Что хорошего может выйти из этого?

— Ах, ты все печалишься об обществе — хорошо, ты увидишь у меня, каково забывать мои приказания! Говорила я тебе или нет, чтобы ты думал о жене и сыне, а не о всяких ваших глупостях, которые вы называете общественными вопросами? Сам же ты говоришь мне, что это глупости и думать о них нечего. Зачем же не слушаешься? Знаешь ли, что я сделаю с тобою за это? Мы с Володею и с Наташею поедем кататься на лодке — вот я велю и тебе сесть с нами, и поедем.

— Ах ты, голубочка, голубочка! Это, ты думаешь, бог знает какая важность для меня? Да я поеду с удовольствием. Уверяю, — храбро возразил Волгин.

— Хорошо, верю. Я тебя отучу огорчать меня твоими печалями о будущем. Но, мой друг, в самом деле смешно, что ты так много думаешь о пустяках. Пусть себе живут, как им нравится. Пусть прежде поумнеют, хоть немножко, — тогда другое дело. А если общество так глупо, как ты говоришь, стоит ли горячиться?

—- Само собою, не стоит, голубочка. — Волгин погрузился в размышление. — Разумеется, не стоит.

— Наташа! Где вы с Володею? Не слышит. Позови ты, мой друг, только не так громко, чтобы оглушить меня.

Волгин закричал с умеренностью, потом вздохнул.

— Голубочка, ты хочешь послать их, чтобы старик шел с веслами в лодку? Ты, в самом деле, возьми тоже меня. Этот вечер я могу ничего не делать.

— Ах, мой друг, если бы я почаще слышала от тебя это! Но теперь и буду слышать чаще, ты обещаешь.

— Теперь у меня будет много свободного времени, голубочка. Но ты, пожалуйста, ласкай этого Левицкого, голубочка.

— Еще бы нет! — весело сказала Волгина. — Я убеждена: он стоит того, чтобы полюбить его и мне, когда он так понравился тебе.

Прошло с неделю или больше. У Волгина опять выбралось довольно свободное время. День опять был очень хороший. Под вечер Волгина пошла гулять по набережной и взяла с собою мужа.

Тот край Петровского острова, хоть и одна из самых близких от города дачных местностей, хоть и одна из самых сухих на островах, был тогда — вероятно, остается и теперь, — очень глухим местом. Между сотнею скромных или даже бедных дач было там тогда разве три-четыре барских, да и то не великолепного сорта, и, сколько помнится, чуть ли не все обветшалые, полуразваливающиеся. Одна такая, с обтерхавшимися претензиями на пышность, стояла на берегу Малой Невы, в сотке сажен от уютного дома, который занимали Волгины. Самый дом стоял в нескольких десятках шагов от набережной; на нее выходил садик, принадлежавший к нему.

— Наташи с Володею нет, — сказала Волгина, окинувши взглядом свой небольшой садик. — Должно быть, она унесла Володю на набережную. А я не спросила тебя, мой друг: что ж ты не привез Левицкого?

— Да я и забыл сказать тебе, голубочка: он уехал к родным.

— По крайней мере не надолго?

— Не надолго, разумеется; месяца на полтора, много на два.

— И то неприятно.

— Разумеется, неприятно, голубочка; но удерживать было нельзя: четыре года не виделся с ними.

— Мне кажется, ты говорил, что у него нет близких родных, кроме маленьких брата и сестры или сестер, что они все еще очень маленькие, что они воспитываются у какой-то двоюродной тетки, — так? И мне кажется, ты не замечал в нем мысли ехать к ним в это лето? По твоим словам, мне казалось, будто он не думал ехать: что ж это ему вдруг вздумалось? Ты рассчитывал, что теперь же передашь ему часть своей работы, с нынешнего же месяца.

— Ну, так и быть, — сказал Волгин. — Все разно.

— Нет, не все равно, мой друг: жить побольше на даче, это было бы хорошо для тебя. Но куда же делась моя Наташа?

Они в это время вышли на набережную. Набережная, как обыкновенно, была почти пуста. Немногие гуляющие были все видны наперечет, далеко в обе стороны.

— Где бы ни была, к чаю сама отыщется, — сказал Волгин. — А Володя ужасно любит ее, должно быть, голубочка?

— «Должно быть»! Хорош отец! Конечно, больше, нежели тебя. Впрочем, нельзя и давать его тебе в руки: так ловок! — Волгин воспользовался случаем залиться руладою, и жена засмеялась. — Она ласковая, кроткая; я очень довольна ею. И неглупая девочка: слушается, знает, что если останавливают ее, то для ее же пользы. Можно будет найти ей хорошего жениха: совершенно скромная девочка. Но — что такое? Каково? — Волгина сдвинула брови и ускорила шаг. — Хвалю ее, что слушается, а она... ах ты, глупая девчонка! Я очень строго приказывала ей, чтобы она не смела ни слова говорить ни с кем на этой гадкой даче, — и вот вам умная девушка! Уже подружилась с какою-то фавориткою мерзкого старичишки!

— Где же, голубочка, ты видишь ее? — сказал Волгин, прищуривая глаза, которые и в очках очень плохо видели вдаль. — А, точно! Вижу, сквозь акации, под сводиком ворот: так, ее платье, голубое.

— Ее платье! Да знаешь ли ты хоть ее-то саму в лицо? Я думаю, еще не успел заметить в полгода. И воображает, что помнит, в каком платье она! У нее нет голубого платья. Вовсе нет и не было. Она та, которая в розовом. О, как же я побраню ее! И мало того,

что побраню: на целую неделю я посажу ее сидеть дома, — дальше нашего садика ни шагу!

— И это будет очень хорошо, голубочка. Ты больше брани ее, голубочка: нельзя, для ее же пользы. Уверяю тебя.

— Ни она, ни ты не можете пожаловаться, довольно браню вас обоих, — сказала Волгина, засмеявшись. — Достаточно забочусь о вашей пользе. Но это что-то не так, друг мой, как я подумала: это не может быть какая-нибудь фаворитка.

Девушка в светло-голубом платье, говорившая с Наташею под ощипанным сводиком ворот из акаций у богатой полуобнищавшей дачи, шла навстречу Волгиным.

— Кто такая могла б она быть? — тихо заметила Волгина и шепнула мужу: — Когда подойдет, ты посмотри на нее хорошенько: привлекательное лицо, мой друг.

— Ну, вроде твоей Савеловой, — блондинка, должно быть, тоже?

— Савелова очаровательна, потому что красавица. Но это не то, мой друг: это привлекательное лицо; пожалуй, тоже красавица; но главное, выражение лица.

Девушка в светло-голубом платье, легкой, небогатой материи, без роскошной отделки, очень простого покроя, была блондинка, лет семнадцати-восемнадцати, с русыми волосами нашего обыкновенного русого оттенка, не пепельного, не золотистого, не эффектного, но волосами густыми, прекрасными. Локоны их падали свободно; девушка несла свою соломенную шляпу в руке, приподнятой к Володе, на руках у Наташи продолжавшему играть лентами этой простенькой шляпы. Даже сам Волгин, отличавшийся необычайным умением наблюдать и соображать, увидел и понял, что простота наряда молоденькой блондиночки стоит быть замечена: на четверть ниже рук Наташи, державшей малютку, колебался очень маленький кружочек, сплошь сверкавший искрами, — конечно, часы этой девушки, угадал Волгин, крошечные часы, усыпанные брильянтами: вероятно, Володя играл этими часами прежде, нежели вздумал предпочесть им ленты шляпы. Волгин, с неизменною своею основательностью, заключил, что девушка из богатого сословия, и одобрил ее за скромность. То и другое мнение совершенно подтвердилось, когда она подошла, и близорукий Волгин мог видеть все в

подробности: точно, часы были крошечные и очень, очень дорогие, а на лице девушки не было ничего, подобного чванству.

Блондинка подошла к Волгиной непринужденно, даже смело, или, лучше сказать, доверчиво, но с легким румянцем маленького стыда, и попросила «не бранить Наташу»; Наташа очень испугалась, увидевши Лидию Васильевну, — Наташа сказала, что m-me Волгину зовут Лидия Васильевна; — Наташа вовсе не хотела ослушаться Лидию Васильевну, долго не подходила к изгороди из акаций; но она упросила Наташу перейти в тень, потому что надобно было снять шляпу для Володи, он непременно хотел теребить ленты, и надобно было уйти с солнца в тень, потому что от деревцов на набережной вовсе нет тени; она сама подошла к Наташе — Наташа сидела вот у этого дерева, — Наташа не виновата... Но она видит, что Лидия Васильевна не сердится на Наташу. Она — Илатонцева...

Мгновенно Волгин схватился пальцами за свою бороду. Впрочем, это было, по всей вероятности, необходимо для поддержания бороды, потому что Волгин споткнулся, но очень ловко поправился, кашлянув раза два, и опять пошел совершенно молодцом. «В самом деле, что за важность? — сообразил он. — Илатонцева, то Илатонцева; какое мне дело? Я ничего не знаю; да и она, вероятно, тоже. Он уехал с ее отцом, когда ее еще не было в Петербурге. Положим, очень легко может быть, что она упомянет о брате, о гувернере; но, я думаю, еще и не знает фамилию гувернера. Но пусть знает; пусть скажет; что за важность? Фамилия-то слишком обыкновенная; Лидия Васильевна и не подумает. Но пусть Лидия Васильевна и спросит; могу сказать просто: не знаю; он мне сказал, что едет в деревню, — ну, я подумал: значит, к родным. Только. Что за важность?» При способности Волгина делать соображения с быстротою молнии, натурально было ему споткнуться и кашлянуть раза два, и еще натуральнее было, что после того он почувствовал себя как ни в чем не бывало: вывод был очень успокоителен, способность Волгина быть храбрым нимало не уступала его сообразительности.

— Что ты, мой друг? Споткнулся? Он у меня очень ловкий, каждую минуту жду, что сломит себе руку или ногу, — заметила Волгина блондинке, в объяснение

странного обстоятельства, что Волгин сумел заставить вздрогнуть их всех трех, и даже Володю, резко покачнувшись на гладкой дороге, где никакому другому человеку не было возможности споткнуться. — Не ушиб ногу, мой друг?

— Нет, голубочка, ничего, — успокоил храбрый муж.

— Так вы — Илатонцева, я слышала вашу фамилию. А зовут вас?

— Надежда Викторовна, — подсказала Наташа.

— И я знаю вашу фамилию; не видел вашего батюшку — конечно, я не ошибаюсь, камергер Илатонцев, который долго жил за границей, ваш батюшка? — сказал Волгин — сказал отчасти потому, что был совершенно спокоен, отчасти потому, что идти навстречу опасности — самое лучшее дело, когда человек рассудил, что большой опасности и быть не может.

— Да, я его дочь, — отвечала девушка.

— Погодили бы вы отвечать, — или, лучше, не спрашивать бы мне, а прямо начать с того, что я знаю об Илатонцеве, — сказал Волгин, — теперь поздно говорить это, неловко. Хороший человек ваш батюшка. Да, хороший человек. Нет нужды, что аристократ; нет нужды, что страшный богач, — все-таки хороший человек. — Это Волгин сказал уже не по храбрости, а просто.

Девушка опять слегка покраснела, от удовольствия.

— Да, я видела, что многие любят его: в селах, у нас — все.

— Каким же образом вы здесь, на этой даче, и, должно быть, одна? — спросила Волгина. — Здесь живет старик, у которого не бывает никто, кроме таких же, как он. И я слышала, что он совершенно одинокий, что у него нет родных.

Девушка отвечала, что он дальний родственник ее тетушки, — ее тетушка тоже Тенищева; кáк родственник, она не умеет сказать хорошенько. Тетушка не говорила. Тетушка хотела ехать за город, прокатиться. Она поехала с удовольствием. Но вдруг тетушке вздумалось заехать на эту дачу: тетушка вспомнила, что тут живет ее родственник, которого тетушка не видала очень давно. Он удивился, обрадовался тетушке. Тетушка представила ему ее. Он обедал. После обеда тетушка уехала: ей надобно было видеть своих знакомых на Крестовском и на Елагине. Потом уехал и Тенищев.

Она осталась одна в этом большом доме, таком пустом, таком мрачном. Ей было скучно. Нет, не скучно: если бы только скучно, то, вероятно, было бы можно достать какую-нибудь книгу, — или она пошла бы гулять по саду, хоть и одна, и скука рассеялась бы. Но она чувствовала какую-то странную боязнь или тоску — она сама не знает, как назвать это чувство. Вероятно, это чувство было оттого, что все в этом доме так странно: оборвано, в пыли, в беспорядке; и прислуга такая странная: девушки одеты нарядно, но неопрятны и так странно пересмеиваются: и дерзкие, и подобострастные, всё вместе; а мужская прислуга — все какие-то старики, старые, старые, сморщенные, угрюмые, будто злые, и одеты бедно, с продранными локтями, с заплатами... Она ходила по саду, и все-таки ей было грустно. Она так обрадовалась, когда увидела на берегу молоденькую няньку с ребенком, ласковую к нему, веселую. В болтовне с Наташею время пролетело у нее незаметно...

— Вам неприятно, одной, в пустом доме; идемте же гулять с нами, — сказала Волгина.

— Но я не знаю... — начала было Илатонцева отговорку, которой, очевидно, не могла желать успеха.

— Если вы оправдали передо мною Наташу, я тем больше найду оправдание вам перед вашею тетушкою.

— Ваша тетушка услышит от Лидии Васильевны... — сообразил было пояснить Волгин, но рассудил, что Лидия Васильевна, если найдет уместным сообщить Илатонцевой, какую лекцию прочтет ее тетушке, то и сама сумеет сообщить.

— Ваша тетушка молодая дама? — спросила Волгина. — Очень молодая?

Илатонцева покраснела и взглянула на Волгину, как будто просила прощения.

— Вы осуждаете тетушку. Но когда вы увидите ее, вы полюбите. Она такая добрая, что я не знаю, способна ли сердиться или сказать злое слово. Я говорю это не для того, чтобы сказать, что я не жду выговора от нее, — боже мой, когда я с вами! Но если б это были не вы, все равно я не боялась бы выговора от нее. Я могу делать, что мне угодно, я совершенно свободна. И это очень естественно, что она спешит повидаться со своими знакомыми: мы едем из-за границы, в деревню...

— Это еще не резон, чтобы она бросала вас одну, скучать, — основательно возразил Волгин.

— Ваша правда, это была бы еще не причина или, если угодно, не извинение бросать меня скучать. Но тетушка не думала, что я буду скучать. Она не могла думать этого. Она не хотела бросать меня одну; но я почти отказывалась делать визиты, ездить в гости к незнакомым людям. В Петербурге я почти никого не знаю: я еще не выезжала в свет. И я не скучала в эти дни. Она думала, что мне было бы скучно ехать с нею. Я сама не знала, что эта дача произведет во мне такое тяжелое чувство. Мы только что приехали сюда, я не успела осмотреться, когда тетушка собралась. Если бы я знала, то могла бы ехать с нею.

— Вы не знали — натурально; но она должна была знать за вас, что эта дача произведет на вас неприятное впечатление, — сказал Волгин.

— Почему же она должна была предвидеть это? Потому**,** что я привыкла к роскошным комнатам? Правда, привыкла, но привыкла и к очень небогатым. В Провансе мы с madame Lenoir, с Луизою и Жозефиною жили в очень небогатом домике, — и как счастлива была я!

— Вы воспитывались за границею? И так говорите по-русски?

— Madame Lenoir — это была ваша гувернантка? — спросила Волгина.

— II жили в Провансе? — прибавил Волгин.

— Почему же не воспитываться в Провансе, если воспитываться во Франции? — обратилась Волгина к мужу. — Кажется, в Провансе самый лучший климат во Франции?

— Но там другой язык, не тот, которому учатся, — отвечал Волгин. — Главная разница та, что окончания слов стерлись в северном французском, да и все слова скомканы выговором; а в южном, как в итальянском и в испанском, формы слов остались целее, длиннее. Например...

— От примеров ты пощадишь; тем больше, что я вспомнила. — сказала, смеясь, Волгина. — Видите, Надина, какой он у меня ученый. Страшно надоедает. Нельзя ни о чем спросить его: вместо того чтоб отвечать в двух словах, начнет целую диссертацию. Разумеется, я не дослушиваю. Только тем и спасаюсь; иначе меня уже назначили бы профессором в университет. Но говорите, зачем и как вы жили в Провансе?

Она жила в Провансе, потому что m-me Ленуар хотела жить в этой части Франции. M-me Ленуар была ее гувернанткою, это правда, — но больше, нежели гувернанткою. Ее мать, умирая, просила m-me Ленуар заменить ей мать... M-me Ленуар с самого замужства ее матери была их другом. Дружба эта началась через то, что m-me Ленуар и ее отец были хороши между собою еще прежде. M-r Ленуар был друг Базара; ее отец в молодости был знаком с Базаром...

Сведения Волгина об Илатонцеве не простирались до таких подробностей. «Гм! С Базаром! — промычал он. — Ваш батюшка был знаком с Базаром! Гм!»

— Madame Ленуар говорила мне, и я сама читала, что очень многие дурно говорят о Базаре, — сказала Надина. — Но я привыкла слышать от madame Ленуар, что Базар всю свою жизнь посвятил пользе людей...

— Вы не так поняли меня, Надежда Викторовна, — сказал Волгин.

Ее отец в молодости был довольно хорош с Базаром и познакомился у него с m-r Ленуаром. Когда ее отец и мать, после свадьбы, переехали жить в Париж, m-r Ленуар также уже был женат, и ее мать получила большое уважение к m-me Ленуар. Вскоре после того m-r Ленуар был убит — 12 мая, это она знает хорошо, потому что m-me Ленуар всегда очень много плакала в этот день; но она не умеет сказать Волгину, в каком году это было, — кажется, в 1840.

— В 1839, — сказал Волгин.

— Как это ты все помнишь, — заметила жена.

— Этого нельзя не помнить, голубочка, — отвечал он, не понявши, в каком смысле было сделано замечание. — Это не мелочь какая-нибудь; это было важное дело, великая ошибка, страшный урок, — и остался бесполезным, натурально. Видишь, в первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний, неудачно; рассудили: «Подождем, пока будет сила»; ну, и держались несколько лет смирно и набирали силы; но опять недостало рассудка и терпения, подняли восстание; ну и поплатились так, что долго не могли оправиться. А чего было и соваться? Если бы было довольно силы, чтобы выиграть, то и сражаться-то было бы нечего: преспокойно получали бы уступки одну за другою, дошли бы и до власти с согласия самих противников. Когда видят силу, то не будут вызывать на

бой — смирится, самым любезным манером. Ох, нетерпение! Ох, иллюзии! Ох, экзальтация! — Волгин покачал головою.

—Madame Ленуар говорила также, что ее муж не одобрял, предсказывал погибель.

— Когда ты помнишь это с такими мыслями, это ничего, мой друг, — заметила Волгина. — Но, кстати, — кто же был Базар?

— Главный из сенсимонистов, голубочка; лучше сказать, самый дельный. Анфантен взял верх в их обществе и приобрел больше известности. Но у Анфантена было много чепухи в голове, и, я думаю, слишком любил рисоваться. Но Базар был не сумасшедший и безусловно честный человек — благородный, великий человек. Дельный человек. Ты не подумай, что он или вообще сенсимонисты подняли это восстание: он умер за несколько лет до того, да и общество сенсимонистов распалось гораздо раньше. Ну, довольно, чтобы не надоесть тебе.

— Благодарю за то, что сумел сам удержаться. Теперь и я вижу, Надина, что ваш отец должен быть очень честный и добрый человек: очень богат, а дружился с людьми, которые заботились, как бы сделать, чтоб не было ни бедных, ни очень богатых.

— Так говорит madame Ленуар,— сказала Илатонцева, опять слегка покраснев от удовольствия.

По смерти мужа m-me Ленуар осталась без денег. Старшая сестра и зять — они жили также в Париже — звали ее к себе. Она говорит, что они были хорошие люди. Но сами были не богаты. Она говорит, что поэтому она была рада предложению своей богатой знакомой жить у нее.

Умирая, мать Илатонцевой просила m-me Ленуар не покидать сироту. Илатонцевой было тогда лет семь. Поэтому она очень мало помнила мать и знала ее почти только по рассказам отца и в особенности m-me Ленуар. Волгина спросила, на кого она больше похожа, на отца или мать? Больше на отца.

Илатонцевой говорили, что в первые годы своего детства она звала madame своею бабушкою и плакала, когда мать уверяла, что она почти одних лет с ее бабушкою: «Вы не старуха». M-me Ленуар казалась ей старухою, потому что была седа: она поседела после смерти мужа. Она не носит траура, но Илатонцева не

помнит, чтобы на ней когда-нибудь было платье светлого цвета... Нет, было: перед отъездом Илатонцевых в Англию m-me Ленуар носила светлые платья. Но в Англию она опять приехала в темном.

Можно было малютке считать m-me Ленуар своею бабушкою не по ее седым волосам только, но и потому, как обращались с этою седою женщиной отец и мать Илатонцевой. Отец говорил, что ее мать во всем советовалась с m-me Ленуар.

Одна, m-me Ленуар всегда серьезна — вероятно, всегда грустна. В обществе она никогда не улыбается; и если начинается веселая болтовня, она молчит или уходит. Но она любила, чтоб Илатонцева веселилась, — и потом, когда стала жить с племянницами, она умела делать, чтобы всем трем им было весело. Если они хотели, она играла с ними.

После февральской революции Илатонцев с дочерью и сыном — ее брат был тогда малютка — уехал в Англию. M-me Ленуар плакала, провожая их, но решилась остаться в Париже. Разлука была недолга: месяца через два m-me Ленуар приехала к ним в Лондон, — и говорила Илатонцеву: «Мы с вами ошиблись; не будет ничего хорошего: по-прежнему и нетерпеливы, и нерешительны, и легковерны». Отец, как ни рад был за дочь приезду m-me Ленуар, горько жалел, и девятилетняя девочка плакала, сама не понимая о чем.

Несколько времени они жили в Англии. Потом Илатонцев был вызван в Петербург; скоро вышел в отставку, и они жили попеременно то в Петербурге, то в Илатоне — это недалеко от Волги, между Сызранью и Хвалынском. Ей очень нравилось в Илатоне: там у них такой большой сад, подле такой прекрасный лес; и все в Илатоне так любили ее отца и полюбили m-me Ленуар — m-me Ленуар в первое же лето выучилась говорить по-русски, — за отца и m-me Ленуар все там любили и ее.

Три года назад m-me Ленуар получила письмо, что ее старшая сестра умерла. У сестры остались две дочери — одна ровесница Илатонцевой, другая двумя годами моложе. Они остались круглыми сиротами. Тетка должна была ехать, заботиться о них. Илатонцев упрашивал ее только съездить за ними, привезти их. Она не согласилась. Она говорила: «У них нет состояния, они должны выйти за людей небогатых, потому не

должны приучаться к роскоши, не должны и видеть ее вблизи».

— Да, роскошь портит людей; вот, например, вас как испортила, — заметил Волгин и залился руладою в одобрение своему остроумию; кончив руладу, обратился к жене: — Что, каково, голубочка? Видишь, светский человек! — и повторил руладу.

— Спросите светского человека, Надина, приятно ли ему ваше общество, — сказала жена. — О себе я не спрашиваю: он каждый день уверяет меня, что приятно.

— Что же, голубочка, ты должна видеть, нравится ли мне Надежда Викторовна, — отвечал Волгин. — А что же вы смеетесь, Надежда Викторовна? Голубочка, чему же смеется Надежда Викторовна?

— Будь уверен, что не твоей светскости: может быть, просто по сочувствию твоей веселости. Вы любите кататься на лодке, Надина?

— Да, люблю.

— В самом деле, вечер прекрасный, погода тихая, — с большим одобрением сказал Волгин. — Значит, послать старика, голубочка?

— Разумеется, сходишь за ним и принесешь два пальто, мне и Надине. Наташа даст тебе — наденешь и сам пальто.

— Ну-у, голубочка... — уныло затянул Волгин и очень убедительно прибавил: — А я и позаботился бы, голубочка, чтоб готов был чай к тому времени, как вы...

— Можете видеть, Надина, как ему приятно не только ваше, но и мое общество.

— Ах ты, голубочка! Это значит, ты шепнула Надежде Викторовне, покуда я хохотал. Эх, голубочка!

— Вы видите, Надина, что у него надобно учиться не только любезности, но и хитрости: он даже и надобность придумал, для нас же, чтобы он остался дома. Ты позаботишься о чае? Хорош будет чай! Но иди же за стариком, не переслушаешь всех похвал себе. Пошли дворника на дачу Тенищева сказать, что Надина с нами.

Волгин вздохнул, но пустился чуть не бегом к избушке подле маленькой пристани. На пристани была привязана рыбацкая лодка. Из избушки вышел старик рыбак с довольно большим ковром, принялся раскладывать и оправлять его по лодке. А Волгин между тем стремглав летел домой, придерживая рукой фуражку, чтобы не сорвалась от неуклюжих, но очень успешных

прыжков, которыми он отмахивал чуть не по две сажени.

— Славный ковер! Мы будем сидеть, как на подушках! — сказала Илатонцева, когда подошла с Волгиной к лодке. — Рыбная ловля здесь выгодна, если рыбакам можно покупать такие ковры.

— Ничего, слава богу, живем, барышня, — отвечал старик. — Но, впрочем, ковер не мой, а Лидии Васильевнин: он так уж и лежит у меня. Где нашему брату, рыбаку, иметь такие.

— Конечно, рыбак не захотел бы купить, но если бы вздумал, то мог бы купить такой ковер, если бы не пропил на прошлой неделе тридцать рублей, — серьезно заметила Волгина.

— Эх, Лидия Васильевна, вот за это не люблю вас: больно вы строга, — отвечал старик будто шуткою, но не успевая заглушить в голосе жалобу. — Вот, барышня, будьте вы судьею между нами: все лето слуга покорный Лидии Васильевне, а не вижу от нее ни гроша; после трех рублей, что получил в задаток, и не увижу, она говорит. «У старухи твоей лучше пойдет в пользу», — говорит. Значит, что ж я выхожу после этого? Батрак на свою старуху! Что ты станешь делать? Такой упрямый человек она, Лидия-то Васильевна...

Между тем примчался галопом Волгин. Волгина оправила на Илатонцевой свое лучшее черное бархатное пальто, и лодка поплыла по взморью, по тихой зыби едва заметных струек.

— Хороший вечер, — сказала Волгина. — А в Провансе, Надина, почти круглый год вечера так хороши, — и половину года бывают лучше? Правда это?

— Да, — отвечала Илатонцева и стала вспоминать, как хорошо в Провансе и как особенно хорошо в их домике, в их долине. Маленький домик m-me Ленуар стоит в одной из долин Mont de l’Êtoile[[6]](#footnote-6), немножко в стороне от железной дороги из Э в Марсель...

— Mont de l’Êtoile, — заметил Волгин едва ли когда слыханным до него в мире французским выговором. — Mont de l’Êtoile — не помню, да и в какую сторону Э от Марсели, не знаю; но, кажется, читал, что дорога из Э в Марсель ведет через такие очаровательные долины, каких не много и в самом Провансе. А что, это высокая

гора, Mont de l’Êtoile, и в какую сторону от нее домик madame Lenoir?

— Домик на юг от горы; она довольно высокая.

— А, ну, это очень хорошо; значит, долина закрыта от мистраля.

— Что это, мистраль? — спросила Волгина. — Северный ветер?

— Да, голубочка; от него, в иной год, пропадает сбор оливок в местах, открытых на север. А их много, в особенности по Роне, потому что, знаешь, Рона течет там прямо с севера на юг. Ну, разумеется, это провансальцы называют мистраль морозом, а у нас... Ну, да, впрочем, ты учишь, голубочка, Надежду Викторовну смеяться надо мною.

— Да, это очаровательное место, долина, где стоит домик madame Ленуар, — продолжала Илатонцева. Ее отец ездил сам искать, где купить дом. — Когда madame Ленуар отказалась взять племянниц в Россию, он попросил ее, чтобы она взяла его дочь в свое новое семейство. Он хотел ехать сам во Францию и жить подле... Madame Ленуар сказала: «Нет, если Надина будет жить с моими племянницами, вы не должны жить подле нас. Мои племянницы не должны видеть никакой роскоши подле себя». Ему было очень тяжело это условие, но он принужден был согласиться, что она говорит правду. Он сказал: «Пусть будет по-вашему. Но я провожу вас и найду для вас <дом> в деревне; деревенский воздух лучше парижского для тихого воспитания, а поселиться в Провансе всегда было вашею мечтою». Она видела, что он хочет сделать ей подарок, но не могла отказаться. Прежде она не хотела брать жалованья, какое следовало бы; у нее не было ничего; тоже и у племянниц. Она только настояла, чтоб дом был маленький и земли при нем немного. Илатонцев поехал из Парижа в Прованс, возвратился, повез их на новоселье, взглянул, как они там устроились, и уехал. Потом он приезжал два раза — оба раза на несколько дней. Madame Lenoir не позволяла ему оставаться дольше. «Я не хочу, чтобы вы избаловали моих племянниц».

Они жили очень скромно. Земля давала тысячи две франков. Они вчетвером должны были жить на это, потому что m-me Ленуар говорила: «Когда вы хотите, чтобы Надина жила со мною, она не должна ничем отличаться от моих племянниц, и ей нет надобности

в деньгах». Они должны были сами делать довольно много, потому что у них была только одна служанка, а при домике есть садик с виноградом, с фруктовыми деревьями. Илатонцева забывалась от восторга, вспоминая ту жизнь в обществе двух подруг, добрых, добрых девушек... Они все три так любили друг друга и m-me Ленуар... Заботы о хозяйстве, бесконечные игры... Прогулка, иногда втроем или вчетвером, с m-me Ленуар, иногда с соседними сельскими девушками и молодыми людьми, иногда и в обществе каких-нибудь гостей из Марсели...

Илатонцева задумалась.

— Вот, вы четыре года — или три? — прожили в Провансе, — начал Волгин. — Положим, французский акцент не испортился у вас от этого, потому что вы жили в семействе парижанок; кроме того, я и не слышал, как вы говорите по-французски, да и не мог бы судить, если бы слышал. Ну, а вот это как же, что вы говорите по-русски, будто и не выезжали из России?

— Когда мы жили в Париже... в нашем семействе говорили по-русски... Отец и мать... у меня была русская нянька... Потом мы жили... в России. Я уехала с madame Ленуар уже пятнадцати лет... — Илатонцева довольно надолго остановилась. — Madame Ленуар говорила со мною по-русски... у нее дурной акцент, но она говорит свободно... — Илатонцева опять остановилась.

Волгин бросил на жену умоляющий взгляд. Но Волгина промолчала.

— Да-с, вы говорили, Надежда Викторовна, что madame Ленуар заботилась о русском языке.

— Да... заботилась... Она для этого даже согласилась... взять с собою Мери, мою горничную... внучку моей няньки... Маша так любила меня... что решилась прислуживать всем трем нам... — Илатонцева опять остановилась.

Волгин опять бросил умоляющий взгляд на жену. Опять это осталось безуспешно. Неужели она не замечает?

Лодка давно выехала на взморье и качалась уже довольно сильно. Пока Илатонцева не замечала этого в увлечении воспоминаниями о m-me Ленуар и Провансе, все было хорошо. Но когда Волгин возобновил разговор, отрывочность ее слов показалась ему заслуживаю-

щею размышления, и с обыкновенною догадливостью он постиг, что Илатонцева больше думает о волнах, нежели о разговоре. Лидия Васильевна не хотела замечать его взглядов, он, при своей изобретательности на очень замысловатые обороты, не затруднился придумать, как ему надобно говорить.

— Голубочка, знаешь, пожалуйста, лучше поедем назад. Там, впереди, волны еще больше.

— Знаю ли, что ты трус? Еще бы не знать! Я думаю, видит уже и Надина. Посмотри на нее и постыдись, мой друг: в ее лице незаметно никакой перемены. Ты хуже всякой девушки, — я думаю, хуже всякой девочки.

— Мы очень часто бывали в Марсели и катались в лодке по морю. Я слишком хорошо знаю, что это волнение ничтожно, не только безопасно. Вы просите вернуться потому, что думаете, мне страшно. Но я вижу, что нет никакой опасности. Может быть, вам показалось, что мое лицо несколько бледно, — это оттого, что мы сидим: у меня, вероятно, был румянец от прогулки. Теперь он сошел. Кроме того, воздух начинает быть прохладен. Но в Провансе я привыкла любить прохладный воздух. А самой мне тепло в этом пальто. Посмотрите. — Она протянула из-под пальто руку и сняла перчатку. — Рука теплая, не правда ли?

— Рука теплая, — согласился Волгин.

— О чем мы говорили? Да, о Маше, которую мы теперь зовем Мери. Она очень любит меня. Ее отец управлял нашим домом в Петербурге, когда мы жили в Париже. Прежде он был камердинером у моего отца. Когда мы переехали жить в Россию, она сделалась моею горничною: она четырьмя годами старше меня. Madame Ленуар говорила, что она очень умная девушка. Сколько я могу судить, это правда. Когда madame Ленуар должна была ехать во Францию и хотела взять меня с собою, то не хотела, чтобы у меня была особенная прислуга. Но Мери сказала, что будет прислуживать и ее племянницам. Тогда madame Ленуар согласилась взять ее. Тем больше, что и сама любила ее и была рада, что мне будет с кем говорить по-русски... Она и прожила несколько времени у нас в Провансе... И все были очень довольны ею... Но потом она не жила с нами... Она жила в Париже... Вернулась к нам только уже незадолго перед моим отъездом... Она

очень любит меня... Но я забываю, что это нисколько не интересно для вас...

Видно было, что она говорила только для того, чтобы говорить, и перестала говорить также потому, что ей стало трудно удерживать связь мыслей. Лодку качало сильнее и сильнее. Теперь уже и Волгин видел, что Илатонцева бледна.

Бледна, правда. Но держала себя превосходно. Волгин посмотрел на жену с выражением, говорившим: «Голубочка, похвали ее».

Волгина засмеялась.

— Взгляните, Надина, как сочувствует вам светский человек. Но в самом деле, нельзя не похвалить вас, Надина. У вас есть характер.

— Мне очень стыдно за себя, — отвечала Илатонцева. — Я как нельзя лучше вижу, что нет ни малейшей опасности. Я говорила, кажется, что Мери приехала с нами в Прованс, madame Ленуар была очень довольна ею. Она нисколько не тяготилась тем, что должна была и одеваться, и жить, как наша другая служанка, старушка из соседней деревни. Но она прожила с нами не больше полгода. Потом уехала в Париж. На дороге в Прованс мы пробыли в Париже недели полторы, пока папа купил и устроил домик. Вероятно, в это время Мери успела приобрести в Париже знакомства, которые пригодились ей: она девушка очень умная. Она уехала от нас в Париж потому, что ее пригласили быть конторщицею в каком-то косметическом магазине... madame Ленуар не хотела отпускать ее... потому что она говорила со мною по-русски... и потому что они все любили ее... и я, конечно...

Илатонцева опять остановилась. С минуту лодка продолжала плыть вперед. Через край плеснуло несколько капель.

— Повернем назад, — сказала Волгина старику ло­дочнику. — Опасности не было бы, Надина, хоть бы мы плыли до Кронштадта и за Кронштадт. Но я скупа. Пальто, которое на мне, не боится не только брызг, и проливного дождя. Но было бы жаль бархатного, которое на вас. Сколько стóит такое в Париже? Я думаю, рублей пятьдесят, или меньше? А мне оно обошлось в семьдесят, и то лишь потому, что я дружна с моею модисткою и ее дочери — миленькие немочки — вешаются мне на шею.

— Мне смешно и стыдно за себя, — сказала Илатонцева. — Я знала, что нет опасности, и нисколько не боялась. Но мне было надобно большое усилие воли, чтобы не дрожать. Мне тем стыднее за свою трусость, что можно было б отстать от нее, катаясь по морю.

— Это не трусость, Надежда Викторовна, — возразил Волгин. — Вы создана для тихой жизни, только. Вы рассказывали о вашей горничной.

— Но я понимаю, что это вовсе не интересно для вас.

— Нет, это интересно. Не правда ли, голубочка?

Он думал о том, что горничная должна быть девушка опасная. Ее из Прованса вызвали в Париж быть конторщицею! В Париже мало желающих быть конторщицами. Очевидно, она уезжала туда быть авантюристкою.

— Вы видите, Надина, он интересуется всем, что близко к вам, — сказала Волгина. — Если бы вы знали, какой он дикарь, вы удивлялись бы, что он разговорился с вами. Вы видите, я так рада этому чуду, что и не мешаюсь в ваш разговор: пусть хоть немножко привыкает говорить с людьми о чем-нибудь, кроме книг и глупостей, которые называются у них общественными делами.

— Почему ж она возвратилась быть вашею горничною? — спросил Волгин. — Ей не повезло счастье в Париже?

Кажется, напротив. Правда, она не хвалилась особенным счастьем в Париже. Но и не жаловалась на неудачи. Вообще она мало говорила о своей парижской жизни. Но когда она вернулась оттуда, она привезла порядочный гардероб, много дорогих вещиц. Мери вернулась, безо всякого сомнения, только потому, что очень любит ее, соскучилась по ней.

Madame Lenoir приняла Мери очень сурово. Довольно долго не соглашалась, чтобы она заняла прежнее место...

— Madame Lenoir должна была полагать, что Мери вернулась к вам не по расположению, а по корыстолюбивым расчетам, — заметил Волгин, сам, при всей своей простоте, видя, что не обманулся относительно парижской карьеры Мери: очевидно, m-me Ленуар знала, что Мери была там авантюристкою. — Madame Ленуар была, по-моему, права, — продолжал он.

— Теперь я понимаю, чего опасалась madame Ленуар, — сказала Илатонцева. — Так-так! Она опасалась, что Мери хочет обманывать меня, выманивать у меня деньги, подарки, когда мы будем жить в Петербурге! А я решительно не могла объяснить себе, почему madame Ленуар была вооружена против Мери! На мои просьбы за Мери она говорила только, что Мери не нравится ей, — а я думала: что ж это? Неужели madame Ленуар может так долго сердиться, так наказывать Мери за то, что Мери два года назад не послушалась ее мнения? Я очень рада, что вы объяснили мне единственный случай, в котором я не умела понять, что madame Ленуар совершенно права. Конечно, — о, конечно, madame Ленуар должна была опасаться за мои наряды, деньги. Это подозрение так естественно! Возвращаться из конторщиц в горничные — в самом деле, трудно поверить с первого раза, что это делается по расположению, а не по расчету обирать меня.

Но Мери успела рассеять предубеждение m-me Ленуар. Мери вперед сказала ей: «Я снова заслужу ваше расположение, каковы бы ни были мои недостатки или ошибки», и поселилась в Марсели. Они часто ездили в Марсель; у них было много знакомых там. Через несколько месяцев m-me Ленуар сказала: «Мери — хорошая девушка. Она сделалась даже лучше, нежели была до разлуки с нами. Тогда она была немножко слишком шаловлива; теперь она совершенно серьезна».

«Была ли madame Ленуар обманута? — раздумывал Волгин. — Очевидно, эта Мери — очень хитрая девушка. Но видно и то, что у нее твердая воля. Трудно предположить, чтобы умная женщина, хорошо знавшая Мери, могла обмануться притворным раскаянием. Вероятнее, что Мери действительно остепенилась. Но это вздор; дело не в том, будет ли шалить Мери или нет. Дело в том, что она хитра и умна. Если она вздумает жертвовать счастьем Илатонцевой для своих расчетов, она может погубить это нежное существо, не понимающее ничего злого. У Илатонцевой громадное приданое. Как она явится в свете, сотни мерзавцев будут льнуть к нему. Горничная пользуется доверием Илатонцевой; опытна, ловка; важная союзница. Тот из мерзавцев, который искуснее всех, то есть бездушнее, подлее всех, подкупит горничную, чтобы она пела про него, — и устроится свадьба... Илатонцев, положим, хороший человек. Но

отец не замена матери. Тетка, очевидно, пустейшая женщина...»

— Ты задумался, мой друг, — заметила Волгина.

— Видишь ли, голубочка, я скажу тебе откровенно. Надежда Викторовна очень хорошая девушка, и я полюбил ее.

— О чем же тут горевать? Договаривай: тебя пугает за нее то, что у нее богатое приданое?

— Разумеется, голубочка, потому что ты всегда знаешь все мои мысли.

— Чрезвычайно мудрено отгадывать их. Но прежде, нежели будешь давать свои советы Надине, спросись у меня. Ты всегда согласен со мною, а я с тобою не всегда.

Волгин погрузился в новое размышление: Лидия Васильевна не может не знать, что собирался он посоветовать Илатонцевой. Натурально, что: «Будьте дружна с Лидиею Васильевною; не теперь — теперь не в чем вам быть доверчивою; но всегда, всегда». Неужели же Лидия Васильевна не хочет заменить старшую сестру для этой прекрасной девушки?

Илатонцева рассказывала между тем, как боролись в ней чувства, когда отец написал, что тетка едет взять ее домой. Ей и хотелось поскорее увидеть отца и брата, жаль было и расставаться с m-me Ленуар и ее племянницами. Тетка выехала, они ждали ее — ждали месяца два: они уже думали, не занемогла ли тетушка. Но отец успокоил их: он написал, что тетушка живет в Париже и здорова.

Илатонцева и сама не знала, чего хотелось ей больше: того ли, чтоб тетка скорее приехала за нею, или того, чтобы она жила и жила в Париже. Наконец она приехала. Тут было слез! M-me Ленуар говорила, что когда выдаст племянниц, приедет жить в Илатоне. Она полюбила русский народ и говорила: «У нас во Франции мало людей, которые искренне желают пользы народу, но все-таки находятся они в каждом уголке. А у вас народу решительно не с кем посоветоваться, не от кого услышать доброе. Но это было прежде, — говорила она. — В эти три года у вас очень многое переменилось. Мы видим по журналам, Надина — они получали в Провансе русские журналы. — Мы видим по журналам, Надина, что у вас начинают заботиться о народе. Но все еще очень мало людей, и я буду не

лишняя». Она жалела и о том, что ее воспитанница не будет иметь подруг в деревне. Жаль, что не в Провансе, не у m-me Ленуар, а уже на дороге, в Италии, было получено письмо от отца, где он говорил о молодом человеке, который согласился ехать с ним в деревню, гувернером Юриньки. Она переписала ту часть письма, где...

— Ваш батюшка так доволен гувернером вашего братца? — заметил Волгин. — Я очень рад, потому что подружился с дальним родственником и однофамильцем этого молодого человека — тоже молодым человеком. Потому-то я и слышал о вашем батюшке, что родственник моего знакомого, тоже Левицкого, гувернер вашего брата.

Нельзя было иначе, надобно было поступить решительно. Опасность, о которой давным-давно забыл Волгин, вдруг нависла над его головою. Еще два, три слова — и Илатонцева назвала бы фамилию гувернера. Но — что значит храбрость и быстрота! Теперь опасность была совершенно уничтожена — Волгин гордился собою. Пусть теперь Илатонцева говорит о гувернере брата что угодно, сколько угодно, беды не будет. Удивительно было ему только то — Волгину всегда было что-нибудь удивительно, — удивительно было ему только то, как тогда, в минуту встречи, не пришло ему в голову такое легкое средство отвратить опасность: тогда не было бы ему надобности пугать жену, сына, Наташу, Илатонцеву своим спотыканием и кашлем.

Она переписала для m-me Ленуар ту часть письма, где отец ее говорил о гувернере Юриньки. Отец убежден, что она полюбит Левицкого. Он описывает его таким, что и нельзя не полюбить. M-me Ленуар будет очень рада, что в их семействе живет новый человек, такой умный, прекрасный, благородный. Теперь m-me Ленуар будет уверена, что ей не будет скучно в деревне. Впрочем, может быть, она найдет там и подруг; m-me Ленуар говорила: «В эти три года настроение умов у вас в России очень переменилось; вероятно, многие из ваших соседов, которые прежде отталкивали от себя дикими понятиями, теперь будут рады слушать твоего отца». Прежде ее отец и не мог, и не хотел сойтись ни с кем из соседов. Он слишком расходился с ними в образе мыслей. Но если оправдаются надежды m-me

Ленуар, — вероятно, и отец найдет себе сочувствие, и она найдет себе подруг...

— А должно быть, вы с тетушкою долго ехали в Россию, если получали на дороге письма от вашего батюшки, — заметил Волгин.

— Да. Тетушка поехала из Прованса через Италию, довольно долго останавливались во Флоренции...

«Должно быть, однако, сильная охотница кутить, — рассудил Волгин. — Парижа было ей мало, хотелось навестить и Флоренцию — по слухам, что нигде нет таких удобств для кутежа, как во Флоренции».

— То-то и есть, — заметил он вслух. — Мой знакомый Левицкий говорил мне про гувернера Юриньки, что больше месяца он со дня на день все уезжает из Петербурга с вашим батюшкою, и все не может уехать. Ваш батюшка ждал, ждал вас в Петербурге — и наконец получает письмо, что вы проедете в деревню через Одессу; он в — деревню, думает найти вас там, и вот я вижу теперь, только что уехал он из Петербурга, по вашему письму, а вы — в Петербург. Ну, признаться, тетушка у вас!

Если m-r Волгин познакомится с ее тетушкою, он не будет в силах сердиться на тетушку. У тетушки такое доброе сердце. Но, правда, тетушка несколько непостоянна в своих мыслях. Тетушка велела ей написать отцу, что они выезжают из Флоренции в Вену и поедут в свою деревню через Одессу, а потом вздумала видеть Женевское озеро. Они пробыли несколько дней на берегах Женевского озера, потом проехали по Рейну — через Берлин, Штеттин; правда, ей было очень грустно, что она уже не застала отца и брата в Петербурге. Тем больше, что отец должен был беспокоиться, не нашедши их в деревне. Но она уже послала известие отцу, — и теперь уже все равно: отец будет спокоен. Правда, ей хотелось бы поскорее ехать к нему и брату, — но что ж делать? Тетушке нельзя уехать из Петербурга, не повидавшись со знакомыми.

— Голубочка, не правда ли, хороша тетка у Надежды Викторовны? — заметил Волгин.

— Что, мой друг? Тетка Надины? Что такое?

— Да ты не слушала?

— Я задумалась о Володе. Забавно и приятно было смотреть, какая храбрая Надина, и мы заплыли

далеко... Спит ли он, мой милый, или нет? Ну, что же тетушка Надины?

Волгин стал пересказывать о том, как тетушка Надежды Викторовны перепутала все. Илатонцева защищала тетку. Волгина слушала рассеянно. Лодка проплыла Крестовский мост. Волгина смотрела на берег Петровского острова. Волгин спорил с Илатонцевой.

— Лидия Васильевна, вы? — закричала издали с берегу Наташа.

— Что Володя? Спит?

— Спит, Лидия Васильевна; а я смотрю вас, подавать самовар. — Наташа побежала домой.

Напившись чаю, Илатонцева попросила Волгину дать ей кого-нибудь, проводить ее на дачу Тенищева.

— Вы думаете, я отпущу вас быть одной в этом доме, который наводил на вас тоску и днем? Когда приедет ваша тетушка, может заехать сама взять вас.

— Если еще не позабыла, что завезла племянницу в чужой пустой дом и бросила одну, — добавил Волгин, который никак не соглашался простить тетушку. — А я уйду, голубочка, — ты ведь не пустишь Надежду Викторовну, не надо мне провожать ее?

— Иди себе, работай. Но в два часа должен спать, слышишь?

Волгин ушел. Волгина продолжала болтать с Илатонцевой... Пробило одиннадцать часов. Илатонцева опять стала просить Волгину дать ей кого-нибудь, проводить ее на дачу Тенищева.

— Полноте, Надина: видно, что ваша тетушка осталась где-нибудь на вечере, на бале, когда нет ее до сих пор.

-— Да, я сама думаю, что она уже не вернется раньше двух, трех часов... и мы будем ночевать на даче этого Тенищева... Но, быть может, она приедет раньше...

— И захочет вернуться ночевать домой? Пусть будет и так. Она заставила вас дожидаться ее; может и сама подождать, пока мы с вами напьемся чаю завтра поутру.

— Нет, отпустите меня, пожалуйста...

— Вы боитесь выговора?

— Нет, она не способна делать выговоры. Но мне самой не хотелось бы...

Вместо ответа Волгина вынула булавку из ее волос. «Боже мой!» — проговорила девушка в смущении, почти в испуге, подхватывая рукою густые локоны. «Боже мой! — повторила Волгина, подделываясь под нежный сопрано девушки, и выдернула другую булавку. — Ах, зачем у меня не такие волоса!» — проговорила она с досадою.

— Ваши гуще моих, — сказала Илатонцева.

— Но они черные! Зачем я не блондинка! Такая досада! А Наташа дивится, что я умею причесать себе волоса без зеркала! Поневоле выучишься! такая досада! — Впрочем, теперь, конечно, все равно. — Идем ко мне, в спальную. Пора спать. Володя мастер будить. Голосок такой же прекрасный, как у отца. — Она почти насильно подняла Илатонцеву со стула и повела, — но, сошедши с места против воли, Илатонцева с восторгом заговорила: «О, как я рада, что вы не пустили меня! Мне было бы так тяжело, страшно одной в этом сыром, гадком доме!»

— Володя не будет мешать вам: он здоров и не плачет по ночам; но часов в восемь разбудит. Перемени простыню на диване — возьми из моих, Наташа; и подушку положи из моих.

— А где же спать мне, Лидия Васильевна?

— Ах, какая ты глупая девчонка! Она готова плакать, что у нее отнимают диван!

— Нет, Лидия Васильевна, — убедительным голосом возразила Наташа. — Я ничего; только я не знаю, где же вы прикажете мне лечь: здесь ли, на полу, принести тюфяк, или в кухне?

— Я прикажу тебе вовсе не ложиться: иди в зал и сиди всю ночь у окна.

— Зачем же, Лидия Васильевна? И не спать? — с отчаянием спросила Наташа.

— И не спать. Сиди и молись, чтобы я сделалась такая же добрая, как Надежда Викторовна, которая тебе нравится.

— Очень хоро... — начала было Наташа, но, не договоривши, передумала: — Да вы смеетесь, Лидия Васильевна!

— Убирайся в кухню, к Авдотье, ложись в зале, если не боишься одна, ложись здесь. — не все ли

равно? Когда ты перестанешь быть глупою и надоедать мне всякими пустяками, все равно как Алексей Иваныч?

— Нет, Лидия Васильевна, Алексей Иваныч не такой, как я: Алексей Иваныч — самый умный человек; это говорит и Миронов, и все. Да и что же вы притворяетесь перед Надеждою Викторовною, будто сами не знаете этого?

Илатонцева не выдержала, засмеялась.

— Ложитесь здесь, Наташа, и доскажите мне сказку о Марье Маревне, критской королевне.

— Посмотрите, какая бойкая она стала! Распоряжается в моем доме, будто хозяйка!

— В самом деле, с тех пор как я уехала от m-me Ленуар, я не чувствовала себя такою довольною и свободною, — сказала Илатонцева с оттенком грусти.

— У вас добрый отец, Надина; при нем вы будете опять чувствовать себя довольною и свободною.

— О да, да! — радостно сказала Илатонцева.

Пришедши поутру пить чай, Волгин увидел в столовой только жену.

— А где же Илатонцева, голубочка? Неужели тетка уже успела прислать за ней? Еще нет десяти часов? Неужели старая дурища, прорыскавши черт знает где до поздней ночи, уже вскочила опять рыскать?

— Илатонцева ушла, как встала; не хотела даже подождать чаю. Авдотья говорит — Авдотья проводила ее, — что умная тетушка еще спит. Приехала часу в пятом.

— Плясала на бале или просто кутила, — основательно заметил Волгин. — А славная девушка эта Илатонцева.

— Очень хорошая. И ты вчера уже вздумал было навязывать мне заботу о ней? Очень достаточно мне и того, что нянчусь с Володею и с тобою.

— Я вовсе не думал, голубочка, — с убедительною искренностью сказал муж. — Уверяю тебя, не думал.

— Не думал! Если бы я не заметила и не остановила тебя, когда ты печалился ее приданым, ты сейчас бы начал внушать ей, чтобы она, когда приедет из деревни, обо всем советовалась бы со мною.

— Ну, что же, голубочка? Разумеется, всякие там мерзавцы, — ну, может ли она понимать мерзавцев? Что же, разумеется, это жалко: одна, некому вразумить. — Волгин был хорош тем, что нимало не стеснялся и объяснять свои мысли после того, как отперся от них.

— Совершенная правда, мой друг; но я не хочу продолжать тесного знакомства с нею. Такие знакомства не по нашим деньгам. Да я и не люблю бывать у людей, которые важнее нас с тобою. Ты должен бы помнить это.

— Ну конечно, это хорошо, голубочка, и все так. Но для нее можно бы сделать исключение.

— Хорошо; я доставлю тебе и случай сделать исключение. Я иду гулять — ты остаешься дома, так?

— Голубочка! Эта дурища, как протрет глаза, придет благодарить тебя за любезность к ее племяннице! Тебя не будет дома, а я буду дома!

Жена засмеялась.

— Я пойду гулять по нашему садику. Я не хочу отнять у себя удовольствия прочесть ей лекцию.

— И не вызовешь меня к ней?

— Нет, не вызову, друг мой, не бойся. У меня нет только охоты, у тебя нет и времени для лишних знакомств.

Через полчаса Волгина вернулась из садика в комнату мужа.

— Давай то, что у тебя приготовлено, для типографии. Я еду в город, буду в той стороне. Эта глупая Наташа вздумала пристать ко мне, чтобы я купила ей золотые серьги: Илатонцева подарила ей вчера три рубля.

— А как же лекция, которую ты хотела прочесть этой старой дурище? Наташа могла бы подождать — поехала бы, голубочка, после обеда.

— После обеда некогда. Вчера Миронов не был — значит, приедет обедать. Будет еще кто-нибудь из моих приятелей. Возьму коляску или шарабан, если их будет много, и поеду в Парголово: я еще не была там.

— Ну, так могла бы Наташа подождать до завтра.

— Нельзя ей, потому-то она и пристала: на даче, где живут столяры, ныне большой праздник, день рождения жены второго брата — того, который приходил к нам поправлять мебель. Наташа непременно хочет отличиться там в золотых сережках.

За обедом Волгина сказала мужу, что Илатонцева заходила с теткою к ним и оставила записку, в которой говорит, что тетушка и она заедут послезавтра.

Но перед обедом на другой день приехал слуга Илатонцевых и подал новую записку. Девушка извиняла свою тетку и себя в том, что они не будут завтра у Лидии Васильевны: ныне поутру тетушке представилась непредвиденная надобность спешить отъездом в деревню. Через четверть часа они должны быть на железной дороге. Тетушка так поздно сказала ей, она торопится и стыдится, что так дурно пишет. Тетушка поручает сказать, что первый визит ее по возвращении в Петербург будет к Лидии Васильевне.

В приписке из десяти слов тетушка повторяла то же извинение и уверение по-французски, выражаясь о себе jait и javait[[7]](#footnote-7), по грамматике русских аристократок и парижских лореток, — как заметил Волгин, с обыкновенным своим остроумием, за которое и одобрил себя необходимою руладою.

— Обещание тетушки не очень страшно: к тому времени пятьсот раз успеет забыть обо мне. Илатонцева будет иногда заезжать, пока не будет у нее жениха.

— То есть очень недолго, — заметил Волгин с неизменною своею основательностью. — А что касается ее тетки, то уверяю тебя, голубочка, надобность этой дурище спешить в деревню та же самая, какая заставила ее тогда рыскать черт знает где, бросивши племянницу. Просто ветер ходит у нее в голове: он подует — она и несется, — уверяю.

Прошло еще месяца два или больше. Приближалась осень. Аристократы, вероятно, в своих каменных дачах еще не начинали думать о возвращении в город; Волгина уже думала. Но после двух-трех ненастных дней погода поправилась, и Волгина воспользовалась этой отсрочкою, чтобы переменить обои на своей городской квартире: денежные дела мужа быстро улучшались; на прошлой неделе он получил за месяц сотнею рублей больше прежнего. Так он будет получать и в следующие месяцы до нового года. А потом счеты будут вестись на новых основаниях, уже очень выгодных для него.

— Это прелесть, какою миленькою, веселою станет наша квартира! — говорила Волгина мужу, возвратившись из города, куда ездила выбирать обои. Она стала описывать до малейших подробностей, какие обои взяла для какой комнаты. — Словом, ты понимаешь, во всех комнатах будут светлые обои; только в твоем кабинете не светлые, синие: они лучше для глаз... Ах, мой друг, я боюсь, что ты утомляешь свои глаза!

— Напрасно, голубочка; мои глаза очень близоруки, но зато чрезвычайно здоровы. Сколько лет я, можно сказать, только тогда и отрывал их от книги, когда спал, — и ни разу не чувствовал зрения утомленным. У очень близоруких очень часто бывают ужасно крепкие глаза.

— Но какие бы ни были они крепкие, все-таки я опасаюсь за них. Готлиб Карлыч пил кофе, когда я привезла ему то, что ты приготовил; села выпить чашку — славный кофе, — мы разговорились. Он сказал: «Ни один литератор не пишет столько. Ни я, никто из наборщиков не видывали, чтобы кто-нибудь писал так много».

— Это ничего не значит, голубочка. Я пишу сплеча, даже не перечитываю. Другие обдумывают, потом поправляют. Иные сидят за письменным столом не меньше моего, быть может.

— Все-таки ты должен писать меньше. Теперь ты стал получать больше, нежели надобно мне.

— Ну, голубочка, еще далеко до того, чтобы получать, сколько надобно. Ты вспомни: тебе надобно иметь экипаж, пару лошадей, а когда дойдет до такого дохода? Разве года через полтора наберешь денег. Но главное, голубочка, вовсе не твои надобности. Прежде точно, главное было в них, когда искал работы, хотел зарекомендовать себя, что могу писать быстро. А теперь, голубочка, совсем другое. Совесть — эко, даже совесть приплел к таким пустякам! Само собою, вздор; но что же ты станешь делать с этою моею глупостью, когда так думаю: если не напишу об этом, то будет написана чепуха; а «об этом» — выходит обо всем, о чем ни бывает надобно, — ну, даже и не успеваю.

— Но что же так долго не едет твой Левицкий? Ты говорил, он уезжал тогда месяца на два. Давно пора бы ему приехать. Ты написал бы ему, поторопил бы его.

— Твоя правда, голубочка. Напишу.

— Ты забудешь, я знаю тебя! Но я сама буду за тебя помнить. Завтра, когда ехать в город, спрошу, готово ли письмо, и если не готово, заставлю написать при себе. Или хочешь, я напишу за тебя? Это я сумею. Ты не говори мне, как писать. Только скажешь мне адрес. — Волгина уже сидела за письменным столом мужа и доставала почтовую бумагу. — Ты не говори мне, что писать. Я сама знаю. Ах, как хорошо я напишу! Это будет прелесть! Я даже не покажу тебе, что напишу; ни за что не покажу.

Теперь уже неотвратимо. Можно только объяснить, почему адрес будет в деревню Илатонцева. Конечно, Левицкий сказал, что едет в глухое село, куда нет почты, и что если писать ему, то через этого родственника, который гувернером у Илатонцева.

Жена сложила письмо, взяла конверт.

— Адрес, мой друг.

— Адрес, голубочка: Владимиру Алексеичу — ну, Левицкому, это знаешь, — в Харькове, в доме Левицких, у Троицкой церкви.

Десяти минут было достаточно Волгину, чтобы найти способ отвратить неотвратимое. В особенности он был доволен домом Левицких, у Троицкой церкви. Харьков, это еще не важность: и Калуга, и Орел — все годилось бы. Но «в доме Левицких» — что может быть натуральнее, когда он уехал к родным? «У Троицкой церкви» — что может быть короче, проще, несомненнее?

— Как я рада, что хоть немножечко помогла тебе! Ах, мне хотелось бы помогать тебе! Не умею, мой друг; ничему не училась. А теперь поздно, когда Володя не идет из ума! Сяду читать и вдруг замечаю: ничего не прочла, все думала о Володе... Как я рада, что вздумала написать за тебя! Хочешь, я стану писать за тебя все письма? Это я сумею...

Она так радуется, что помогла ему! Ему стало стыдно за свое двоедушие перед нею: она не могла бы сказать «в доме Левицких, у Троицкой церкви».

— Милая моя голубочка, ты сядь подле меня и не огорчись тем, что я скажу. Ты знаешь, у меня характер мнительный, робкий. Потому не придавай важности моим словам: ты знаешь, у нас все тихо, и я думаю о будущем только потому, что я трус. Воображаю то, чего, может быть, и не будет. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не был трус, то и нечего было бы

мне думать ни о тебе, ни о Володе. Ты знаешь, я не думаю ни о своих глазах, ни о своем здоровье: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаешься, поверь мне. Одно может повредить тебе с Володею: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобою еще ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два-три года — и будут считать меня человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но, как я говорю и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашею свадьбою я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятного тебе. Но не могу не видеть, что через несколько времени...

— Так ты вот о чем! — Она побледнела. — Молчи, не смей говорить! — Она вскочила и зажала ему рот. — Не смей! Молчи! Я слышала раз — довольно. Не смей! — Она убежала.

Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что еще и не воображала, что будет так расположена к нему. Натурально, теперь ей труднее слушать: прожили вместе три года; и теперь она понимает, что это и может случиться; тогда и не понимала. Конечно, теперь вовсе не следовало говорить. Или следовало?

Он пошел за нею.

Она прижимала сына к груди и рыдала над ним: «Володя, мы с тобою будем сиротами!»

Не время было доканчивать основательное изложение мотивов, по которым он дошел до изобретения дома Левицких у Троицкой церкви. Он стал говорить, что преувеличивал, что ей нечего обращать внимание на его слова, потому что она знает, у него мнительный и робкий характер. Когда она совершенно измучилась, она стала успокаиваться.

Потом она побранила его: зачем говорить об этом? Было сказано раз. И довольно. Она помнит. Но не хочет помнить. Зачем помнить? Пусть он никогда не смеет не только говорить ей, и сам пусть не смеет думать. Он думает потому, что всегда фантазирует. Это вздор. Ничего этого не будет.

Она довольно спокойно стала играть с Володею и к вечеру стала опять весела.

**Глава третья**

Не только люди, жившие на дачах, построенных из досок по соображению с итальянским климатом, но и аристократы перебрались в город. Начались разговоры о будущем оперном сезоне. Наконец явились и афиши о первом спектакле.

Волгина была хороша с Рязанцевою. Виделись они не часто. Сборы дам друг к другу всегда длинны. Но через Миронова они постоянно передавали друг другу свои новости. Рязанцев был профессор в университете, Миронов был одним из лучших студентов. В те времена русские прогрессисты любили русскую молодежь. И молодежь любила их. Миронов пользовался расположением Рязанцева. Потому и расположением Рязанцевой. Иначе и быть не могло, потому что она веровала в мужа. Не веровать было бы нельзя: она любила его. И не любить нельзя: он стоил того.

Рязанцев был главным местным авторитетом прогрессистов в Петербурге. Прогрессистов в Петербурге было тогда бесчисленное множество. Все, кто только мог, лезли к Рязанцеву. По вторникам квартира Рязанцева была битком набита прогрессистами. Переполнивши все более или менее открытые для гостей комнаты, они вламывались даже в детскую. Рязанцева только умоляла не кричать там. Все, кто мог, считали за величайшее удовольствие себе оказать услугу madame Рязанцевой. Если б она пожелала бросить букет Бозио, ей навезли бы полсотни самых дорогих букетов. Но она желала только достать билет в 4-й ярус. Десять прогрессистов заглушали друг друга предложениями привезти билет во 2-й ярус, в 1-й ярус, в бельэтаж, Рязанцева едва могла вразумить их, что не хочет сорить деньгами. Двадцать прогрессистов заспорили о том, кому достанется удовольствие добыть для нее билет в 4-й ярус.

Поутру в день первого спектакля она прислала Миронова сказать Волгиной, что имеет билет. Волгина была очень рада. Она пошла спросить мужа, поедет ли он с нею. Ему было нельзя: он должен провести этот вечер в типографии. Она была несколько огорчена этим; думала, что он, по своему обыкновению, только отговаривается. Но он сказал: «Говорю правду, голубочка». По этой формуле она уже всегда могла быть уверена,

что он не лжет. Она сказала Миронову, что берет с собою его.

Типография была в Коломне, недалеко от оперы. Поэтому взяли четвероместную карету, чтобы кстати завести Волгина в типографию. Волгин был завезен в типографию, и карета поехала к опере.

Вошедши в типографию, Волгин увидел, что приехал целым часом раньше, нежели нужно. Правда, можно начать работу хоть сию минуту; но если так, через четверть часа опять придется ждать. Куда девать ему время? Опера в сотне шагов. Не лучше ли всего пройти туда? Это доставит удовольствие жене.

Он пришел; стал подыматься по лестнице. Но куда ж идти ему? В 4-й ярус, положим; но в какой нумер? Только тут, поднимаясь на лестницу, он сообразил, что не знает нумера ложи. Он остановился, подумал: как быть с этим? Убедился, что затруднение непреодолимо, пошел вниз. Спускаясь, все соображал и вдруг сообразил, что если уже так, то можно устроить другое дело, удовольствие самому себе. Он подошел к кассе: «Позвольте два билета в боковые места, одно место с одной стороны, другое с другой». Кассир отвечал, что нет ни одного билета в боковые места. Видя, что человек опечалился, а одет не бедно и украшен золотыми очками, кассир прибавил, что самые дешевые билеты, какие остаются, — в шестой ряд кресел. Волгин подумал. Дорого: но это бы так и быть. А главное: в креслах его увидит Лидия Васильевна. Нельзя. Он пошел от кассы, перебирая пальцами свою рыжеватую бороденку. Но сообразительность его была неистощима. Он промычал «гм!» — в одобрение своему уму и пошел вверх. Он вспомнил средство, которым пользовался, при недостатке билетов в боковые места, в последний год своего студенчества, когда был отчасти меломаном.

Но теперь желание у него было не то, как тогда! Не слушать, а произвести осмотр — и осмотр основательный, полный. Для полноты он и спрашивал два билета. «Есть у вас хороший бинокль?» — спросил он, для основательности, у капельдинера боковых мест. Старик подал довольно хороший. «А получше нет?» — «Это очень хороший». — «Мне надо лучше». — «Если вам нужно самый хороший, дочка у меня сбегает вниз, достанет».

Девочка притащила бинокль, действительно отличный. «Хорошо», — сказал Волгин и сторговался, чтобы пустили его постоять между лавок.

Он стал систематически обозревать сначала кресла, ряд за рядом: точно ли, бинокли из кресел повертываются больше всех вверх, и на одну ложу. Так; вертятся по всем направлениям, а больше все вверх, и на одну ложу. Разумеется, он и говорил, что должно быть так. Нельзя иначе. Он говорил. Потом он внимательно стал осматривать противоположную сторону театра, с бенуара, через бельэтаж, первый ярус. И тут все так: нельзя, он знал, что должно быть так. От усердия рассматривать основательно он страшно нахмурил брови, но очень самодовольно улыбался: он мог быть доволен собою — он рассматривал внимательно; разумеется, и смотреть напрасно; но отчего же и не посмотреть, что оно так, как знаешь, — отчего не посмотреть, когда есть свободное время? Разумеется, и смотреть нечего. Но отчего не смотреть?

Кончивши обзор противоположной стороны, он вышел в коридор, сказал капельдинеру, что идет на ту сторону, берет бинокль с собою, оставил денег для верности, что не унесет бинокль, и пошел на другую сторону боковых мест. Сообразил, которая дверь приходится прямее против девятой ложи от сцены, купил у капельдинера разрешение войти в эту дверь, стал между скамьями второго ряда, принялся доканчивать свой осмотр — разумеется, и с этой стороны все так, — кончил осмотр, потом стал глядеть на девятую ложу 4-го яруса. Через несколько времени он заметил, что очки его начинают тускнеть; потому опустил бинокль, стал протирать их, а в это досужее время предался размышлению. Размышление состояло в том, что, в сущности, конечно, Лидия Васильевна справедливо рассудила, что не могла бы быть счастлива, если бы согласилась пойти за кого-нибудь другого, и, само собою, невозможно не согласиться, что она тогда делала хорошо, что не слушалась его. И, конечно, ее жизнь все-таки лучше, нежели была бы в другом замужстве, — это она говорит правду. Потому действительно с его стороны совершенно глупо жалеть, что она согласилась выйти за него. Размышления Волгина всегда были так основательны, что он постоянно видел себя принужденным соглашаться с собою, что рассуждает очень справедливо. Потому и теперь у него

осталось только одно сомнение: умел ли он протереть очки так ловко, что никто из соседей и соседок не обратил внимания. Потому что ему никогда не было приятно, если кто замечал, когда он поступает несколько странновато. Он надел, оправил очки и повел глазами по соседам и соседкам: кажется, никто не обращает внимания на него; ни этот молодой человек, вероятно, чиновник, — ни этот, вероятно, тоже чиновник, — ни эта, вероятно, сестра этого, — ни эта, должно быть, мать их, — ни этот, должно быть, небогатый купец, — ни эта, должно быть, его жена, — ни этот... Вот тебе раз, кто этот-то?

— Как это вы здесь, в боковых-то местах? — вполголоса сказал Волгин, пригнувшись к уху «этого-то» и дотрогиваясь до его плеча. «Этот-то» был Нивельзин.

Нивельзин оглянулся.

— Волгин! Вы! Если кому, то мне дивиться, что мы встречаемся здесь. Как это вы забрались в боковые места? Танечка, вы извините меня, мне надобно поговорить с господином Волгиным, — обратился он к своей соседке, до которой еще не доходило пересчитыванье Волгина.— Я надеюсь, что вы не до такой степени заинтересованы увертюрою, чтоб отказать мне в нескольких минутах разговора, monsieur Волгин? Прощайте, Танечка.

— Идите, бог с вами. Будто я не понимаю! — сказала девушка больше с шуткою, нежели с досадою. — Ступайте в ложу к вашим друзьям.

— Я не пойду в ложу к Рязанцевым. Вы увидите, что напрасно обижаетесь. Серьезно, мне надобно поговорить с monsieur Волгиным. Вы увидите, я буду сидеть в четвертом ряду кресел.

— Посмотрим. Если не пойдете в их ложу, то прекрасно. Но в таком случае незачем было прощаться. Поговорили бы с monsieur Волгиным и пришли бы назад.

— Я компрометировал бы вас, Танечка, если бы возвратился сюда; в антракте, в фойе, знакомые увидят меня. Как я скрылся бы после того? Они стали бы смотреть, куда я пропал.

Девушка смеялась.

— Oh, traître! Oh, monstre![[8]](#footnote-8) Почему же вы не сказали мне, что пробудете здесь только до первого антрак-

та? Oh, monstre! Voyes comme il sait mentir! Mais je vous assure que vous êtes un monstre![[9]](#footnote-9)

— Порок наказан в моей персоне, — сказал Нивельзин, вышедши с Волгиным в коридор. — Я был дружен с Танечкою, — она жила с одним из моих знакомых. Входя в театр, встретил ее, спросил о нем, — я только вчера приехал, еще почти ни с кем не виделся; пока я путешествовал, он женился. Вы видите, она мила — и даже с нею можно говорить, она читает французские романы.

— И вы пошли с нею в боковые места?

— Чего же вы хотите? Я не был влюблен ни в кого, я не думал о возможности жениться.

— А теперь думаете? — Волгин залился руладою, от которой вздрогнула прислуга коридора. — Когда ж это успели решиться? Однако, я думаю, мне пора: я пришел в типографию — здесь, подле, — было еще рано, зашел сюда. — Он вынул часы. — Пора. А когда вы к нам? Жена будет очень рада видеть вас.

— На днях!

— Эко, хватили: «На днях!» Завтра.

— Может быть, завтра.

— Ну, тоже хорошо: «Может быть!» Завтра, да и кончено. Обедать. Вы видите, вас зовут с искренним расположением. Чего ж тут? Много вы насчитаете семейств, где искренне расположены к вам? Рязанцевы, да и обчелся, я думаю. Так завтра?

— Я давно уважал вас. Вероятно, вы замечали, что я всегда хотел сойтись с вами, когда мы встречались у Рязанцевых...

— А я пятился? Натурально, у меня нет праздного времени. Но когда зову, то, значит, расположен. Чего ж тут? Завтра?

— Завтра. — Нивельзин должен был видеть расположение в нелепых фамильярностях дикого человека.

— Ну, и прекрасно. Пора в типографию! А, да еще нужно будет занести бинокль! Совсем было забыл! — С этими словами Волгин поскакал вниз по лестнице через две и три ступени.

Пока театр наполнялся, Волгина смотрела на публику. Теперь давно забыла думать о ней.

— Нивельзин приехал, — сказала Рязанцева мужу. — Сейчас вошел. В четвертом ряду.

— А! Очень рад! Очень рад! Послушаем, что привез, какие новости! — Рязанцев потирал руки от удо­вольствия.

— Нивельзин, в четвертом ряду кресел? — сказала Волгина и взглянула. — В самом деле! — Она пожала плечами.

— Вы знакома с ним? — спросила Рязанцева.

— Знаю его в лицо. Но мы еще незнакомы.

— Я думала, вы уже познакомились перед его отъездом, потому что, кажется, он очень сошелся в то время с вашим мужем.

От Рязанцевой нельзя было ждать ни колкостей, ни темных намеков. Если она говорила так, она должна была думать, что услышат это очень равнодушно. Что ж она говорит? Неужели сделались известными отношения Нивельзина с Савеловой?

— Почему вы думаете, что мой муж очень сошелся с Нивельзиным перед его отъездом?

— Мы тоже знаем кое-что, — сказал Рязанцев так быстро, что перебил ответ у жены, и с таким удовольствием, что опять потер руками. — Мы знаем, что именно Алексей Иваныч и отправил его за границу.

Очевидно, все это говорилось с полнейшим незлобием.

— Алексей Иваныч отправил его за границу! Меня начинает очень интересовать это.

— Перед нами нечего скрывать, — сказал Рязанцев, продолжая потирать руки, понижая голос и нагибаясь ближе к Волгиной. — Нивельзин, быть может, и поехал бы за границу, но не так поспешно. Алексей Иваныч ускорил его отъезд, если не послал нарочно. — Рязанцев совершенно пригнулся к уху Волгиной и шепнул: — Алексей Иваныч посылал его с поручениями в Лондон.

Волгина вздохнула свободно: правды и не подозревают, говорят какой-то вздор, который, в чем бы ни состоял, не может иметь никакого отношения к Савеловой.

— В Лондон? С поручениями? В Лондон посылают с поручениями купцы, покупать или продавать на миллионы, — о, я очень рада, если у Алексея Иваныча завелись миллионы! Отниму все у него!

— Тише, могут слышать, — шепнул Рязанцев в совершенном восхищении. — Вы отговариваетесь очень мило, но напрасно.

— Ах, теперь понимаю, если вы советуете говорить, чтоб не могли услышать! Совсем забыла, что в Лондоне живут наши! Но с чего же вы взяли, что Алексей Иваныч посылал Нивельзина с поручениями к ним. Алексей Иваныч не мог сказать этого. Неужели Нивельзин так сказал вам?

— Такие вещи не сказываются, они только угадываются, — с восхищением шептал Рязанцев. — Человек не думал о путешествии. Вдруг объявляет: послезавтра еду за границу; оказывается, накануне был у него Алексей Иваныч. Человек едет, — и Алексей Иваныч один знает час его отъезда, приходит провожать его, — провожает до кареты, обнимаются, оба, кажется, плачут, целуются. Алексей Иваныч усаживает его в карету, — мы знаем только эти факты. Давайте нам факты, до их значения мы как-нибудь доберемся своим умишком, — хе, хе, хе. — Он смеялся от глубины души.

Если бы Волгиной привелось услышать такое объяснение в тот вечер, когда была взволнована соображениями мужа о будущем, она приняла бы слова Рязанцева очень горячо. Но она не любила унывать; она не любила заранее мучить себя страхами. Муж мог расстроить ее своими предсказаниями, но лишь на несколько часов. На другое утро она встала уже с теми же мыслями, какие имела до этой тревоги: не все то сбывается, чего боятся мнительные люди, между которыми муж ее был один из самых искусных на придумывания. Она твердо знала, что кто осторожен, тот почти всегда совершенно безопасен. Поэтому слова Рязанцева хоть и были не совсем приятны ей, показались больше забавны.

— Что за вздор! — сказала она, засмеявшись. — Вы сами говорили мужу, что он проехал в Рим, — какие ж это посылки наскоро в Лондон, когда человек едет в Рим и живет там, потом в Париж и живет там? Вы говорили мужу, что он хотел проехать в Англию только уже на возвратном пути в Россию?

— Те, те те! — прошептал Рязанцев, плутовски прищуривая глаза и потирая руки с ожесточением востор­га. — Те, те, те! Через две недели по выезде из России доехавши до Рима, можно было иметь время завернуть в Лондон! Алексей Иваныч ведет дела похитрее нас,

грешных. От нас едут прямо в Париж, по торной дороге в Лондон, — а у него: поехал по дороге в Италию! Кому интересно следить, который поехал в Италию? Свернул с половины дороги, и опять попал на нее — все шито и крыто, иголочки не подпустишь! Да, надо нам всем поучиться у Алексея Иваныча! Жаль одного: расход слишком тяжел! Такие большие издержки можно делать только, в немногих, чрезмерно важных случаях.

— Если бы вы знали, какой вздор вы говорите! И муж, и Нивельзин расхохотались бы.

— Вы отстаиваете их очень твердо, но скоро мы произведем маленькое следствие и получим улики, — сказал Рязанцев, лукаво приморгнув. — Нивельзин наверное зайдет сюда, и мы произведем ему допрос! Небольшой допросец!

— Так вы еще незнакома с Нивельзиным? — сказала Рязанцева. — А я думала, что и вы хороша с ним. Когда вы взглянули на него, вы пожали плечами, и он вспыхнул.

— Вероятно, он понял, почему я пожала плечами. И если он придет сюда, то убедится, что я очень люблю делать выговоры.

— За что ж вы сделаете ему выговор?

— За то, что он переменил место.

— Он переменил место? Где ж он был прежде? За кем он смел волочиться?

— Как вы любопытна! Как вы неосторожна! Ваш муж слушает нас, вы забыли это.

— Я слушаю, это правда; но ничего не слышу. Я образцовый муж.

— Не очень шутите, мой милый муж: я в самом деле немножко влюблена в него, несмотря на мои двадцать восемь лет. Несчастная! Он ни разу не взглянул на меня, с тех пор как мы поклонились!

— Творец! Почему влюбляются в таких жестоких? — патетически сказал Миронов. — Почему не влюбляются в меня? — Он стал утирать кулаком глаза. — Влюбитесь в меня, я не буду жесток! У меня чувствительное сердце! — и продолжал хныкать, пока не кончился длинный дуэт между певцами, которых никому не было охоты слушать. Он недурно подделывался своим хныканьем под их достойные оплакиванья голоса и заслужил то, что три довольно хорошенькие дамы из соседней ложи шептали ему: браво! Он раскланивался им, прижимая

руку к сердцу, и, стискивая ручку своей студенческой шпаги, бросал такие свирепые взгляды на двух мужчин, бывших в той ложе, что и они расправили свои официальные лица.

— Я устала сидеть, — сказала Рязанцева, когда кончился первый акт. — Пойдем ходить по коридору.

— Пожалуй, — отвечала Волгина.

Они успели сделать лишь несколько шагов, Нивельзин уже взбежал в их коридор. Он подошел к Рязанцевой, сказал, что приехал только вчера, что множество дел не позволило ему сделать еще ни одного визита, что поэтому Рязанцева должна извинить его.

Рязанцев шел позади, с Мироновым. Он крякнул деловым образом, чтобы заставить его оглянуться, и сказал:

— А с Алексеем Иванычем Волгиным вы уже виделись?

— Да, я видел его.

— Хе, хе, хе, — вы виделись с ним! — Рязанцев лукаво приморгнул. — Мы не в претензии, — продолжал он серьезно и одобрительно. — Важные дела прежде мелких. Мы понимаем, что вы должны были увидеться с ним первым.

Добряк торжествовал: он сделал «маленький допросец» и «получил улику». Волгина не могла оставить этого так: Нивельзин, конечно, относил слова Рязанцева к действительным причинам своего сближения с ее мужем. Надобно было показать ему, что Рязанцев ничего не знает.

— Скажите, Нивельзин, где видели вы моего мужа?

Нивельзин смотрел на нее изумленными глазами.

— Скажите Григорию Сергеичу, где видели вы моего мужа. Он воображает, будто вам было поручено видеть его тотчас же по приезде в Петербург.

— Я видел monsieur Волгина сейчас, здесь, в театре; мы встретились совершенно случайно.

Рязанцев был сражен. Но в тот же миг на лице его выразилось понимание, довольство и с тем вместе уважение, близкое даже к благоговению.

— Не спрашиваю больше, — сказал он, таинственно понижая голос. Вы встретились в опере, совершенно случайно. Какие дела могут быть в опере? О чем можно го-

ворить в опере? Чья бы ни была эта мысль, я выражаю свое уважение к этому человеку и молчу.

Конечно, он понял, что Волгин ведет свои дела еще гораздо искуснее, нежели предположил он, по отправлению агента в Лондон через Австрию. Но Волгиной было важно только то, чтобы Нивельзин не считал нарушенной тайну своих отношений к Савеловой. Нивельзин мог видеть, что Рязанцев толкует rendez-vous[[10]](#footnote-10), нисколько не похожих на любовные. Этого было довольно для Волгиной. Теперь Нивельзин сам заставит Рязанцева высказать ему свое предположение и сумеет объяснить ему вздорность этой фантазии.

— Хе, хе, хе! Я молчу. Оставим это. Не любопытствую, что привезли вы Алексею Иванычу, — продолжал Рязанцев таинственным шепотом. — Но что же вы привезли мне? Только поклоны? Или и поручения? Как поживают? Скучают по родине?

— К вам есть письма. В них ничего особенно важного. Я не знал, что найду вас здесь, и их нет при мне. Привезу завтра поутру. Но мы поговорим с вами, когда взойдем в ложу. — Нивельзин бросил Рязанцева и подошел к Рязанцевой. — Я имею сказать вам несколько слов, Анна Александровна.

— По секрету? Что подумает мой муж? Предупреждаю вас, Лидия Васильевна: это страшный ветреник — по крайней мере был ветреник прежде, нежели сделался моим постоянным поклонником, — и рекомендую: Нивельзин.

— Мы немножко знакомы, — сказала Волгина, подавая ему руку. — И когда вы расскажете ваши секреты Анне Александровне, я, также по секрету, сделаю вам выговор.

Рязанцева пошла тише.

— Кто это? — тихо спросил Нивельзин, когда они отстали на несколько шагов.

— Вы могли видеть из разговора, кто она; madame Волгина, я назвала вам и ее имя. Лидия Васильевна.

— Прежде нежели я подошел к вам, я очень хорошо знал, что это не может быть madame Волгина; я прошу вас сказать: кто она?

— Вы с ума сошли, Нивельзин?

— Это очень может быть. Тем меньше надобности дурачить меня. Ради бога, кто она?

— Вас дурачат? Решительно, вы сошли с ума.

Он промолчал, с терпеливою досадою человека, который предоставляет желающим мистифировать его убедиться, что он слишком ясно понимает мистификацию.

— Да уверяю же вас, это madame Волгина. Вы даже не удостаиваете меня ответа? Если бы вы знали, как очевидно, что вы сошли с ума! Спросите у нее, если вам неугодно верить мне. Лидия Васильевна,— сказала она громче,— угадайте, о чем мы говорим?

— О чем, не знаю; о ком, это понятно: обо мне.

— Он вообразил, что вы не можете быть Лидия Васильевна Волгина.

— Почему же не могу?

— Спросите у него сама. Меня он даже не удостаивает спора: так тверд в помешательстве. — Рязанцева, смеясь, пошла рядом с мужем и Мироновым.

— Вы думаете, Нивельзин, что мы сговорились мистифировать вас? Правда, вы могли видеть, что мы много смеялись после того, как вы перешли в кресла. Вы могли подумать, что они также знают, почему вы перешли в кресла. Но вы ошибаетесь. Вы видите, они вовсе и не воображали, что мой муж был здесь. Значит, они не смотрели в ту сторону и не видели вас там. Они ничего не замечали, Нивельзин.

— Я вовсе не знал, cмеялись ли вы и они после того, как я перешел в кресла.

— Ваша правда, вы, поклонившись им, держали cебя очень умно. Зачем давать людям смеяться над собою? Мне было бы досадно, если бы могли смеяться над вами. А теперь, Нивельзин, они смеются: держать себя умно — и вдруг начать фантазировать так, что они видят, вы влюблен, как юноша! Это совершенно лишнее, Нивельзин, чтобы они смеялись над вами.

— Могут ли они не смеяться, когда вы согласились участвовать в том, чтобы мистифировать меня?

— Вы забываете, Нивельзин, что если Рязанцева дружна с вами, то я еще не была знакома. Это было бы слишком много уступать чужому желанию, если бы я согласилась, чтобы она пользовалась мною для мистификации. Да и могла ли я полагать, что вы не знаете меня в лицо? Правда, теперь вы заставили меня вспом-

нить, что вы тогда не заметили поклон моего мужа, — не видели ни его, ни меня, — правда, эта гадкая женщина затворила гостиную, где я сидела, и вы, проходя через зал, опять не могли видеть меня, — но не могли же такие мелочи оставаться у меня в свежей памяти столько времени, — я совершенно не вспоминала их, и мне думалось, что и вы видели тогда меня, — потому что я видела вас. Теперь, надеюсь, вы убежден, что дама, пославшая вам свою перчатку, была я?

— Я вижу, что вы пользуетесь полною доверенностью madame Волгиной. Вы ее сестра, потому что вы знали, что я еще не был у них по приезде, — вы живете вместе с ними. Вы ее сестра или близкая родственница.

— О, если бы мой муж слышал это! Он разогнал бы весь театр своим хохотом. Но я скажу вам, что я прощаю вам только потому, что вы мало знаете меня: если бы madame Волгина имела сестру, она могла бы рассказывать сестре свои тайны, но не чужие.

— Не смейтесь надо мною, — сказал он печально.

— Вы могли заметить, что я сделалась очень серьезна, потому что вы несколько рассердили меня: я могла бы рассказать кому-нибудь чужую тайну! Нет, я не похожа на вашего Рязанцева, который все знает и все говорит. Я не могу ничего говорить, потому что я ничего не знаю. Вы поняли, что он знает? Вы были посланы моим мужем в Лондон с важными секретными поручениями! Выбейте у него из головы эту глупость, прошу вас. Я не могла продолжать разговора с ним об этом; я не могла говорить о вашем отъезде: я не могу понимать причин вашего отъезда, не могу делать никаких предположений. Объясните ему как-нибудь ваш отъезд и, главное, докажите ему, что вы проехали прямо в Италию, отдайте ему отчет о каждом дне, каждом часе вашего времени на пути от Петербурга до Рима, откуда вы писали ему.

— Я сделаю это; но умоляю вас, скажите ваше имя; скажите, как вы родственница madame Волгиной или monsieur Волгину, кто вы.

— Боже мой, да бросьте же вашу выдумку, будто вас мистифируют. Убедитесь хоть тем, что наш разговор принял такое серьезное направление, при котором шутка была бы совершенно некстати.

— Вы нарочно дали ему такое направление, чтобы я сделался легковернее. И в самом деле, вы сказали мне

столько подробностей о деле, которое знали только madame Волгина и monsieur Волгин, вы так сильно говорили о том, что надобно сделать для безопасности monsieur Волгина, что я, конечно, видел бы в вас madame Волгину, если бы не знал, что вы не можете быть она.

— Почему ж это я не могу быть сама собою? Как ни была я серьезна, вы начинаете опять заставлять меня смеяться. Почему же вы знаете, что я не я?

— Я знаю, что monsieur Волгин женат уже три года. Дама, которая три года замужем, не может иметь семнадцать лет. Раньше шестнадцати не венчают.

— А, это я слышу иногда, что дают мне меньше лет, нежели я имею. Меня могли бы повенчать семь лет тому назад, если бы я вздумала, потому что, похвалюсь вам, семь лет тому назад у меня были женихи.

— Вы хотите уверить меня, что вам двадцать три года!

— Мне так неприятны эти слова «двадцать три года», что я старалась обойти их. Но увы! Это правда, Нивельзин, мне уже двадцать три года!

— Вы мало приготовились отвечать на вопросы и стали говорить более невероятные вещи, нежели требовала необходимость. Вы могли бы сказать, что вам девятнадцать лет, тогда, хоть с трудом, еще можно было бы верить.

— Желала бы сказать, Нивельзин; к сожалению, не могу. Впрочем, если хотите, думайте, что мне девятнадцать лет, — это было бы очень приятно мне; пожалуй, хоть семнадцать, хоть шестнадцать — тем лучше.

— Кроме того, что вы не имеете столько лет, сколько должна иметь madame Волгина — она живет в Петербурге три года, — я знаю, m-r Волгин живет здесь уже три года; а вы приехали в Петербург очень недавно. В прошлый сезон вас не было в Петербурге.

— Вы разделяете мнение моего мужа, что все должны смотреть на меня! — Она засмеялась. — Мне очень нравится это мнение. Но не доводите его до такой крайности, как мой муж, чтобы не быть смешным, как он. Вы не заметили, чем он занимался здесь? Рассматривал всех девушек и молодых дам, чтобы сказать мне, что вот он пересмотрел всех и что я лучше всех. О, боже мой, я не видывала такого смешного мужа! — Она опять засмеялась. — Почему Петербург не мог прежде исполнять обязанность, которую возлагает на него мой муж, объ-

ясняется очень легко. В первую зиму у нас с мужем не было денег. Я должна была продать даже те пять-шесть шелковых платьев, которые привезла с собою. Я не охотница входить в общество, когда у меня нет денег, чтобы быть одетой не хуже других. Потом я не могла бывать ни в театре, ни на балах, потому что сама кормила Володю. Только с нынешней весны...

— У вас даже есть сын? — Нивельзин пожал плечами.

— Есть. — Она засмеялась. — Но послушайте, Нивельзин, — стала она говорить опять серьезно. — С тех пор как я стала понемножку выезжать здесь в общество, я успела узнать, что молодые люди в Петербурге такие же смешные, как у нас в провинции. Они говорят все то же самое, хоть умеют говорить менее избитыми фразами. Я согласна, что вы умеете говорить любезности очень ловко, и вовсе не хочу скрывать, что поэтому мне было приятно слушать их. Но довольно. Потому что это приятно лишь на несколько минут, для начала знакомства. Дальше это было бы скучно. Лучше, нежели долго слушать любезности, я люблю делать выговоры, — и умею делать их длинные, — о, длинные! Будьте спокоен: придумывать новые обороты любезностей вам не понадобится, потому что у вас не будет недостатка в предметах для разговора. Например, скажите, пожалуйста, кто хорошенькая — очень хорошенькая — девушка, подле которой вы сидели? Вы должен знать ее: вы так много говорили с нею. Кто ж она? Вы краснеете? Чего вы краснеете? Того, что вы волочились за бедною? Незнатною? Или того, что я видела, что вы волочились? О, и в этом случае напрасно. Если б я и не видела, я знала бы, что вы волочились за кем-нибудь, — не ныне, то вчера. Я хочу бранить вас не за то, что вы волочились. Мой муж говорит, что волочиться — тяжелое преступление. С своей точки зрения, он прав: он ученый и думает о том, как надобно было бы перестроить общество, чтобы люди не вредили друг другу и не унижались в собственном своем мнении. Он должен строго судить обо всем, что дурно. Но я не ученая, я не присваиваю себе права быть такою строгою. Впрочем, и он говорит, что нельзя много винить человека, который делает только то, что делают все другие. Я знаю, что все молодые люди, у которых есть деньги, волочатся за красивыми девушками, которые бедны и беззащитны. Я... — В это время грянул

оркестр, все пошли в свои ложи. Она торопливо договорила: — Я не виню вас. Но я прошу вас вернуться к ней. До свиданья. После я доскажу вам.

Он шел за нею в ложу.

— Вы сошли с ума? Вы воображаете, что это каприз? Что я говорила это, чтоб уколоть вас? Даже, может быть, по досаде, из ревности? Вы могли бы слышать, что я говорю вовсе не таким тоном. Я просто говорю вам, что вы должны сделать. В следующий антракт вы придете. Но если вы смеете войти в ложу, я рассержусь. И сумею заставить вас уйти. Я сказала вам: идите к ней.

Она затворила дверь ложи.

Второй акт кончился.

— Пойду посмотрю, жив ли мой Нивельзин, — сказала Волгина.

— Что значит любить человека! Предполагаешь всякие беды с ним, если он не на глазах! А вот я так уверена, что он не умер, потому что слышу, давно кто-то все ходит мимо ложи по коридору.

— Позвольте мне съездить купить новые сапоги и поднести их ему от вашего имени, Лидия Васильевна, — сказал Миронов.

— Надумались, Нивельзин, поняли, что я вовсе не сердилась на вас, а просто говорила, как вам следует сделать? Или еще не поняли? По крайней мере видите, что теперь я говорю, нисколько не сердясь? А теперь было бы гораздо больше поводов сердиться. Как вы смели не послушаться меня? Предупреждаю вас, я очень не люблю, когда не слушаются меня. Потому что я не люблю приказывать, и если приказываю, то, значит, считаю необходимым приказать. Где вы пропадали? Все время сидели или бродили по коридору? Вот было бы хорошо! Надеюсь, вы не делали из себя такого посмешища для капельдинеров и их детей? Надеюсь, вы уходили в фойе?

— Да, я ходил курить, — отвечал Нивельзин, все еще совершенно потерявшийся, как ребенок перед гувернанткою, читающею ему мораль.

— Кто она? Я могла видеть, что она очень небогата и привыкла к тому, что не уважают ее. Но я и не спрашиваю о том, как барышня с приданым, за которою

смотрят мать и десяток сестер, кузин, теток, за которую вступилось бы все общество, если бы кто вздумал топтать ее в грязь. Я спрашиваю: вы любовник ее или нет? Вы приехали вчера, у вас не было, вероятно, времени сделать ее вашею любовницею, но вы уже делали ей предложения, или она видела, что вы думаете сделать их? Это почти все равно. Вы поступили с нею слишком неделикатно, бросивши ее. Она должна была понимать, почему вы бросили ее, — это обидно, Нивельзин. Понимаете ли вы теперь, почему вы должны были возвратиться к ней? Исправьте вашу неделикатность. Если вы хотите расстаться с нею, вы должны были сделать это так, чтобы у нее осталось приятное воспоминание о вас. У нее, бедной, не очень много будет приятных воспоминаний, когда придет ей пора раздумья о жизни, — если еще не пришла.

— Я пойду к ней... Если вы потребуете, я останусь знаком с нею... Я... я... дурно провел мою молодость... Я... я...

Волгина должна была взять его под руку, потому что его шаги сделались неверны.

— Вам надобно успокоиться, Нивельзин. Я передам вас Рязанцеву. Он горит нетерпением расспрашивать вас о своих лондонских друзьях. А мы с вами еще будем иметь время наговориться. Я возьму вас проводить меня домой. Вы еще юноша, хоть и много повесничали. Вы с первого взгляда понравились мне. Теперь нравитесь еще больше.

Она присоединилась к Рязанцевой и Миронову. Рязанцев овладел Нивельзиным и повел с ним таинственный разговор.

Антракт кончился. Нивельзин удержал Миронова, шедшего в ложу позади других. Миронов вздрогнул от неожиданного прикосновения: он вовсе не рассчитывал, что Нивельзин схватился за него, чтобы добиться правды.

— Два слова, Миронов. Скажите, пожалуйста, кто эта девушка?

Миронов сделал очень серьезное лицо.

— Madame Рязанцева говорила вам, кто эта дама, и рассказывала мне, что вы вздумали вообразить, будто мы сговорились мистифировать вас. Изумляюсь, как пришла вам в голову такая фантазия! — Миронов ужаснейшим образом пожал плечами.

— Продолжать мистификацию бесполезно. Вы не убедите меня в невозможном.

— Почему ж невозможно, что она madame Волгина? — спросил Миронов, еще сильнее утрируя серьезность.

— Madame Волгиной должно быть по крайней мере девятнадцать лет, а ей не может быть больше семнадцати. И она сама совершенно расстроила мистификацию слишком невероятными выдумками. Она вздумала сказать мне, что у нее есть сын.

— «Невероятно!» Мало ли что невероятно, и, однако же, правда? «Невозможно!» Мало ли что кажется невозможным? — сказал Миронов с величайшим пренебрежением к аргументам Нивельзина. Но чем усерднее утрировал он свою серьезность, тем очевиднее было Нивельзину, что это притворство.

— Вот еще факт, Миронов. Волгин был в опере. Я говорил с ним.

— Но, конечно, не сказал же он вам, что это не жена его?

— Не сказал, потому что я не спрашивал. Что же спрашивать у человека, не жена ли его сидит в ложе, когда в ложе есть свободное место, а он принужден покупать у капельдинера позволение стоять между лавками?

— Если вы не хотите верить мне, то бесполезно обращаться ко мне с вопросами. До свиданья. Вы и так слишком долго задержали меня. Сейчас начинается хор, которого я не хочу пропустить.

— Я не пущу вас, пока вы не скажете мне правду. — Он схватил Миронова за руку.

Миронов сделал притворную попытку вырвать руку; почувствовал, что он удерживает ее крепко, рассчитал, что можно вырываться посильнее: стал вырываться будто всей силою и притворился побежденным, состроивши раздосадованную гримасу.

— Нивельзин, вы изломаете мне руку. Пустите же.

Нивельзин видел, что он готов покориться, и, не отвечая, продолжал крепко держать его руку. Изнутри театра раздался хор. Миронов сделал вид, будто хочет вырваться невзначай; но и это не удалось.

— Извольте, я скажу вам все, только пустите. Она действительно madame Волгина, но она вдова. Ее муж был двоюродный дядя Волгина, которого вы знаете. Он

был старик. Он был очень дружен с ее дедом. Он любил ее, как родную внучку. Она была сирота и бедна. У него было небольшое состояние. Когда он почувствовал, что близок к смерти, он подумал: «Сделаю доброе дело». Он был принесен в церковь на креслах. Его водили вокруг налоя, поддерживая под руки, — лучше сказать, носили. По-видимому, его поступок эксцентричен. Но его наследники, родные племянники, — богатые люди, алчные скряги, отчаянные кляузники. Они оспаривали бы действительность завещания, если бы оно было сделано в пользу посторонней. Ему надобно было, чтобы она была называема в завещании его женою. Иначе, я сказал вам, поднялась бы бесконечная тяжба, которая поглотила бы все наследство. Эта свадьба была ныне летом. Когда она овдовела, она приехала к старшей сестре — то есть к жене Алексея Иваныча Волгина. Вот вам вся правда. Пустите же меня.

— Как ее имя?

— Софья Васильевна.

— Благодарю вас, Миронов. — Нивельзин, задумавшись, пошел вверх по лестнице, в боковые места.

Миронов имел сильное влечение приставить к своему носу большой палец и растянуть другие, на проводы ему, но удовлетворился тем, что немножко высунул язык, и, вошедши в ложу, ждал не дождался, пока начнут пищать плохие певцы.

— Лидия Васильевна, знаете, кто вы? Я сделал вас вдовою, и зовут вас Софья Васильевна. Старик, друг вашего деда, когда стал умирать, велел нести себя в церковь венчаться с вами, чтобы негодяи племянники его не могли отнять у вас его маленького именья.

— Как вы могли выдумать такую историю? Я очень сердита на вас.

— Как мог выдумать? — отвечал он, мало пугаясь того, что она сдвинула брови. — Разумеется, не мог бы выдумать в четверть часа целый роман; только тем и ограничились мои труды, что я немножко прикрасил анекдот, который слышал в детстве от родных: они уверяли, что был когда-то в их городе такой случай. Напрасно сердитесь: добрые люди смеются — видите?

В самом деле, Рязанцев хихикал, и Рязанцева смеялась.

— Он был дряхл, он уже не мог держаться на ногах и падал вот так. — Миронов опустился в глубине ложи

на колена, и голос у него дрожал, — Миронов заговорил дрожащим стариковским голосом: — «Сонечка, дружочек мой, твой дедушка был мне друг; я хочу обеспечить тебя, чтобы ты была свободна, независима...»

— Шут! Рассмешил меня; не могу сердиться.

— Сонечка, дружочек мой! Будь моей вдовою! Исполни последнюю просьбу умирающего старца! Подурачь его! Не ты, Сонечка, виновата, что ты стала моею вдовою, — он сам сочинил твою историю при помощи шута Миронова. Шут Миронов не перестанет паясничать, пока ты не согласишься на мою последнюю просьбу; и что же будет, если ты не поспешишь согласиться? Вот ты уже смеешься, а Анна Александровна еще громче, а Григорий Сергеич уже хватается за бока; шут Миронов доведет вас до хохота, все услышат, все осудят вас, подумают: нехорошо хохотать в опере, когда чувствительные люди плачут и сам шут Миронов расчувствовался до слез... — он хныкал и строил гримасы. — Так вы будете мистифировать его, Лидия Васильевна! — весело продолжал он своим настоящим голосом, уже уверенный в ее согласии...

— В самом деле, это будет забавно. Но зачем же вы, Миронов, сделали меня вдовою? Я не хочу быть вдовою. Лучше вы оставили бы меня девушкою, как он воображал.

— Нельзя было, Лидия Васильевна: вы слишком смелая. И вдову, и замужнюю женщину не скоро найдешь такую. Невозможно! Вы не могли б играть роль девушки.

— Вот прекрасно! Когда я была девушкою, я была еще смелее, нежели теперь, потому что совершенно не понимала, что такое влюбляться, беспрестанно воображала, что влюблена, и чувствовала, что это вздор. Впрочем, это почти совершенно правда: самый глупый вздор. Ребячество, забавное ребячество.

— Вот за это-то и надобно наказать его, что он имел глупость влюбиться в вас, Лидия Васильевна, — сказал Миронов, полушутя, полусерьезно. — Алексей Иваныч говорит правду, что никто не должен влюбляться в вас. Я вот и моложе Нивельзина, а не влюбляюсь. Ему следовало бы быть умнее меня, а не глупее. Пожалуйста, проучите его хорошенько. Смеет влюбляться! Я готов поколотить его, ей-богу!

— Это будет весело, Миронов, Но я очень недоволь-

на, что вы хоть в шутку назвали меня вдовою. Я не хочу быть вдовою. Я буду девушкою.

Она замолчала и, по-видимому, стала внимательно слушать пение. Но через минуту обернулась к Миронову и повторила:

— Я очень недовольна, Миронов, что вы назвали меня вдовою.

Много раз Миронов украдкою заглядывал сбоку на ее лицо, продвигаясь к барьеру ложи, будто бы для того, чтобы лучше видеть действие на сцене. Но ни разу не отважился заговорить.

Опера кончилась. Волгина стала надевать шляпу и взглянула на Миронова.

— Что вы такой хмурый? Думаете, я все еще сержусь на вас? Но вы ужасно расстроили меня, мой милый Петруша.

У Миронова всегда была охота дурачиться. Тем больше теперь: ему хотелось развлечь Волгину.

— Лидия Васильевна, пожалуйста, возьмите его с собою: я уверен, он прилетит провожать вас. Вы добрая, Лидия Васильевна: возьмите его с собою.

— Я уже сказала ему, что беру.

— Вы возьмите его, а я поеду к вам, поскорее, вперед, подучить Наташу; и Алексея Иваныча, если он уже дома. Наташа будет называть вас Софьею Васильевною, скажет, что ваша сестрица, Лидия Васильевна, уже легла спать...

— Хорошо, — рассеянно сказала Волгина, рассеянно простилась с Рязанцевыми и поклонилась подходившему Нивельзину. Миронов убежал.

— Я очень любезна к новому знакомому, — сказала она, молча прошедши два или три яруса лестницы. — Но это и лучше, если вы с первого же нашего знакомства будете знать, что иногда вам будет бывать скучно со мною... Впрочем, я не всегда такая. Обыкновенно я веселая.

— Я исполнил ваше приказание.

— Видела. — Она опять замолчала.

Она молча дожидалась, пока подъедет карета; молча села в нее.

— О, какая тоска! — проговорила она, когда карета выехала из хаоса экипажей около театра. — Но я не

хочу поддаваться ей, хочу быть веселою. Я не люблю тосковать. Говорите что-нибудь смешное, Нивельзин, заставьте меня смеяться... Впрочем, что ж я говорю, чтоб вы шутили, рассказывали смешные глупости? Я думаю, ваши мысли спутаны хуже моих... Конечно, так; потому что вы объясняете мою молчаливость смущением, раздумьем о себе и о вас. Вы должны так думать, потому что должны были заметить, что очень понравились мне; да если б и не заметили сам, я уже говорила вам. Но я думала не о себе или о вас, я думала о моем, бедном муже... Ах, какая досада! При вас, едва знакомом, должна утирать слезы! Какая досада, что в карете не совершенно темно, чтобы вы не могли видеть, как я смешна! Расплакаться от мысли, что я вдова! Это смешно! В самом деле, это смешно! Плакать о том, что я вдова! — Она засмеялась. — Будем же говорить что-нибудь веселое, Нивельзин; я хочу забыть свои мысли... Что же вы молчите? Да, я опять забыла, что у вас не может быть расположения смеяться и смешить... Да я и не могла бы слушать со вниманием, хоть бы вы стали рассказывать самые смешные анекдоты. Лучше будем молчать, пока у меня нет охоты ни говорить, ни слушать.

Она замолчала.

— Вы человек с тактом, Нивельзин, — начала она минут через десять. — Вы умеете молчать, когда лучше всего молчать. Вам должна была казаться очень странною моя грусть: вероятно, даже смешною. Ах, я сама желала бы смеяться над нею!.. И буду смеяться. Алексей Иваныч уверяет, что я боюсь напрасно. Я не знаю, не понимаю, что такое делается у нас в России, что выйдет из этого. Я должна верить ему. Буду верить.

Она опять замолчала и начала спокойнее.

Но у меня есть и свои опасения за него. От них он не может отговорить меня; потому что это я сама понимаю, это может понимать всякий. Какого здоровья может достать надолго при такой работе? Придешь поутру звать его пить чай, он сидит и пишет; уверяет, что недавно проснулся; потом пьет чай, а у самого слипаются глаза; как же поверить ему, что он спал? Это бывает часто, Нивельзин; каждый месяц. И всегда работает целый, целый день, как встал, так и за работу, — и до поздней ночи. Ни напиться чаю, ни пообедать как следует ему некогда. Схватит стакан и уйдет за свою проклятую работу; даже тарелку с последним кушаньем

уносит в свой проклятый, проклятый кабинет. Только и отдыха, если кто придет к нему или ему надобно идти; да и от этого иногда только больше горя мне: прошло два, три часа днем без работы, он и сидит за нею ночью. Поэтому даже редко заставляю его идти или ехать со мною: думаешь, вместо отдыха сделаешь ему больше изнурения. Какое здоровье выдержит такую жизнь? «Ничего, голубочка; я вовсе не так много работаю, как ты воображаешь»; я воображаю! Другой ответ: «Голубочка, нельзя иначе; и так я не успеваю сделать всего, что нужно». Бессовестный человек! ему ничего, что он огорчает меня!.. И для чего он убивает себя такою работою? Для того, чтоб у меня были лишние деньги! Ему самому ничего не нужно. Каждый раз, когда заказываешь ему новое платье, ссора с ним; запоет, запоет: «Зачем, голубочка?», «Напрасно, голубочка!» И ноет, спорит, пока не рассердит меня. Каждый раз это кончается тем, что я должна браниться. И это из-за всякой мелочи, из-за каждого галстука, из-за теплой фуражки на зиму! Каждый раз получаешь огорчение. Покупаешь ему, радуешься — нет, успеет огорчить. Это ужасный человек, с несноснейшим характером, совершенно безо всякой совести! Он даже не любит ничего. У него достает совести отрекаться ото всего. Он не любит никакого кушанья; как вам нравится это? И он тверд в своем: нарочно не ест своих любимых блюд, как только заметит, что готовишь их для него. Пока не поймет, ест, только это одно и мирит с ним, что недогадлив, ни на что не обращает внимания, совершенно слепой; пока не заметит, ест; заметил, что кушанье готовится для него, кончено: «Не хочу, голубочка». — «Почему не хочешь?» — «Не нравится, голубочка». — «Как же не нравится? Ты любишь это». — «Никогда не любил, голубочка, я не знаю, почему тебе так показалось». И спорит, спорит, пока выведет из терпенья. Тогда новая песня: «Ну, что же, твоя правда, голубочка: прежде нравилось; а теперь не нравится». Что прикажете делать? Как ни бранишь его, не помогает: не ест. Бросаешь, пока забудет, забудет, опять ест. Только это хорошо в нем, что беспамятен и ничего не замечает. И хоть бы не понимал, что надобно же готовить что-нибудь; почему ж не быть одному блюду и по его вкусу? Больше одного ему не нужно, и тем больше все равно, что я ем все. Толкуешь ему это. Понимает. Но уже такой характер. Иногда, заметно, он и сам не

рад, что все только огорчает меня. Но не может исправиться. Как не может! Просто не хочет, потому что в нем нет ни искры стыда, а жалости еще меньше. Говорит, что любит меня, а хоть бы сколько-нибудь пожалел! Огорчает меня каждый день, каждую минуту! Я не видывала таких скупых людей! Ему жаль, когда сделаешь какой-нибудь расход для него, хоть самый маленький: «Зачем, голубочка?», «Не нужно, голубочка!» Ему все кажется, что у меня мало удобств — теперь, когда стала выезжать, — что у меня мало денег на наряды, на развлечения. Мои платья не нравятся ему! Мои платья! Каково? И хоть бы кто говорил, а то он, который сам даже и не отличает порядочную материю от самой плохой! «Голубочка, ты шила бы себе платья получше». Можно ли иметь платья лучше моих? Скажите, была ли, например, в опере хоть одна дама или девушка, которая была бы одета лучше меня? Богаче — почти все и в четвертом ярусе; но лучше ни одной и в бельэтаже. Нет, он недоволен. Чем, спросите его, — тем, что я пошла за него! Как вам это нравится? Заметили, он глядел, глядел на меня и начал утирать слезы: о чем? Об этом! Необыкновенно умен! Как будто есть на свете женщина счастливее меня! Мог бы сам видеть, счастлива ли я; и видит. Но совести нет у человека. Несносный характер!.. Я нисколько не ангел; но он и ангела вывел бы из терпенья! Я не понимаю, что это за глупый человек!.. Потому я вышла за него, что видела, какой это человек. Он не думал об этом; советовал мне идти за другого. Ах, сколько надоедал он мне этими просьбами: «Идите за него, идите за него», — надоел, надоел... «Не пойду, сказала ему и вам». Нет, свое: «Идите». Тот его друг, мой жених, был очень похож на вас, Нивельзин. Разумеется, понравился мне. Но я увидела, что с моим характером нельзя идти замуж: все мужчины воображают, Нивельзин, что они умнее и благоразумнее нас, что они должны управлять нами. Я решилась не идти замуж ни за кого. Мужчины не умеют только любить, Нивельзин. Они хотят господствовать. Они слишком глупы, они дикари, Нивельзин. Не будьте таким, когда женитесь...

Она замолчала.

— Вы не знаете, Нпвельзин, какой это человек! И никто еще не знает! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хоть я и не ученая и не видывала тогда уче-

ных людей. Я увидела это из первых же наших: разговоров, хоть они были пустые, хоть, разумеется, он не мог говорить со мною ни о чем ученом: я не поняла бы, как и теперь не понимаю; и не слушала бы, как и теперь не слушаю. Но это было видно мне. Я узнала, какой это человек; тогда все думали, что он пролежит весь свой век на диване с книгою в руках, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характер! Потому что без его характера, даже и при его уме, ему нельзя было бы так понимать все эти ученые вещи. Я, не ученая, увидела это из первых разговоров, пустых, обо мне, о пустяках, о моем счастье, — я увидела, какая разница между ним и другими! И ошиблась ли я? Вы знаете, как теперь начинают думать о нем. Но его время еще не пришло, они еще не понимают его мыслей, — придет его время, тогда заговорят о нем! И пусть будет с ним и со мною, что будет! Я хочу, чтоб о моем муже говорили когда-нибудь, что он раньше всех понимал, что нужно для пользы народа, и не жалел для пользы народа — не то, что «себя» — велика важность ему не жалеть себя! Не жалел и меня! И будут говорить это, я знаю! И пусть мы с Володею будем сиротами, если так нужно!

Она замолчала и задумалась.

— О, боже мой, как я разговорилась, — начала она после долгой паузы. — Вам, должно быть, было смешно слышать это от женщины, от женщины не ученой, которая не понимает ничего в ученых вещах и не думает о них. Вообще я и не говорю о них. Но я была взволнована, Нивельзин; а вы так понравились мне, да и мой муж очень хвалит вас, и видно, что мы будем очень дружны, — я чувствовала, что могу говорить как будто не с чужим. А вы, вероятно, ждали не такого разговора? Думали, что я стану вызывать вас на любезности? Конечно, так. Потому что вы думали волочиться за мною. Впрочем, вы сами не знали, что вы думали: вы так влюбились, что не могли думать. Но нечего жалеть вам, что я не была в настроении слушать любезности. В них нет надобности: я уже сказала вам, что вы нравитесь мне. Волочиться — совершенно лишнее, когда вы уже услышали, что вы нравитесь.

— Я не думал волочиться за вами, — сказал Нивельзин. — Я не думал, что m-r Волгин — ваш муж.

— В самом деле, я совершенно забыла, что вы вообразили, будто вас мистифируют, а повеса Миронов воспользовался этим и наговорил вам вздора, чтобы после нам всем вместе посмеяться. Ах, как жаль, что я забыла! И все оттого, что Миронов расстроил меня этим гадким словом «вдова». Как жаль, что я забыла! Было бы так весело! И сколько мы с вами смеялись бы после! А пока я не раздумалась, не раздумалась и не стала совсем грустная, я хотела продолжать шутку. Разумеется, я не осталась бы вдовою, была бы девушкою. Стоило только сказать, что моя свадьба с этим стариком — неверный слух; что, правда, все было готово к венчанию, но жених мой умер, когда его несли в креслах венчаться, что я не имею права носить его фамилию; но из признательности к нему за доброе намерение люблю, чтобы меня называли так; потому знакомые и называют Волгиною, хоть настоящая моя фамилия — Платонова; Миронов не слышал ее, слышал, что все зовут меня Волгиною, потому и ошибся. И вы опять верили бы всему, и это было бы очень весело! И вы сделали бы мне предложение, — и как мы с вами смеялись бы!.. Или, может быть, я теперь мистифировала вас, называя Алексея Ивановича моим мужем? Может быть, я остаюсь вдовою? Пожалуй, остаюсь; теперь я смеюсь над своим страхом.

— Мое положение чрезвычайно странно, — проговорил Нивельзин.

— Почему?

Нивельзин молчал.

— Почему же? Я не понимаю, на что вы сердитесь. Вы могли бы быть разочарован, раздосадован, если бы вы думали, что не нравитесь мне. Но я сказала и говорю: нравитесь, очень нравитесь.

— Именно потому я и называю свое положение чрезвычайно странным.

— Вот это мило! Вам неприятно, что вы нравитесь мне?

— Вы любите вашего мужа.

— О, боже мой! — проговорила Волгина, засмеявшись. — О, боже мой! — повторяла она, переводя дух от смеха. — О, боже мой! Я люблю моего мужа! А вам хотелось бы, чтобы я не любила его? Посмотрю, посмотрю, как это вы сам не будете любить его, когда хорошенько познакомитесь с ним! Но позвольте спросить,

с чего вы взяли, что я люблю его? Я вовсе не говорила этого. Напротив, жаловалась вам на него, называла его человеком несноснейшего характера, рассказывала, что беспрестанно браню его.

— Вы смеетесь надо мною. Я не привык быть предметом насмешек.

— Я вижу, с вами надобно говорить, как с наивнейшим юношею, как с маленьким ребенком, — сказала Волгина уже совершенно серьезно. — Я так и думала, что вы юноша, несмотря на все ваши волокитства и победы. Но не воображала, что вы юноша до такой степени. Вздумайте, кстати, обидеться также и этим. Над своею досадою вы сам скоро будете смеяться. Над нею я смеюсь, но только над нею. Это не значит, что я смеюсь над вами. За что же я стала бы смеяться над вами? За то, что вы влюбились в меня? Но что же тут смешного? Ровно ничего. Было бы очень глупо смеяться над вами, если бы вы и не нравились мне. Но вы нравитесь. Поэтому я нахожу прекрасным, что вы влюбились в меня: вы не будете скучать быть у нас очень частым гостем, — скоро и не гостем, а своим у нас. А я хочу этого. Видите ли, как просто объясняется все? Поняли, что вам нечем было обижаться?

Нивельзин молчал.

— Неужели надобно толковать вам еще подробнее? Очень жаль, что с нами нет Алексея Иваныча. Я попросила бы его говорить. Он охотник рассуждать обо всем, что должно быть понятно без всяких рассуждений. А я скучаю такими лекциями. Но для вас, так и быть, стану объяснять, потому что вы очень понравились мне с первого же взгляда, а теперь я думаю, что даже серьезно полюблю вас, потому что вы держали себя как умный человек: не театральничали, не декламировали, хоть вам было очень досадно. Слушайте же. Что общего между мною и Алексеем Ивановичем? Только то, что он всею душою любит меня, а я не могу не чувствовать очень сильного расположения к нему за это. Но то, что занимает его, непонятно и скучно мне; то, что интересует его, заставляет меня зевать. Он ученый; я не читала почти ничего серьезного, не читаю даже того, что он пишет: пробовала несколько раз, потому что люблю его, но всегда бросала на первых страницах. Он говорит: это потому, что он пишет дурно, растянуто; может быть, и в самом деле он пишет скучно;

я бросала его статьи просто потому, что предметы их незанимательны для меня. Его жизнь — совершенно кабинетная; о чем он стал бы рассказывать мне? Не о чем, кроме как о том, что он читает и пишет. Это скучно мне. Я всегда имею много рассказывать ему: я не сижу взаперти, как он. Он слушает меня и не скучает; но только потому, что ему нравится слушать меня, — но слушает и сам не слышит, а если и слышит, через минуту забывает; потому что какую же занимательность для него имеют мои прогулки и выезды, покупки, наряды, танцы, болтовня с молодыми людьми? Вам будет смешно, пока вы не привыкнете: он не знает в лицо многих из молодых людей, которые бывают у меня: обедает с ними, пьет чай — и все-таки не знает тех из них, которые не пускаются в ученые разговоры с ним. Он рассеян и невнимателен.

Карета остановилась.

— А, приехали! Что же вы думали сделать, Ннвельзин? Идти к нам или раскланяться у двери подъезда и уйти, чтоб никогда не возвращаться? Увы, мой милый Нивельзин: решение не зависит от вашей воли. Вы должен помочь мне взойти на лестницу. И предупреждаю, это будет не очень легко для вас, потому что, когда иду на лестницу, я опираюсь на руку моего кавалера очень солидно. Бедные мои ноги все еще слабы. В прошлую зиму, я думаю, я еще не могла бы танцевать. Я была очень больна после того, как родился Володя. Хорошо ли он спит без меня, мой милый? Ах, Нивельзин, если бы дети знали, сколько болезней, страданий переносят матери! Ваша мать жива, Нивельзин? Вы любите ее?

— Она жива. Я очень люблю ее.

— Почему ж вы живете не вместе с нею? Она закоснелая провинциалка и не любит Петербурга?

— Да. В деревне она окружена родными.

— Вы давно были у нее?

— Два года.

— Два года! Нехорошо, Нивельзин: вам надобно было бы проехать из-за границы к ней. Устала рука или нет? Я думаю! Бедные мои ноги! Но все-таки я уже танцую почти так же легко, как прежде. Но бегать, прыгать по-прежнему я не могла бы; может быть, уже и не хотелось бы, если бы могла; не знаю. Когда-то мне можно будет опять ездить верхом? Этого я не разлюбила. Но в нынешнее лето еще не решалась. Посмотрим на следующее лето, хорошо ли вы ездите. Прошу,

будете гость, пока не привыкнете считать себя не чужим у нас. — Она ввела его в дверь.

— Лидия Васильевна уже легли почивать и просили вас, Софья Васильевна... — начала Наташа.

— Уже нечего рассказывать о Лидии Васильевне; он знает, что Лидия Васильевна — я. А где Миронов? Позови его; пусть будет вместо хозяина и хозяйки, пока выйду в гостиную. Терпеть не могу корсетов, Нивельзин. Идите прямо, потом налево.

— Моя или, вернее, ваша собственная мистификация уже разрушилась? Очень жалею, — сказал Миронов, выходя в гостиную к Нивельзину.

— Я не понимаю этой женщины, Миронов.

— Это просьба, чтоб я помог вам понять ее? Ждите от меня помощи, когда я желаю вам провалиться сквозь землю! За что? За то, что вздумали отправиться ныне в оперу. За следующее нельзя винить вас. Но почему бы вам было не отправиться во французский театр, если уже не сиделось дома?

— Вы бранитесь, Миронов: вы не бранились бы, если бы знали, о чем мы говорили; лучше сказать, она говорила, потому что я только слушал и чувствовал себя в отчаянно глупом положении.

— Очень любопытно мне знать, что она говорила вам! Я думаю только о том, что она теперь будет говорить мне чаще прежнего! Вы чувствовали себя в глупейшем положении! Очень нужно мне ваше удостоверение, чтобы знать это? Я полагаю, что лучше всего нам будет заняться исключительно курением: мне, чтоб не продолжать браниться; вам, чтобы не смешить меня, — Он закурил и стал ходить, заложив руки на спину.

Наташа принесла чай. На подносе, кроме стаканов для Миронова и Нивельзина, была чашка.

— Лидия Васильевна скоро придет? — спросил Миронов.

— Я сказала ей, что несу чай; она сказала: «Иду». — Наташа ушла.

— Что же вы не пьете, Нивельзин? — сказал Миронов через минуту: — Я слышал, что влюбленные не едят; но пить чай, если не ошибаюсь, могут. Или вам хотелось бы с ядом вместо сливок? На ваше горе, нет при мне мышьяку, а то не отказал бы.

— Неужели вы сам не влюблен в нее, Миронов? Вы влюблен в нее, это видно.

— Такая догадливость делает честь вашему сумасшествию.

Вошла Наташа, взяла чашку и выпитые стаканы; опять принесла чай Миронову и Нивельзину и опять чашку.

— Что же Лидия Васильевна, скоро придет? — спросил Миронов.

— Я сказала ей, что иду переменить стаканы, не переменить ли ее чашку, или подождать, чтоб и эта не остыла. Она сказала: «Нет, перемени; я сейчас иду».

— Что же не идет? Что там делает? Готовит закуску?

— Господи! Я думаю, сама положу сыр, ветчину, сама знаю, как открывается коробочка с сардинками! Что она? Известно, подошла, да и стоит. «Иду», да и стоит.

— Подошла к Володе?

— Ах ты господи! Точно не по-русски говорю вам! Двое у нее детей-то, что ли, что спрашиваете? Известно, к Володе. Он спит, она глядит. — Наташа ушла.

— Должно быть, Нивельзин, что Володя тут только предлог; а не выходит она потому, что все не может, успокоить своего волнения: уж очень влюблена в вас.

— Послушайте, Миронов: она любит мужа; как же вы ревнуете ее?

— А вот как: она может иметь к своему мужу какие ей угодно чувства, а я чувствую охоту поколотить вас! — Миронов стукнул кулаком по столу.

— Что вы стучите, повеса? Смотрите, разбудите у меня Володю! Я вас тогда!.. —Волгина вошла в блузе. — Любезная хозяйка, Нивельзин, совсем бросила вас. Но привыкайте к моему характеру. Вот поэтому не могу сближаться с дамами, даже с теми, которые сами по себе нравились бы мне, например Рязанцева. С ними слишком много церемоний: приедешь, садись на определенное место, сиди смирно, говори, как принято; она приедет, как бросишь ее? Как уйдешь в кухню, в детскую?

Дружба между дамами гораздо реже, нежели между мужчинами, — заметил Нивельзин. — Нас связывают дела, одинаковость образа мыслей. У женщин, у каждой своя отдельная жизнь: личная, семейная; общественные связи не охватывают их. Я почти не знаю примеров дружбы...

— До свидания, Лидия Васильевна; мне уже давно хотелось уйти, — перебил Миронов. — Только не смел без вас, чтобы вы не бранились, что бросил Нивельзина.

— Вижу, Миронов, что вы злитесь на него. Угадываете, что теперь гораздо чаще прежнего буду прогонять вас заниматься делом?

Миронов поцеловал ее руку, пошел, но вернулся, подошел к окну, проворчавши: «Чуть не забыл! А Даша придет завтра поутру!» — и схватил с окна небольшую плоскую картонку. Движение было порывистое, крышка приподнялась, выскользнула, и сама картонка упала. Цветы, ленты рассыпались по полу. Миронов зацепил, как попалось, первые, какие подвернулись, чтобы пихнуть назад в коробку.

— Осторожнее, все испортите. Кладите на окно. В картонку уложу сама. — Волгина подошла к окну, стала укладывать. — Идите, спросите у Наташи веревочку, завязать получше. А то, с вашею досадою, еще разроняете по дороге. — Миронов принес веревочку, Волгина завязала картонку. Он опять поцеловал руку и ушел.

Нивельзин внимательно всматривался в цветы и ленты, которые подбирал Миронов, и лицо его прояснилось: он должен был заметить, что ленты несколько помяты; вероятно, он убедился из этого, что Даша никак не сестра Миронова: Волгина не могла бы дарить сестре своего приятеля уборы, которые бросила и могла бы отдать своей горничной.

— Мне кажется, я начинаю несколько понимать вас, — сказал он, проводив глазами Миронова.

— Понимать меня вовсе не трудно: надобно только понимать в самом простом и прямом смысле все, что я говорю.

— Именно поэтому-то и очень трудно понять вас: вы слишком не похожа по характеру на других женщин.

— Мой муж говорит: это потому, что все они, так или иначе, невольницы. Он говорит, что я никогда не могла бы стать похожа на невольницу. Не знаю; он слишком любит меня, поэтому, как говорит со мною обо мне, фантазирует до смешного.

— И вы, я уверен, несколько преувеличиваете, когда говорите о том, как он изнуряет себя работою. Я не замечал, чтобы он когда-нибудь был похож на изнуренного. Правда, он несколько бледноват, но всмотревшись, видишь, что это уже природный цвет, не болезненный.

Вы огорчаетесь тем, что он отказывает себе во всяких развлечениях; он не отказывает себе в них: они действительно скучны ему. Когда втянешься в работу, которая по сердцу, она становится занимательнее всяких развлечений. Иногда и мне случалось испытывать это, хоть вообще у меня были слишком дурные привычки.

— Благодарю вас, Нивельзин, за то, что вы говорите так хорошо. Я и сама понимаю, что отчасти я могу преувеличивать. Но в самом деле он работает слишком много... Знаете ли, что мне вздумалось? Он так хвалит вас. Он говорит, что вы и очень ученый и что у вас благородный образ мыслей. Я знаю, вам нет надобности писать. Но вы сами сказали, что находили удовольствие в работе, даже и тогда, когда вели рассеянную жизнь. Попробовали бы вы сделаться писателем, Нивельзин: может быть, вы стали бы писать хорошо.

— Чтобы помогать Алексею Иванычу? Нет, Лидия Васильевна, мне надобно еще слишком много учиться и думать, чтобы моя работа годилась для него. Он с пренебрежением смотрит на людей, которых я еще уважаю. Он высказывает мысли, о которых я часто и не знаю, каким образом можно дойти до них. Я могу только писать о математике, об астрономии: это не нужно ему. Он мог бы легко найти десятки помощников гораздо лучше меня. Но у него такой образ мыслей, которого они не разделяют; а я еще не умею и понимать хорошенько.

— Как это жаль, Нивельзин! А я вздумала было так хорошо... Зачем я сама не училась ничему?.. Правда, мне было не у кого учиться... Но я и сама была такая резвая: все бегала, ездила, только в. том и прошло все детство... И после то же самое, только прибавились танцы, наряды... А в двадцать с лишком лет — с хозяйством, с ребенком, — начинать учиться — поздно... — Она замолчала, потом засмеялась. — Видите, как мы хорошо говорим, Нивельзин. Это так и будет. А вы еще не хотите быть дружен с нами.

— Для вас это будет так; для меня это не могло бы быть так. Теперь я очень хорошо вижу, что вы не думали смеяться надо мною. Но...

В эту минуту раздался звонок.

— А, наконец-то! Слава богу! Я думала, он останется там до второго, до третьего часу! Говорите, Нивельзин; он нам не помешает. Поздоровается и поплетется к себе в кабинет, если не велеть ему сидеть с нами.

— Но вы не хотите помнить, что я сошел с ума, увидевши вас, — договорил Нивельзин и замолчал.

— Я вовсе не забываю этого, Нивельзин; но я не придаю этому важности. Это довольно скоро пройдет; кто из нас не ребячился, кроме моего Алексея Ивановича, — но смотрите, что будет, — договорила она тихо. — Только сидите смирно, не вставайте, не кланяйтесь.

Она могла бы сказать это и громче; муж не услышал бы; он еще из зала начал свою речь:

— А вообрази, голубочка, что я тоже был в опере! Пришел в типографию; рано; вздумал пойти к вам в ложу; но представь себе: вдруг вижу, не знаю нумера! Что же? Пошел, взял место вверху! Молодец! Ну, и вообрази: кого же я встретил в опере? — С этими словами он показался в дверях. — Вообрази: Нивельзина! Позвал его завтра обедать. В сущности, очень хороший человек, — он шел мимо носа Нивельзина, преспокойно продолжая:— Да; хороший, в сущности. Только вчера приехал. Здравствуй, здравствуй, моя милая голубочка! Давно не видались! — он стал целовать руку жены.

— Если Нивельзин так нравится тебе, ты поздоровался бы с ним.

— Ну! Да в самом деле, это вы, Павел Михайлыч! — воскликнул Волгин, обернувшись. — В самом деле, это вы! А я и не гляжу; думаю, Миронов! Очень рад, очень рад!

— Положим, не глядел, мог бы не рассмотреть лица; но как же принять человека в статском платье за человека в мундире?

— Ну, что же тут такого, голубочка? Не обратил внимания; и опять же, по рассеянности, — возразил Волгин.

— Я видела тебя в опере, и ты огорчил меня: зачем плакал? Стыдись, нехорошо.

— Ну, что же, голубочка... — жалобно затянул Волгин. — Это я только так... Да, впрочем, это тебе только так показалось, голубочка, — спохватился он. — Уверяю, голубочка.

— Можете судить, есть ли у него совесть, — заметила Волгина Нивельзину. — Ты устал; ступай себе, разденься, — ляжешь спать?

— Что же ложиться-то понапрасну, голубочка? Раньше часу все равно не усну.

— Если не ляжешь, я пришлю к тебе Нивельзина.

— Хорошо, голубочка. Приходите, Павел Михайлыч.

— Я даю вам поручение, Нивельзин: просидите с ним до часу, пожалуйста. Тогда он ляжет. А то, пожалуй, уселся бы за работу и заработался бы долго. Кто из нас не ребячился, Нивельзин? И я влюблялась, в старину. Потому и знаю, что это вздор, которому не следует придавать важности. Это хорошо для балов, для танцев: о чем было бы говорить? Пока не о чем думать, и, возвратившись с балу, можно думать, и думаешь, бывало, Нивельзин: «Ах, я влюблена в него!» Потом, я не спорю, это может иногда обращаться в серьезную любовь, — венчаются, или, если женщина уже замужем, начинаются измены, ссоры, ужасы. Но это когда женщина и без того дурно жила с мужем. А когда вы расположены и к мужу, и к жене, — помилуйте, долго ли продержится у вас в голове влюбленность? Очень скоро вы будете видеть во мне добрую, простую женщину, которая ото всей души расположена к вам. Завтра, в час, в половине второго, приходите, и отправимся гулять. А теперь пора мне спать: Володя умеет будить, — такой же голос будет, совершенно такой же, как у отца. Я очень рада, что Алексей Иваныч вернулся не так поздно: хотела ждать его, а потом Володя не дал бы выспаться. Пойдем, провожу вас к Алексею Иванычу, и, пожалуйста, до часу сидите, но дольше половины не засиживайтесь.

— Вы так легко смотрите на мое сумасшествие, — сказал он. — Вы ошибаетесь.

— Полноте, что за вздор. — Она взяла его за руку. — Идем. — Она повела его.

— Вы ошибаетесь, мое сумасшествие не так легко может пройти, — сказал он с таким усилием, что слышно было, как не хотелось бы сказать это. — Я должен был бы избегать вас, я должен избегать вас.

— Что за вздор, нет никакой надобности, — отвечала она весело.

— А если вы ошибаетесь?

— Не будем пугаться того, что невероятно! Лучше помните, что я говорила вам: до часу сидеть; дольше половины второго не сметь. Он будет удерживать вас — он очень деликатен, при всей своей неловкости у него никогда недостает духа показать, что ему некогда или человек наскучил ему, — тем больше он будет внимателен и по-своему любезен с вами, но вы сам должен помнить время. Слышишь, мой друг, что я говорю Ни-

вельзину: чтоб он не слишком полагался на твои любезности, — да и тебе велела бы не удерживать его, если бы не знала, что ты уже не можешь обойтись без этого. Чай уже принесли тебе? Хорошо; закуску я сейчас пришлю сюда.

— Ну, хорошо, голубочка, — отвечал муж. — А ты сама-то хочешь спать?

Она зевнула.

— Мне пора спать. Володя поднял ныне в семь часов. Такой несносный мальчишка.

— Я не знаю, хорошо ли я делаю, оставаясь у вас, — сказал Нивельзин, а сам между тем уже взял сигару, которую подал ему Волгин.

— Отчего же? До часу все равно не спал бы. Очень рад посидеть с вами, потому что надобно ж иногда и отдохнуть. Работаешь, работаешь, дай надоедает. А знаете, я даже и подумал тогда, что найду вас здесь; потому что известно, как сдерживаются подобные обещания: «Не пойду к ним в ложу»; а Лидия Васильевна еще тогда, — весною-то, — хотела познакомиться с вами. Ну конечно, повидавшись с нею, увидела, какой оборот примет дело. Конечно, рассудила, что если так, то лучше ей и не видеться самой с вами. Та, бедная, могла бы, пожалуй, забрать себе в голову, что отбивают у нее. Не будь этого соображения, Лидия Васильевна, конечно, велела бы мне позвать вас к ней, а не стала бы поручать мне самому говорить с вами: слава богу, знает, какой мастер я говорить.

— Из того, что вы бывали у меня, вышел слух, вероятно, очень неприятный для вас. Рязанцев убежден, что вы посылали меня в Лондон с какими-то поручениями.

— Э, вздор-то! — сказал Волгин, махнувши рукою. — Ну, пусть думает, — пусть и рассказывает, велика важность!

— Я старался разубедить его, но, кажется, не мог.

— И не стоило.

— По-моему, очень стоило; и не отстану, пока не разуверю.

— Ну, этого-то, положим, вам не удастся. Да не стоит и думать.

— Тем больше стоит, что он не сам выдумал это, ему объяснил Савелов.

— Да ну их к черту! Ну, и Савелов пусть думает. Велика важность! Кто не старается заискать в Лондоне?

Савелов-то сам старается вилять хвостом так, чтобы там заметили, а вы думаете, нет? — Волгин принял глубокомысленный вид. — Наверное, да. И не сомневайтесь.

— Мне нечего сомневаться. Откуда же берет Рязанцев документы, о которых потом дивятся, как они туда попали?

— В самом деле! — воскликнул Волгин. — Это удивительно! Как же это никогда мне не пришло в голову? То-то же и есть, — продолжал он с прежним глубокомыслием. — Потому я и говорил вам, этот слух для меня пустяки. Не стоит говорить об этом. А знаете ли, что я вам скажу, Павел Михайлыч: это вы неспроста повернули — я об одном, а вы о другом, — будто не успели бы сказать после! Это мне вот сейчас только пришло в голову. И знаете ли, если так, то и с самого-то начала вы тоже неспроста, должно быть, сказали, что не знаете, хорошо ли делаете, оставаясь у меня! А я, знаете, так и понял, что вы боитесь отнять у меня время! Это удивительно! — Он покачал головою. — Это удивительно, я вас уверяю, как я не понял! Натурально, это вы говорили не обо мне, то есть не обо мне одном, а вы говорили о нас. Вот тоже вздор-то, Павел Михайлыч! — Он покачал головою. — И знаете ли, отчего это? Оттого, что вы не понимаете характер Лидии Васильевны. Видите ли... — Он погрузился в размышление. — Видите ли, вам надобно понять ее характер. Ну что, как вы нашли Париж? Поумнели тамошние республиканцы после уроков, которые получили в 1848 году и 2 декабря?

Нивельзин в свою прежнюю поездку, когда прожил в Париже довольно долго, сошелся с некоторыми из немногих уцелевших там предводителей решительной демократической партии. Теперь он опять видел их; видел и некоторых французских изгнанников в Англии. У него было много рассказов на вопросы Волгина. Так они проговорили о Франции до часу. В час Нивельзин встал и ушел, как ни упрашивал его Волгин посидеть еще.

Проводив Нивельзина, Волгин тотчас лег спать, зевая самым многообещающим для сна образом. Но оказалось, что не спится. Пробило два часа, все еще не дремалось. Он встал с большим неодобрением себе, покачал головою, опять надел халат и сел писать. Пробило шесть часов. Он рассудил, что пора снова попробовать, не уснется ли, и действительно заснул довольно скоро.

— Я сердита, — этими словами встретила Волгина Нивельзина, когда он на другое утро явился, по уговору, провожать ее на прогулку. — Я очень сердита, отчасти и на мужа, но больше на вас. Он такой человек, что я уже и отступилась от него: не может не упрашивать: «Посидите», — по его мнению, этого требует деликатность. А на вас я надеялась, что вы исполните мою просьбу. До каких пор вы сидели? Он все еще спит.

Нивельзин оправдался: он ушел в час, как она приказывала ему.

— Значит, он после вас таки принялся работать! Это еще хуже. Лучше бы вы были виноват. Надобно будет бранить его. Ах, если б это помогало! Давно он был бы самым послушным человеком! Ступайте, велите Наташе принести шляпу и перчатки. Да, вы еще не знаете, куда идти, — налево и опять налево.

Он пошел, принес перчатки и шляпу. Она заставила его любоваться на шляпу, которая очень мила; он согласился.

В передней сидела Наташа, чтобы подать пальто и запереть дверь.

— Прислушивайся, как проснется Алексей Иваныч. И если заставишь его долго ждать чаю или напоишь холодным, я надеру тебе уши так, что будут гореть весь день.

— Да от кого еще узнаете, если дам остыть самовару? Авдотью попрошу, чтобы не выдала меня.

— А на Алексея Ивановича ты уже надеешься, что он не скажет? Видите, Нивельзин, какой он у меня человек: Наташа, глупая девчонка, и та понимает, что нельзя так жить на свете! — Она вздохнула. — Иногда с ним смех; больше скука, даже горе.

— Ах, господи, что вы говорите, когда сами знаете, что дай бог, чтобы все мужья были такие! — не могла не вступиться Наташа.

Погода была очень хорошая. Волгина стала говорить, что когда устанет, возьмет коляску, и они поедут кругом города; что после верховой езды самое любимое ее удовольствие — кататься. Теперь она может всегда доставлять его себе: деньги на это есть. Потом она расспрашивала Нивельзина о его родных, особенно о матери. Потом опять говорила о верховой езде, восхищаясь тем, что на следующее лето опять будет ездить верхом, рассказывала, какие лошади были у нее в

старину, радовалась тому, что года через полтора опять у нее будут свои лошади. Потом опять слушала, какая деревня у Нивельзина. Они много раз прошли по Невскому.

— Начинаю уставать,— сказала она. Но, заговорившись, ходила дольше, нежели думала.— Брать ко­ляску на полтора часа не стоит: жаль денег. Зайдем в Гостиный двор, там отдохну.

Она зашла в одну лавку, в другую, в третью. Купцы были ее приятели. Они приносили ей складной стул, если в лавке не было дивана. Они потчевали ее чаем, если пили. Она велела пить Нивельзину. Она толковала с купцами о их семейных делах. Они показывали ей новые товары, хоть она и говорила, что пришла не покупать, а в гости к ним.

— Успеем зайти еще в гости? — сказала она, выходя из третьей или четвертой лавки. — О, уже почти четыре часа! Пора домой! Очень скучно было вам, Нивельзин, в Гостином дворе? Ах, я забыла, что влюбленные не могут скучать!

— Я несколько скучал, — сказал он.

— Уже скучали? Это утешительно! Видите, как скоро проходит, даже скорее, чем я думала; и это немножко обидно мне.

Он стал серьезно говорить, что теперь его рассудок прояснился. Она прояснила его рассудок своим простым, беззаботным разговором и обращением. В самом деле, не надобно было придавать важности тому, что он был влюблен в нее. «Был», — будто это уже прошло! Быть может, еще не совсем. Но если еще и не совсем прошло, то он видит, что довольно скоро пройдет совершенно. Ему теперь грустно за себя, что он не понимал ее. Она должна извинить ему это, потому что он был человеком с испорченным сердцем. Но он чувствует теперь, что это не было сродно ему, потому что ему так легко было сознать нелепость, мелочность, пошлость, варварство понятий, которые он должен отбросить. Они были внушены ему обществом. Но не проникли до глубины его души: он чувствует, что в его сердце воскресли чувства, достойные порядочного человека. У него только недоставало силы самому сбросить с себя иго азиатской дикости. По диким привычкам общества, молодой человек непременно должен волочиться за молодою женщиною, если сближается с нею; она, если не отталкивает его, не-

пременно хочет, чтобы он волочился за нею. Но это — пошлый азиатизм, хоть он и пришел к нам из Европы; это — продолжение гаремных нравов под формами цивилизации. Разве единственная жизнь женщины — любовные интриги? Так, но только в гареме. И разве мужчина — животное, не знающее других радостей, кроме тех, каких азиатец ищет в гареме? Так, но только пока мужчина — тиран, сам подавленный рукою другого тирана. Он воображал себя цивилизованным человеком и не понимал, что молодая женщина может говорить с молодым человеком просто как человек с человеком...

— О, боже мой! — заметила она, засмеявшись, когда они подходили к ее квартире. — От Гостиного двора до Владимирской описываете ваше исправление, и все еще не кончили! Вы обманывались и обманули меня, сказавши вчера, что не можете писать статьи для Алексея Ивановича. Вы напишете все это, и выйдет статья, длинная, как те, которые пишет Алексей Иваныч. Не нужно вашей руки — я еще никогда не ходила столько, — посмотрим, трудно ли будет взойти одной на лестницу. Нет, давайте руку, устала. Но все-таки хорошо, что могла сделать такую долгую прогулку и опять легко дойти от Гостиного двора сюда. На следующее лето можно будет ездить верхом. Встал Алексей Иваныч? Давно? — обратилась она к Наташе.

— В третьем часу, в половине. И чай был самый горячий, Лидия Васильевна.

— Ах, что за глупая девчонка! Она воображала, что я в самом деле не надеюсь на нее!

— Нет, я понимаю, Лидия Васильевна, что если бы вы не надеялись на меня, то не ушли бы, а сами бы дождались, — убедительным тоном возразила Наташа.

— А если понимаешь, то чем же хвалишься? Вот, хоть бы с нее ты брал пример, — обратилась она к мужу, который шел встречать. — Ей, что я скажу, она все так и делает. А ты? Не совестно?

— Ну, что же, голубочка! — жалобно запел муж.

— Стыдись. Давай скорее обедать, Наташа. Я проголодалась. Помнишь ты моего приятеля, Романа Дементьича? Да он бывал и здесь, — помнишь, немножко рябой? Зовет меня быть крестною матерью. Обещала.

— А, помню! Знаю твоего Романа Дементьича, — с неподдельным удовольствием сказал муж; действительно, он мог обрадоваться Роману Дементьичу: значит, выговор кончился.

Волгин был в отличнейшем расположении духа за обедом; жена так легко простила ему сон до третьего часа дня. Он впал в остроумнейшее настроение. Он восхищался собою — когда он бывал остроумен, он больше всего любил восхищаться собою.

Эта тема была неистощима. Действительно, он потешался над собою от души, и многие подвиги его ловкости, сообразительности, находчивости были очень забавны. Нивельзин смеялся.

Но для Волгиной забавные рассказы мужа не были новы. Сначала она слушала, потом перестала слушать.

— Голубочка, задумалась? О чем? — сказал Волгин, заметивши наконец, что она не смеется.

— Думаю о том, что в самом деле ты не мастер устраивать свои дела. С каждым месяцем хуже. Бывало, когда ты поедешь просидеть вечер в типографии, я знаю, что ты кончил писать на эту книжку и можешь отдохнуть. А теперь и в этом ошиблась. Не оправдывайся. Я знаю, ты не забываешь мою просьбу беречь свое здоровье, не сидеть по ночам; и если не всегда соблюдаешь ее, то лишь по невозможности. Но тем хуже, мой друг, что это необходимость. И сам ты виноват в этом своим неуменьем заботиться о своих делах. Зачем ты дал уехать Левицкому? Как можно было дать уехать ему?

— Да, это, точно, была большая ошибка с моей стороны, голубочка, — согласился Волгин. — Да, Павел Михайлыч, — обратился он к Нивельзину, — вот наше с Лидиею Васильевною горе; у всех у наших господ просвещателей публики чепуха в голове, пишут ахинею, сбивают с последнего толка русское общество, которое и без того уже находится в полупомешательстве. Нет между ними ни одного, которого бы можно было взять в товарищи. Поневоле принужден один писать все статьи, которыми выражается мнение журнала. И не успеваю. Нет человека с светлою головою, да и кончено. Нашелся было один; Лидия Васильевна так была рада! — а он взял да и уехал, — выпустил я его; ждал и не дождался, когда приедет.

— Хоть бы отвечал, по крайней мере, когда приедет! — сказала Волгина. — Давно бы пора быть ответу, — что ж он молчит. Я писала ему так, что он не мог не отвечать мне. Я думаю, мой друг: дошло ли до него мое письмо? Не затерялось ли?

— Очень возможная вещь, — согласился Волгин.

— Он мог уехать еще куда-нибудь из Харькова, — продолжала Волгина.

— Очень может быть, голубочка, — согласился муж.

—Надобно написать к нему опять и, кроме того, спросить у его родственника, который гувернером у Илатонцевых.

Волгин сильно раскашлялся.

— Что с тобою? Не простудился ли, мой друг?

— Нет, не простудился, голубочка, только поперхнулся, — успокоил муж.

— Нивельзин, будьте мил, съездите завтра в дом Илатонцева, на Литейной, узнайте, приехали ль Илатонцевы; если да, спросите гувернера, Левицкого, не знает ли он, где теперь его родственник, Владимир Алексеич, — будете помнить, — Владимир Алексеич? Но если и не запомните имя, все равно, помните только: молодой человек, который нынешнею весною кончил курс в Педагогическом институте, — где он, что с ним, куда писать ему: гувернер должен знать, они хороши между собою, потому что этот Владимир Алексеич рассказывал и о нем, и об Илатонцевых; а если Илатонцевы и гувернер их не возвратились, привезите по крайней мере адрес, как написать этому гувернеру.

— С удовольствием, — сказал Нивельзин.

Волгин имел время обдумать дело со всех сторон, потому что был необычайно быстр в соображениях. Соображений было очень много, но вывод из всех один: ни одно никуда не годится. Продолжать обман невозможно. Он должен признаться Лидии Васильевне, что обманывал ее, что сам удалил Левицкого из Петербурга, что адрес в Харьков был фальшивый, что Левицкий, гувернер Илатонцевых, именно и есть Владимир Алексеевич Левицкий, его Левицкий. Это неизбежно; иначе, все равно, правда откроется через несколько дней. Одно оставалось не решено: как объяснить Лидии Васильевне мотивы, по которым он так поступал. Тогда она была так страшно взволнована, едва он начал говорить. Не придумывалось, как сказать ей. Но время терпит.

Илатонцевы еще не вернулись в Петербург. Что-нибудь придумается.

Волгин вооружился храбростью, и, похвалив Лидию Васильевну за то, как вздумала она сделать, он снова стал балагурить на прежнюю тему. Конечно, не все его рассказы о своих неловкостях и промахах были одинаково забавны. Но много было действительно забавных и, во всяком случае, нимало не уступавших тем, над которыми прежде смеялся Нивельзин. Теперь Нивельзин не смеялся, лишь иногда улыбался будто принужденно, да и невпопад. Конечно, Волгин не скоро заметил это, но все-таки наконец заметил, при всем своем неуменье наблюдать.

Взглянуть бы на Лидию Васильевну, — но, разумеется, незачем и смотреть: она, конечно, заметила и поняла, если даже и он заметил и понял. Как ему было поступить? Он был неловок до смешного, но он сделал, как достало у него уменья, и надобно сказать, что нельзя было ожидать от его обыкновенной находчивости даже и такого оборота.

— Ну-с, вот каков я молодец, — похвалил он себя, кончив анекдот, который рассказывал во время этого раздумья. — Ловкий человек? Вы думаете, вероятно, и нельзя увидеть такого другого? Но вот приедет Левицкий, будете видеть двух таких. Помнишь, голубочка, его наружность или забыла?

— Помню, — сухо отвечала жена.

— Но если бы ты знала, какой он неловкий! Даже мне смешно, уверяю. Поверь, не лучше меня.

— Бери еще пирожного, ты любишь это пирожное, — сказала жена.

— Хорошо, голубочка, — сказал Волгин, взял столько и стал есть с таким усердием, которое сделало бы честь очень хорошему обжоре.

— Я встречался с Илатонцевым, когда бывал в обществе, — сказал Нивельзин. — Это один из немногих людей аристократического круга, которых я искренне уважаю, и я очень рад случаю, который, быть может, сблизит нас. — Нивельзин был опять весел и сделался разговорчив.

Наташа принесла самовар. Наливши мужу и Ни- вельзину по второму стакану, Волгина встала.

— Если будете пить еще, то наливайте сами. До свиданья, Нивельзин.

— Голубочка, сыграй что-нибудь, — сказал муж.— Ты устала, должно быть; но для меня сыграй что-нибудь — пожалуйста, голубочка.

— Нет, я не чувствую усталости; но я не расположена играть. — Она пошла.

— Для меня, голубочка, пожалуйста. Часто ли я слушаю, когда ты играешь? Пожалуйста. Ты сама говоришь, что у меня слишком мало развлечений, так не откажи в развлечении, когда мне хочется развлечься.

Она пошла в зал и села за рояль. Сначала оставалась холодна, потом увлеклась. Она не могла быть виртуозкою, потому что не имела хороших учителей, да и мало училась. Притом почти три года в Петербурге она не имела рояля, — он был куплен еще не очень давно. Но она играла недурно и любила музыку.

Когда она стала играть какой-то романс, Нивельзин попросил у нее позволения петь. «Пойте», — сухо отвечала она. Но он пел хорошо, и она стала слушать его с удовольствием.

Мало-помалу она сделалась разговорчива, и Волгин рассудил, что может уйти.

— Будьте снисходительны ко мне, — сказал Нивельзин. — Мое сумасшествие проходит, но оно еще не совсем прошло. Не сердитесь на больного.

— Я еще не так сильно расположена к вам, чтоб могла сильно сердиться, — сказала она. — Но идите к Алексею Иванычу или уходите. Я села играть только для него. Мне не хотелось. До свиданья.

Она ушла. Нивельзин пошел проститься с Волгиным. Волгин попросил его сесть и курить, посадил, не слушая его отговорок, и начал:

— Вчера, Павел Михайлыч, я хотел предупредить вас — вероятно, вы и заметили; но, знаете, рассуждал и то, что, может быть, нет никакой надобности в этом. Остановило меня и то, что не мастер я вести разговор как следует, чтобы не выходило неловко. Думал: пусть он получше ознакомится с нами; а то, пожалуй, мои слова покажутся ему странны; раньше времени не следует ничего делать. Нельзя и спорить — прекрасное правило: делай все вовремя. Одним оно дурно: обстоятельства не ждут, чтобы нам пришла пора делать что-нибудь, заставляют приниматься за дело прежде времени. Оттого-то всегда у всех народов и выходит чепуха. Возьмите вы наш вчерашний разговор о 1848 годе. Как

я бранил французских демократов за то, что они сочинили февральскую революцию, когда общество еще не было приготовлено поддерживать их идеи. Так-то оно так; разумеется, вышла мерзость. Но только не они сочинили февральскую революцию — обстоятельства так шли, что заставили их волею-неволею участвовать в сочинении глупости... — Волгин задумался. — Так вот оно и у нас. Толкуют: «Освободим крестьян». Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что выйдет? Сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально, что испортишь дело, выйдет мерзость... — Волгин замолчал, нахмурил брови и стал качать головою. — Эх, наши господа эманципаторы, все эти ваши Рязанцевы с компаниею! Вот хвастуны-то, вот болтуны-то, вот дурачье-то! — Он опять замотал головою.

Вероятно, Нивельзин ждал не рассуждения о февральском перевороте и отмене крепостного права; и, вероятно, был мало расположен сосредоточить свое внимание на вопросе о силах и способностях русских эманципаторов. Но слова Волгина звучали таким ретроградством, которое было нестерпимо человеку с горячими стремлениями к добру. Волгин выслушал его возражения, помотал головою:

— Это и прекрасно, если все так. Но, само собою, не в том дело. Натурально, я говорил о ваших господах эманципаторах только для примера, что нельзя бывает ждать, пока придет пора. А так ли оно или нет, конечно, можно спорить. Например, умно или глупо я сделал вчера, что рассудил: лучше подожду. Поговори я с вами вчера как следует — могло бы не выйти нынешней неприятности. Значит, можно сказать: сделал глупо, что не говорил. Но с другой стороны: вчера вы подумали бы: «Что такое? С какой стати?» — а теперь поймете, что я говорю дело, будете помнить, будете так и держать себя. Значит, если хотите, можно и оправдать меня, что не говорил, пока не представился хороший случай. — Он встряхнул головою и продолжал, разгорячаясь собственными словами от вялости до того, что под конец ему стало трудно сдерживать голос. — Вот что, — начал он вяло. — Что такое значит иметь доверие к человеку? То, что вам нет надобности понимать его по-

ступка, чтобы знать: он не поступает дурно. Например, почему я говорю с вами? Не понимаете, наверное не понимаете, натурально, вам кажется очень странно. Не понимаете, согласен. Но знаете, что я не имею в мыслях никакого коварства. Так или нет? Знаете это? Ну, и не ошибаетесь, разумеется. Потому что я не дурной человек. Можете ли вы забыть это, при каких бы то ни было недоразумениях с вашей стороны? Не можете. По необходимости, всегда будет вам думаться: «Я не понимаю, почему Алексей Иваныч поступает так; но тут не должно быть ничего дурного». Так или нет? — Голос Волгина поднимался. — Так или нет? Ну-с, так помните же, что есть люди лучше меня. Помните это. Больше никогда ничего не надобно вам знать. Знайте это, и довольно. Так: знайте это, и довольно. Да. — Он остановился, заметив, что если продолжать, то будет слишком громко, вздохнул, мотнул головою, и этого было довольно, чтобы возвратиться к обычной вялости. — Да, Павел Михайлыч, — продолжал он флегматически. — Мало ли бывает случаев, что мы не можем понимать, пока не узнаем подробностей? Тут надобно не пускаться в фантазии, а когда знаете человека за хорошего человека, то просто надобно думать: «Не знаю и знать не хочу, пока не случится узнать». И узнавать не надобно: нечего узнавать, когда не говорят вам, — значит, нет ничего любопытного для вас. И думать нечего: значит, дело не касается вас, и не должно касаться, — значит, и нечего думать. — Он погрузился в размышление. — Само собою, мы говорим о частной жизни, о личных отношениях. Общественные дела — совершенно другая история. В них, вы гражданин, давай отчет; не мое дело, общественное, подавай отчет. Например, как частный человек, я говорю вам: «Одолжите мне десять рублей из вашего кармана» — спросите ли, на что? Потребуете ли расписки? Если я захочу дать — не возьмете; напишу и дам — изорвете. Но: «Дайте мне десять копеек из общественной суммы». Другая материя. «На что тебе?» — «Я хороший человек, можете быть уверены, употреблю с пользою для общества». — «Дудки, братец, говори, на что?» — «А без расписки можете дать? Я не вор, не отрекусь».— «Дудки, милашка! Вижу, что ты не вор, — проваливай! Господа! помогите проводить мошенника в шею!» — Волгин залился руладою в поощрение своему остроумию, перевел дух и флегматически сказал: — А ну их

к черту, и общественные дела, и наших либералов! Все забываю из-за них о том, что говорю. И вас-то, я думаю, смешу: «Эко, не может видеть, — вы думаете, — не может видеть, что я жду от него, что ж это за штука такая насчет Левицкого».

— Нет, я не жду этого; я не хочу знать ничего, — с порывом отвечал Нивельзин.

— Ну, да все равно поедете спрашивать в дом Илатонцева, там открылось бы: Владимир-то Алексеич Левицкий, которого мы не знаем, где найти, — он-то именно и есть, разумеется, гувернер, у которого мы хотим спрашивать, не знает ли, куда девался наш Левицкий! Это удивительно! — высказал Волгин свое мнение о такой штуке и покачал головою. — Это удивительно, какую историю я сочинил! Илатонцевы-то еще не вернулись из деревни, и его нет еще в Петербурге, натурально. Но все равно, не могло бы скрыться от вас: как спросили бы у швейцара или у кого там, так и сказали бы вам: «Владимир Алексеич еще не приехал». Чего ж тут? Не могли бы вы не увидеть, в чем штука. Да и скрывать-то теперь бесполезно: дальше тянуть нельзя. Скажу Лидии Васильевне. Натурально, неприятно. Ну, да нельзя теперь.

Нивельзин был совершенно согласен с мнением Волгина, что «это удивительно». Он удалил из Петербурга человека, который был незаменим для него, обманывал жену, которая интересовалась этим человеком только по заботливости о муже, подрывающем свое здоровье чрезмерною работою, — жену, которую безгранично уважал, — отправлял письма с фальшивым адресом, чтобы продлить обман. Что же заставило его делать так?

— Эх, Павел Михайлыч! — Волгин покачал головою. — Мало вы знаете человеческие слабости; например, до чего может доводить человека самолюбие. — Волгин вздохнул.— Конечно, совестно признаваться, да нечего делать.

— Вы хотите сказать, что удаляли от литературы соперника по таланту?

— Видите, вы не совсем удачно выразились. Литературного таланта у меня нет. Я пишу плохо. Длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство — но важное, важнее всякого мастерства писать — состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи.

А у него, кроме этого достоинства, есть и талант. Огромный.

— Вы увлеклись авторским самолюбием — как верить после того, что вы сейчас сказали? Какое самолюбие в вас?

— Ну, не самолюбие, то зависть — как там это назвать, все равно; вещь непонятная, — с флегматическим цинизмом отвечал Волгин. — Впрочем, само собою, это только сущность дела, а оболочка на нем, натурально, хорошая: что же я за дурак, в самом деле, чтобы не найти благовидного предлога? Вы знаете, начинать писать рано — значит, истощать свой талант. Опять же: писать и учиться — одно с другим плохо уживается. Готовься, готовься! Руссо готовился сорок лет, потому и мог сказать что-нибудь свое, глубоко обдуманное, дельное. А возьмите вы Дидро, Вольтера: может быть, были и не глупее Руссо, но принялись строчить, когда еще борода не росла — и прекрасно строчили, только своей мысли ровно ни одной. Левицкому только двадцать один год.

— Я не так хорошо знаю историю литературы, чтобы спорить с вами, — сказал Нивельзин. — Но мне кажется, ваше мнение утрировано. У кого есть охота учиться, не может не продолжать учиться и сделавшись писателем. У кого есть самобытный ум, тот не лишится оригинальности только оттого, что не будет жечь своих бумаг до седых волос.

— Видите, я и не говорю, что мое мнение справедливо; я вам говорю только, чем я могу объяснить то, что удалил Левицкого. И если сказать правду, должно быть, я сам чувствую, что это вздор, когда не говорил Лидии Васильевне. Натурально, какой ответ? «Что ты городишь вздор?» Ну, и промолчал — и дошел до того, что стал обманывать. Разумеется, побранит. Скажет: «Глупо, мой друг!» Натурально, глупо. Ну, да все это неважно, разумеется. — Волгин погрузился в размышление и выразил его результат: — Разумеется, не имеет большой важности. Глупо-то, глупо, не спорю. Но только и всего. — Он помолчал. — А что, скажите, Павел Михайлыч, я думаю, для вас очень странно, что Лидия Васильевна вышла за меня? Согласен с вами, это странно — видеть меня подле нее. И скажу вам...

— Не приписывайте мне того, чего я не думаю, — заметил Нивельзин. — Вы некрасив и неловок, конечно, вы были совершенно беден. Вы хотите сказать, что она могла бы выбрать между женихами гораздо лучшими, нежели вы? Но в ком нашла бы она такого преданного друга? Я не нахожу ее выбора странным.

— Это правда, — согласился Волгин. — Конечно, я осуждаю ее. Но, в сущности, не могу сказать, что она ошиблась.— Он помолчал и размыслил: — Действительно, нельзя осуждать ее, потому что, это правда, я не могу сказать, что у меня нет большого уважения к ней.

Нивельзин стал прощаться, говоря, что был до глубины души тронут искренностью его расположения.

**Глава четвертая**

Нивельзин был из хорошей фамилии, имел порядочное состояние. Но он не принадлежал к высокой аристократии, не был даже и в родстве ни с одной из вельможеских фамилий. Бывая в свете, он попал в некоторые из первых домов Петербурга, но лишь в некоторые. В других он не бывал и довольно мало знал о них, если не интересовался спросить; а в те времена у него был один интерес — волокитство.

Ему не случилось тогда быть близким ни с кем из близких Илатонцева. Он знал этого аристократа за честного и доброго человека. Когда они встречались, они здоровались, иногда обменивались несколькими словами.

Великолепный швейцар сказал ему, что Виктор Львович не думает возвращаться в Петербург раньше нового года; но что Алина Константиновна в Петербурге и у себя. Не угодно ли ему пожаловать к Алине Константиновне — может быть, от нее узнает он что-нибудь больше, хотя едва ли. Кто Алина Константиновна? Сестра покойной супруги Виктора Львовича, фрейлина Тенищева. Нивельзин вспомнил, что действительно есть на свете какая-то фрейлина Тенищева; что это за особа, он не умел вспомнить. Вы говорите, что она едва ли знает больше вашего; да мне и не нужно знать ничего, кроме того, что Виктор Львович долго пробудет в деревне, да того, где эта деревня, как адресовать письмо к нему; а это и вы скажете. «Все равно, не угодно ли пожаловать к Алине Константиновне? Они

будут очень рады, и могут знать что-нибудь больше моего». В самом деле, быть может.

В передней было два лакея, по-видимому, даже порядочные люди, каким казался и швейцар. «Доложите Алине Константиновне Тенищевой; скажите, что я хочу спросить...» — «Все равно, скажите ей; пожалуйте», — отвечал один из лакеев, а другой уже понес карточку Нивельзина. «Неужели фрейлина Тенищева так любит гостей?» — подумал Нивельзин.

Дверь огромной, роскошной гостиной отворилась; из-за стола, нагруженного множеством серебряной позолоченной посуды, открыла себя, отбросивши большой веер, полная, очень полная, белая и румяная, очень белая и румяная, женская фигура, в бальном платье, очень, очень открытом. Фигура эта, имевшая лет сорок, была очень памятна Нивельзину: на редком из аристократических балов он не видал ее. Но хоть и видел десятки раз, увидел теперь, что не имел справедливого мнения о ее наружности: не считая необходимостью исследовать близко, он издали судил, что белизна ее плеч и румянец слишком полного лица имеют происхождение, обычное на фигурах, подобных ей; в чертах лица не видел ничего, кроме того, что они расплылись от излишней полноты, в бальном платье — ничего, кроме бальной формы, в его излишней открытости — обыкновенную претензию молодиться. Но она сидела одна, прельщать ей было некого — она, как видно, только что встала и умылась, да и умыванья, может быть, еще не сделала, по крайней мере еще не причесала волос, кое-как, едва пригладила их, может быть и не гребнем, а рукою, — и уже была в бальном платье: какие тут претензии, какие тут белила и румяна! Добрая душа сидела полуобнаженная для своего собственного удовольствия. И ни на плечах, ни на лице действительно не было подлога: Нивельзин смотрел теперь близко, при полном полуденном свете: ослепительно белые плечи и грудь не нуждались ни в каких белилах и еще были бы привлекательны своею свежестью, если бы не были слишком жирны. И румянец на лице был бы очень хорошего оттенка, если бы доброй женщине не было жарко, кожа была чиста и нежна. И тонкие черты лица были бы еще очень милы, если бы не так трудно было рассмотреть их в затопившей их массе жира, но жира еще свежего, не брюзглого.

— Нивельзин! Это вы! — воскликнула добрая полуобнаженная для собственного удовольствия женщина, отбрасывая веер и сильно колышась ослепительною грудью от усердного крика радости. — Это вы, Нивельзин! Я в восторге! Я жду, я заждалась вас! Как вам не совестно было не ехать, когда Ченыкаев столько раз обещал мне привезти вас! Как вам не стыдно было до сих пор не быть у меня, которая так дружна с Ченыкаевым!

Нивельзин старался вспомнить, кто бы такой мог быть Ченыкаев, но принужден был успокоиться на предположении, что это какой-нибудь ее приятель, сходный с нею тем, что его можно видеть везде и никогда никто не любопытствует узнать, кто он.

— Садитесь же, садитесь, mon chèr monsieur Nivelsine[[11]](#footnote-11), я так рада вас видеть! — Она хватала гостя за руки в совершенном восхищении. — Хотите мороженого? И скажите скорее, каково поживает Ченыкаев?

Нивельзин отвечал, что вернулся в Петербург очень недавно и не умеет ничего сказать о Ченыкаеве, что приехал к ней не по его приглашению, а по надобности узнать, долго ли проживет в деревне m-r Илатонцев.

— Мой beau-frère![[12]](#footnote-12) Мой милый, несравненный, очаровательный beau-frère! Скоро ли приедет он? О, скоро, скоро! Я измучилась тоскою в разлуке с ним! Я изнываю, я умираю от тоски, ожидая его! — заговорила она с неудержимым восторгом, и прежде, нежели Нивельзин улучил секунду сделать вопрос о разноречии ее сведений со словами швейцара, он узнал, что она действительно не может не умирать тоскою в разлуке с beau-frère’ом, потому что ее beau-frère так добр и умен — она описала его ум и доброту самыми бурными восхищениями и перешла к тому, что он и вообще очарователен, и даже очень красивый мужчина, несмотря на свои годы, — Юринька будет в отца: ах, если б m-r Нивельзин знал, какой восхитительный ребенок Юринька! Что за доброта, что за ум! Она описала доброту и ум Юриньки с тем же восторгом и теми же чертами, какими были изображены достоинства beau-frère’а, и начала описывать красоту Юриньки — вероятно, теми же чертами, но принуждена была остановиться, перевести дух. Нивель-

зин воспользовался этим долгожданным мгновением, чтобы сказать:

— Я хотел спросить... — Но мгновение уже умчалось. Тенищева перевела дух и барабанила:

— О Надине! О, вы увидите Надину! И тогда вы скажете, ослеплена ли я, восхищаясь моею Надиною, пристрастна ли я к ней, говоря, что... — Последовало изображение Надины, совершенно теми же красками, какими были наделены портреты ее отца и брата, при этом оказалось, что Надина очень похожа на отца и на двух княгинь, и пошла рисовка ее отца и обеих княгинь, потом родных этих княгинь, пока портретистка опять не задохнулась.

Прошел битый час, прежде нежели Нивельзин успел выспросить у нее, почему она скоро ждет своих родных, между тем как швейцар сказал противное, и убедился, что она не могла знать об этом больше, нежели швейцар: она давным-давно уехала из деревни, куда отвозила племянницу, с тех пор не получала из деревни ни одного письма и знает только то, с чем вернулись из деревни она и ее свита: в то время Илатонцев не думал вернуться скоро; дочь говорила, что рада была бы прожить в деревне всю зиму; beau-frère говорил, что, когда они соберутся ехать, известят управляющего домом. А пока добился, что нечего было и спрашивать у нее, Нивельзин узнал множество друзей beau-frère’а и самой Тенищевой: все, без различия пола и возраста, были совершенно похожи на beau-frère’а, Надину и Юриньку; и самого Левицкого, который тоже раз десять попадал на язык доброй женщины, невозможно было отличить ни от beau-frère’а, ни от Надины, ни от какого-то загадочного адмирала, не уступавшего ни умом ни добротою, ни даже красотою ни Юриньке, ни Надине.

Приехав с этими известиями к Волгиной, Нивельзин нашел ее очень серьезною. Он спросил, не продолжает ли она сердиться на него. «О нет, давно забыла. Вчера была очень сердита, но на полчаса. Потом хотела даже выйти заставить вас петь, потому что вы поете недурно, но вас уже не было. Муж рассердил меня этою своею глупостью с Левицким. Не то огорчило меня, что он лгал, — он всегда лжет, я не верю ему ни в одном слове; правда, это дело довольно важное, а он лжет только в пустяках, и я не могла предполагать, чтобы он обма-

нывал меня, когда я спрашивала о Левицком. Но я не сержусь на то, что он лгал; он и вчера опять солгал, когда стал признаваться: не захотел сказать правду. Но я поняла ее. Я вспомнила наши прежние разговоры с ним, и это огорчило меня».

Нивельзин был еще под слишком сильным влиянием вчерашних замечаний Волгина; вероятно, так; и, вероятно, не хотел думать о том, чего не понимает в ее словах. По крайней мере он не сделал никакого вопроса о прежних разговорах ее с мужем, воспоминание о которых огорчило ее.

Она поблагодарила его за справку об Илатонцевых, сказала, что не расположена смеяться, когда он стал рассказывать подробности своего визита; что она провела однажды целый вечер с дочерью Илатонцева, должна была даже оставить ночевать на своей даче эту девушку, брошенную теткою, которая умчалась объезжать знакомых; что поэтому она имела понятие о Тенищевой, но что вообще ей не хочется теперь ни говорить, ни слушать. Завтра это, вероятно, пройдет. Завтра она будет ждать Нивельзина. Они отправятся гулять, если будет хорошая погода; если нет, она попросит его петь, потому что он поет хорошо. Опять он будет обедать у нее. А теперь пусть он едет домой или пусть идет к Алексею Иванычу: Алексей Иваныч кончил работу, Нивельзин не помешает ему. Но она не придет к ним. Она не сердита на мужа, но ей грустно. Она любит быть одна, когда ей грустно.

Нивельзин пошел к Волгину. Волгин хохотал, слушая о портретной галерее Тенищевой. Потом, с неизменным своим глубокомыслием, стал объяснять, что хоть эта баба и добрая женщина, но страшная дурища, и доказал это чертами из ее поездки за племянницею в Прованс, как она пропадала по дороге туда и металась из угла в угол Европы на дороге оттуда.

Пришла Волгина.

— А как же, голубочка, ты сказала Павлу Михайлычу, что не придешь? — заметил муж.

— Было слишком грустно, — сказала она и ни разу не улыбнулась остроумным соображениям мужа о том, как, по всей вероятности, отплясывала эта дурища в Париже на загородных балах и как надували там ее разные милые господа, умеющие обирать подобных госпож. Нивельзин стал прощаться.

— И умно делаете, Нивельзин, что оставляете меня одну, — сказала Волгина. — Зайдите, пожалуйста, в мою комнату, скажите там Наташе, чтобы принесла Володю ко мне.

— Значит, сюда? — заметил муж, — А как же ты сказала Павлу Михайлычу, что хочешь быть одна?

— С тобою я все равно что одна.

— Вот слышите, Павел Михайлыч: меня даже и не считает за человека, — остроумно заметил муж; но она не улыбнулась и этой остроте, по его убеждению очень хорошей.

Прошло недели две. Нивельзин уже и не говорил Волгиной, что его сумасшествие прошло или проходит.

Было ясное утро. Хорошая погода в это время года бывает не так часто. Невский проспект наполнялся гуляющими.

Волгина и Нивельзин были в числе их, прошедши до Полицейского моста, шли опять к Аничкову и приближались к Пассажу.

— Ужасно! — вдруг сказал Нивельзин, перерывая свой рассказ о римском Corso. —Ужасно! Назад, Лидия Васильевна. С драгуном — это Тенищева. Бежим!

Волгина взглянула по примете, сказанной Нивельзиным.

Навстречу им неслась, об руку с драгунским офицером, толстая, белая и румяная приятельница непостижимого Ченыкаева и загадочного адмирала, не уступавшего красотою никому на свете, даже из женского пола, — неслась, разряженная в пух и в прах, в розовом платье с открытым лифом под расстегнутою белою атласною собольею шубкою, с целым садом алых и белых роз под светло-голубою шляпою, неслась быстро, порывисто, бурно, до того что и цветы тряслись, и полы шубки болтались: так стремительны были толчки, которыми подвигал добрую женщину ее размашисто шагавший кавалер.

Кавалер был мужчина лет тридцати, казавшийся приземистым, ниже своего настоящего роста от слишком широких плеч, широколицый, изжелта-бледный, с глад­кими длинными бледно-желтыми волосами, весь почти под цвет своему желтому воротнику. Какой бы ни был, мундир армейского драгуна плохо шел бы кавалеру такой пышной дамы. А на нем мундир был такой, что плохо годился и вообще для прогулки по Невскому:

пальто было с новым воротником, но само совершенно ветхое, из грубейшего сукна, ставшего жидким, чуть не тонким — так оно обносилось: чуть не дырявым рубищем обтянулось оно на громадных плечах офицера, ввалившись на яминах между костями, высовываясь пригорками по буграм костей, оно было узковато для этих страшных плеч, расщелилось на впалой груди; из-под него виднелся сюртук, заштопанный около петель. Не шло это под пару собольей шубке его дамы, но шло к широкому лицу его, мускулистому, выражавшему силу, но изможденному: под серыми глазами вырылись глубокие впадины, от широких ноздрей приплюснутого носа тянулись морщины до самых углов широкого рта с темновато-бледными губами, бледные щеки глубоко втянулись между массивными челюстями и массивно выдающимися скулами. По этим разъехавшимся и высунувшимся скулам, по этому низкому широкому носу, нижняя половина лица имела бы почти калмыцкий тип, если бы не белизна бледной, до желтого бледной кожи, если бы не густые желтые усы и если бы не навис над этим слишком плоским лицом крутой высокий лоб с целыми щетками бровей. Брови были так густы и щетинисты, что делали темную полосу, хоть были беловаты; лоб и брови так нависли над глазами, что глаза, хоть и большие, были бы едва заметны под ними, если бы были спокойны. Но хоть и были они полупохоронены под своим двойным навесом, они приковывали к себе внимание своею неугомонной подвижностью: из-под нависшего лба, из-под надвинутых бровей эти серые глаза бросали взгляды, полные дикой, пламенной энергии, взгляды быстрые, как молния, в один миг перебегавшие справа налево, вперёд, опять направо, опять налево. Драгун говорил с Тенищевой и впивался в нее своими огненными взглядами, но этими мгновенными, мгновенно повторявшимися взглядами: впиваясь в глаза ей, он в то же время впивался этими бегающими, как у дикого зверя на поиске добычи, взглядами во всех проходящих, во всех, в каждого и в каждую, и направо, и налево! Прицепивши к себе за жирную руку Тенищеву своею сухою, но толстою от широких костей рукою, он шел, шагая, шагая широко, порывисто, с размашистым поворотом плечами на каждом шагу, и торопливо семенившая ногами Тенищева с каждым его шагом дергалась одним плечом много вперед другого, тряхаясь и прыгая

на его руке, так что мотались и белые атласные полы собольей шубки, и светло-голубая шляпа со всем своим садом белых и алых роз. Но как ни раскачивались розы, как ни повертывался, подпрыгивая и подергиваясь вбок, весь ее корпус, глаза ее оставались неподвижно устремлены на впивающиеся глаза ее кавалера и широко раскрыты, так что были чуть не совсем круглые, и рот был полуразинут: бледно-желтый кавалер ее говорил, она слушала со вниманием и изумлением.

Он говорил; и хоть они были еще далеко, сквозь шум гуляющей толпы, сквозь стук несущихся экипажей, до Волгиной и Нивельзина уже долетали отрывки его речи: «Телесное наказание... строгость военной дисциплины... военно-уголовные законы в Англии... пятьдесят ударов палками... французская дисциплина...» Подпрыгивая и подергиваясь, Тенищева жадно ловила палочные удары и поглощала военную дисциплину.

— Бежим, пока еще можем спастись! — сказал Нивельзин, останавливаясь и отступая, чтобы повернуться назад.

— Бежать? Зачем же? — с полнейшим равнодушием отвечала Волгина, увлекая его вперед. — Идем, Нивельзин.

— Бежим, ради всего святого! Заклинаю вас вашею любовью к малютке, вашему сыну! Бежим, или я погиб, и вы со мною!

— Фи, какой трус! Идем смело на них! Неужели она отнимет кавалера у дамы, с которою незнакома?

— Вы смеетесь, а я предчувствую погибель! — сказал Нивельзин, поневоле идя вперед. — Эта женщина ужасна в своих стремлениях дружиться! Отнимет ли она меня от вас! Она способна на все! Она и вас возьмет в плен!

— Тише, она может слышать.

— Именем моей матери, именем вашего сына заклинаю, бежим, пока еще возмож...

— Кланяйтесь; она увидела вас и кланяется.

Нивельзин почувствовал, что рука Волгиной выскользнула из-под его руки, и услышал смех Волгиной уже позади. А перед ним, уже на самом носу у него, кивали белые и красные розы.

— Monsieur Nivelsine! Enchantée...[[13]](#footnote-13)

Что было дальше, несчастный не слышал: ум его затмился от шлепанья двух огромных алых роз о его подбородок; когда он опомнился, она добарабанивала «...ensemble, j’en suis sure»[[14]](#footnote-14). Так и есть! Она не только в восторге от встречи с ним, она уверена, что он пойдет с нею! «Посмотрим, удастся ли тебе, — с ожесточением подумал он, — удастся ли тебе забастовать меня!» И он раскрывал рот с намерением объявить, что он не гуляет, а спешит домой, дома его ждут важные, безотлагательные дела. Но пока он раскрыл рот, Тенищева уже кричала по-русски, бросивши французский:

— Рекомендую — это Нивельзин; Нивельзин, рекомендую вам...

— Соколовский, — договорил, перебив ее, драгун, опуская свой нависший лоб и поднимая из-под него и густых бледно-желтых бровей взгляд, впивающийся в душу. — Очень рад вашему знакомству, Нивельзин, — и в тот же миг Нивельзин почувствовал жгучую боль в кисти правой руки: кости хрустнули. Так усердно было пожатие нового знакомца. — Я слышал вашу фамилию, — продолжал он, и бледное лицо его сияло радостью. — Я также и читал ваши мемуары о теоретической формуле преломления луча в атмосфере и о периодическом изменении силы света звезды Алголь. Читал и записку в Comptes Rendus[[15]](#footnote-15) Парижского института о ваших наблюдениях на римской обсерватории. Все это хорошо, прекрасно, Нивельзин. Но еще лучше то, что я слышал о вас как о хорошем человеке. — Он опять нагнул лоб и опять впился в глаза Нивельзину взглядом, поднятым из-под нависших бровей, и опять кисть правой руки Нивельзина хрустнула со жгучей болью.

— Нивельзин, я не ошибаюсь, конечно: вы шли с вашею... — затараторила Тенищева, пользуясь мигом его молчания.

— Мы очень благодарны вам, Алина Константиновна, за то, что познакомились через вас, — немедленно перебил он ее тоном чрезвычайно кротким, симпатичным, ласкающим, но таким сильным, что поневоле приходилось ей успокаиваться, слушать и молчать: ее голос не был слышен за словами Соколовского. — И вот мы все трое — друзья, — продолжал Соколовский, и Ни-

вельзин почувствовал себя охваченным одною рукою нового своего друга, а другою новый его друг опять прицепил к себе Тенищеву. — И вот мы все готовы идти, Алина Константиновна, — с удвоенною радостью воскликнул друг, — и точно, все они пошли — все, потому что Нивельзин был сплетен в одно целое с Тенищевой, — крепкое, неразрывное целое.

— Я очень, очень рад случаю, который познакомил меня с вами, — продолжал новый друг, сияя любовью и радостью и ведя в охапке своих друзей. — Рад этому вообще, как знакомству с хорошим человеком: хорошие люди должны сближаться между собою, это мое правило. Есть у меня и особенная причина радоваться: вы бывший военный, вы имели репутацию одного из лучших офицеров русской армии. Ваше мнение по военным вопросам может иметь некоторый вес у военных властей; и будет иметь; будет иметь даже большой вес, когда вы будете высказывать его резко и настойчиво. Настойчивость, настойчивость! С настойчивостью можно добиться много хорошего, а я убежден, у вас не будет недостатка в ней, потому что дело стоит того. Вы будете полезны ему, обещаю вам, будете полезны. О, какая святая отрада, Нивельзин, чувствовать себя преданным работником какого-нибудь гуманного дела! Вы будете знать ее, обещаю вам! Я расскажу вам, зачем я в Петербурге. В молодости я не знал русских и не любил их...

— Вы не русский? Я принял вас за чистейшего русского.

— Я поляк. Но, правда, я хорошо говорю по-русски. Было время выучиться. Было время и узнать русский народ, и полюбить его. Это хороший народ, добрый, справедливый. В молодости, Нивельзин, я предполагал быть ученым. Тоже математиком, как вы. Судьба решила иначе — и вот, в тридцать лет, я сделался драгунским офицером. Но уже и прежде, уже года три у меня опять было время, была и возможность заниматься. Не тем, чем я хотел когда-то. Но все равно. Если нельзя работать над тем, над чем хотел, надо работать над тем, над чем можно. Я выбрал себе работу. Я военный; так или иначе, по своей ли воле или по капризу судьбы, я военный русской службы и сжился с жизнью моих сослуживцев; и полюбил их; за то, что судьба привела меня полюбить их, я благодарю судьбу. Я обязан

работать для их пользы, Нивельзин: каждый обязан работать на том поприще, на которое поставила его судьба, горька ли или сладка ему эта обязанность. Мне она сладка, потому что я мог полюбить тех, на пользу которых обязан работать. Я должен и хочу употребить все мои силы на улучшение участи русского солдата. Я думал, усердно думал о том, с какой стороны приняться за это дело, с чего начать. Я убедился, что первою, настоятельнейшею, основною реформою должна считаться отмена телесного наказания. При шпицрутенах и розгах солдат не может сознавать свое достоинство человека и гражданина; начальство не может не быть беззаботно, безрассудно, бесчувственно, деспотично, расточительно и развратно; солдаты не могут не быть каторжными, офицеры — палачами. Прежде всего надобно добиться отмены этого варварства; только тогда будут возможны другие серьезные улучшения...

Нивельзин был уже свободен: какая-то встречная группа давно заставила Соколовского опустить руку с тальи его пленника. Но освобожденный добровольно оставался в плену: бледный драгун глубоко заинтересовал его.

Это энтузиаст, конечно, но есть разные энтузиасты. Есть такие, у которых в голове нет ничего, кроме энтузиазма. Этот, кажется, не таков. Есть такие, у которых энтузиазм весь тратится на горячие речи, так что ровно ничего не остается для дела. Этот, кажется, не из таких: он думал и трудился. Действительно, чем больше слушал его Нивельзин, тем сильнее чувствовал, что бледный драгун не из таких энтузиастов, над которыми можно смеяться. Нивельзин чувствовал его обаяние.

Соколовский говорил и говорил, пламенно, неудержимо, и впивался в глаза Нивельзину восторженным взглядом, горевшим святою любовью; он говорил неудержимо, но пламенно лившаяся речь его, при всей восторженности чувства, была дельна, логична, исполнена фактов, была речью человека с железною волею, всецело посвятившего себя своему делу.

Три года он занимался этим вопросом в Оренбурге. Он заставлял выписывать книги. Он толковал со своими сослуживцами, чтобы узнать, до какой степени русские офицеры, от высших до низших, способны исполнять реформу, как солдаты будут держать себя, когда она совершится... Все, что можно было приготовить в Орен-

бурге, он приготовил. Теперь, по приезде в Петербург, он провел пять месяцев в архивах, собирая материалы, которых нельзя было достать из книг. Его материалы еще неполны, потому что ему еще не открыты секретные архивы, самые важные. Будут открыты, он добьется, и Нивельзин поможет ему добиться...

— Вы совершенно можете располагать не только моим влиянием на других, но и мною самим, — сказал Нивельзин.

— Само собою разумеется; я и не спрашивал, могу ли: я знал, что вы хороший человек.

Его материалы теперь еще неполны. Но они так мно­госторонни и обширны, что с ними можно начинать дело. Он уже начал бы его, но был несколько задержан в работе личными хлопотами. Он должен был поступить в академию Генерального штаба. Без того ему не было бы ни служебной, ни денежной возможности оставаться в Петербурге. Кроме того, для начальства очень важно ученое звание человека. Он должен был очень много хлопотать, чтобы ему позволили держать экзамен в академию: Нивельзин помнит, по правилам для этого нужно пробыть два года офицером, а он произведен в офицеры нынешнею весною. Чтобы сделали для него исключение, ему надобно было найти себе какого-нибудь влиятельного начальника, который захотел бы постараться. И вот он нашел. Переменил пехотный мундир на драгунский, чтобы поступить под начальство этого человека, был допущен к экзамену благодаря ему; и как бы думал Нивельзин, кто этот начальник и почему старался так усердно, что выхлопотал позволение, почти невозможное? Ученый или добряк, — по сочувствию к прогрессу или по любви к порядочным людям? Нимало; это фронтовик, грубый, закоснелый невежда, не имеющий в голове ничего, кроме фронтовой муштровки. Он очаровал этого генерал-капрала своим мастерством в делании на караул, в маршировке. Тяжела была наука вытягивать носок и казалась глупа; а вот ей он обязан тем, что он теперь в академии Генерального штаба, — следовательно, остается в Петербурге и может приняться вести свое дело.

Он принялся за него и пишет записку; конечно, в двух видах: будет настоящая записка, подробная, дельная. Но она будет тяжеловесна. У кого из важных людей достанет терпения прочесть ее? Потому будет и

другая записка, коротенькая. Он расскажет Нивельзину содержание большой записки. Он стал рассказывать; у Нивельзина исчезло всякое сомнение в том, заслуживал ли энтузиаст, чтобы сказать ему: «Располагайте и моим влиянием, и моим временем». Содержание записки было богатым сводом бесчисленных и глубоко обдуманных фактов, объяснявших вопрос со всех сторон. Тут была история дисциплины и боевой годности всех важнейших армий. История каждой армии доказывала, что телесное наказание портит войско, ослабляет дисциплину, ведет к проигрышу битв; что с отменою телесного наказания буйные мародеры обращались в послушных, верных знаменам солдат, армия трусов обращалась в армию храбрых. Рассматривался каждый факт, который мог бы казаться противоречащим этому, выводилось, что он не противоречит, а подтверждает. Приводились мнения десятков великих полководцев, замечательных военных администраторов, и оказывалось, что все они признавали превосходство армии без розг и шпицрутенов над армиею солдат с избитыми спинами. Подробно рассматривались все нравственные особенности русского войска.

— Больше половины этого у меня написано; когда кончу, мы прочтем, Нивельзин; вы укажете ошибки, недостатки, сообщите мне новые мысли, новые факты.

Нивельзин не видел ошибок в мыслях; думал, что и в обзоре фактов не будет пропусков; ему казалось, — все возможные доводы, все возражения предусмотрены и опровергнуты.

— Вам так показалось; я очень рад. Но вам так показалось на первый взгляд. Когда вы прочтете записку не раз и не два, вы найдете посоветовать многое. Вам надобно будет изучить эту записку, не жалея труда. Дело стоит того.

— Я буду делать все, что вы почтете нужным, — отвечал Нивельзин: скромность и дельность этого энтузиаста, его сильная, святая преданность делу согревала и Нивельзина. — Располагайте мною вполне.

— Я ждал от вас этого, потому что слышал о вас как о хорошем человеке. Вашу руку, Нивельзин.

Тенищева воспользовалась мгновением, на которое умолк ее укротитель, чтобы возобновить заглушенный им вопрос.

— С кем вы шли, Нивельзин? Это ваша неве...

— Да, с кем вы шли, Нивельзин? — перебил Соколовский.

— Это madame Волгина, — отвечал Нивельзин, произнося слово madame как можно вразумительнее для Тенищевой.

— Волгина! — воскликнул Соколовский. — Может быть, родственница литератору?

— Он ее муж.

— Вы знаком с Волгиным! Вы двойная находка для меня! Вы должны подружить меня с ним.

По первому его восклицанию Нивельзин уже предвидел это заключение. Оно необходимо вытекало из принципа: хорошие люди должны сближаться между собою. Притом же Волгин располагал журналом: как мог Соколовский не накинуться на такую привлекательную добычу? Но не грешно ли будет ввести в кабинет Волгина человека, заговорившего саму Тенищеву? Волгин смирен до беззащитности. Он не имеет духа никому дать заметить, что ему некогда. А Соколовский не очень слушался бы, если б ему и прямо говорить: «Извините, мне теперь некогда». С ним Соколовский будет экспансивнее, нежели с кем-нибудь: Соколовский так и говорит с первого слова, что хочет: «подружиться» с ним. Отговариваться бесполезно: Соколовский не затруднится и сам забраться к нему. Было одно средство спасти Волгина от беспощадного энтузиаста.

— Я позову к себе Волгина, если вы хотите. Когда у вас будет свободный вечер? Для него все вечера равны: все наполнены спешною работою. Он постоянно завален спешною работою, с утра до ночи. Но так и быть, я отниму у него один вечер, если это необходимо. Когда?

— Ныне же, о чем тут спрашивать? Нынешним вечером я хотел быть в доме, где надеялся встретить одного из членов совета военного министерства. Но для Волгина можно отложить это. Пришло, к нашему счастию, время, что журналист — сила, важнее всяких министров! Вы позовете его ныне вечером.

— Хорошо.

— Благодарю. — Соколовский схватил в свои ужасные тиски злополучную руку Нивельзина.

— Так это madame Волгина! — жадно уловила Тенищева возможность ожить из принужденной летаргии, — madame Волгина! Я уверена, что я слышала о ней, что кто-то звал меня к ней! Кто звал? Княгиня

Мосальская или баронесса Штраль? Или, скорее, баронесса Вейсгаупт?..

«Теперь можешь болтать, нечего бояться», — думал Низельзин. Вероятно, и Соколовский рассудил, что нечего опасаться, когда сказано, что madame Волгина, жена человека, который так жив и здоров, что будет ныне вечером у Нивельзина.

— Так, так! — начала успокаиваться от своих сомнений Тенищева, перебравши десяток дам, каждая из которых могла звать ее к Волгиной. — Так, я убеждена, что это говорила мне графиня Тарновская! Да, да: графиня Тарновская говорила, что очень дружна с нею и в восторге от нее! Милая эта графиня Тарновская! О, по ее словам, я очень хорошо знала madame Волгину. Так вот она, madame Волгина! А мы с Соколовским думали, что это ваша невеста! Ах, как жаль, Нивельзин, что мы ошиблись! Мы были так рады за вас! Мы...

— Алина Константиновна, — начал Соколовский внушительным тоном.

— До свидания, — сказал Нивельзин и пошел прочь.

В своей, как теперь оказалось, ложной беспечности они оба были застигнуты так врасплох внезапным возобновлением атаки, что, прежде нежели успели принять каждый свои меры, Тенищева успела уже довольно хорошо оправдать мнение Соколовского, что настойчивость достигает успеха.

Тогда Нивельзин утаил от Волгиной этот эпизод. Но в последствии времени мог и рассказать его, и признаться, что был взбешен.

Было еще рано возвращаться к Волгиным обедать. Да он и был не в таком расположении духа, чтобы спешить к ним. Он пошел по Невскому, в направлении, противоположном тому, в каком бросил идти Соколовского с Тенищевою. Но скоро его бешенство сменилось грустью, тем более горькою, что он и сердился на себя за то, что она овладела им. Вероятно, ему попадались знакомые. Он не замечал...

— Алина Константиновна раздосадовала вас, — раздалось у его уха. Это был голос Соколовского. Нивельзин оглянулся: так, не один Соколовский тут, по-прежнему висит на руке у него Тенищева. Пот лился с лица несчастной, лился ручьями: должно быть, скакала галопом в погоню. Сама скакала и мчала Соколовского, или он гнал ее? Но и то хорошо с его стороны, если только дозволил ей,

а не сам погнал! «А мне еще показалось, когда он останавливал ее умный язык, что он не совершенно отрешился от понятий: уместно и неуместно», — подумал Нивельзин, безжалостный в своем ожесточении. Но Соколовский преспокойно объяснялся, с основательностью, которая сделала бы честь самому Волгину.

— Алина Константиновна раздосадовала вас. Она говорит иногда лишнее, Нивельзин, говорит некстати, неосторожно и много вредит себе своим простодушием. Но дурные люди не бывают простодушны; вспомните это, Нивельзин.

— Помилуйте, Соколовский, с чего вы взяли ставить меня в такое неловкое отношение к Алине Константиновне? — отвечал Нивельзин, по возможности равнодушно. — Я простился с нею и с вами единственно потому, что в ту минуту мимо нас прошел один из моих друзей, которого надобно было догнать, чтобы переговорить об очень важном деле.

— Нет, нет! — вступила в свою роль Тенищева, захлипываясь от одышки и тем торопливее работая языком в интервалы. — Нет, нет, Нивельзин, не спорьте! Он го-хх-ворил мне, что вы будете отрекаться, но я знаю теперь, вы у-хх-шли потому, что рассердились на меня. Я не за-хх-метила, чем могла огорчить вас, да и не подумала, что хх-вы рассердились. Но Соколовский говорит правду. Пусть мы оба хх-думали, что это ваша невеста. Но не следовало спрашивать; спраши-хх-вать — значит, навязываться на интимность, а это не-хх-деликатно, говорит он, и это правда, я понимаю. Он два раза и останавливал меня, но я не догадалась. Еще непрости-хх-тельнее было, что я сказала, когда уже знала, что хх-мы ошибались. Я понимаю, что это должно было огорчить хх-вас. Но не сердитесь, Нивельзин: я не нарочно раздоса-хх-довала вас. У меня нет этой привычки, говорить что-ни-хх-будь нарочно в досаду. Я не умею этого, Нивельзин. Я хх...

Соколовский с одобрением глядел на нее: прекрасно говорит свой урок; понятливая ученица. Нивельзину было уже забавно: дура, — и человек очень умный; пустейшая, — и чрезвычайно серьезный; но пара, достойная друг друга: оба — люди золотого века в железном.

— Смею уверить вас, Алина Константиновна, Соколовский совершенно ошибался и понапрасну расстроил вас. Вы не сказали ничего неловкого.

— Нет, нет, когда он растолко-хх-вал, не обманете меня! Но я уверена и в том, что он при-хх-бавил: вы полюбите меня, когда больше узнаете. Вы тогда не будете прини-хх-мать в досаду, если у меня вырвется неосторожное сло-хх-во. А сказала от искренней души: как же не пожалеть...

— Бросим это, Алина Константиновна, — ласково, но незаглушимо вступился в дело гувернер, видя, что ученица выбивается из роли на свою дорогу, — Нивельзину неловко слушать ваши извинения, а вам нет надобности продолжать их, потому что он уже не сердится. Да, когда вы побольше узнаете Алину Константиновну, Нивельзин, вы оцените ее доброе, безгранично доброе сердце, бесхитростное, благородное. Она изумила меня младенческою чистотою своей души, юношескою пылкостью в сочувствии всему честному и полезному. По приезде в Петербург я долго пренебрегал возможностью познакомиться с нею. В числе двух-трех десятков рекомендательных писем мне дали одно к «фрейлине». Тенищевой. Согласитесь, чего хорошего искать во фрейлине, жалчайшем порождении испорченного порядка вещей? Фрейлина, пожалуй, пригодилась бы мне, подумал я, если бы могла слышать от меня пошлые нежности и найти удовольствие в них. Но с моею ли наружностью очаровывать пустых женщин пустыми комплиментами? К чему могла бы служить мне фрейлина? Я бросил письмо к ней. Но вот, недели две тому назад, вытаскивая из-под матраса грязное белье, отдать прачке...

«Творец небесный! Подкрепи меня выслушать, в какой штуке белья найдется письмо!» — подумал Нивельзин. Но случай был менее ужасен, нежели мог бы быть.

Вытаскивая из-под матраса рубашку, продолжал Соколовский, он ощупал в ней жесткий листок, тряхнул ее — выпало письмо. Он подумал над ним и решил: не изменять своему правилу, что везде, везде надобно искать хороших людей. Поехал к Тенищевой и, наперекор всякому вероятию, нашел в ней хорошего человека: и не только хорошего, чрезвычайно полезного. Она тотчас же взялась хлопотать за его проект...

«Но это, наконец, бог знает что! — думал Нивельзин. — Делать эту, положим, добрейшую, но пустейшую и глупейшую женщину двигательницею дела, такого серьезного, трудного, важного! Рассуждение о фрейлине при фрейлине и даже историю грязного белья я выдержал.

Но этого, если это будет продолжаться, не выдержу, кажется». «Это» продолжалось: Соколовский хоть и горячо по своей натуре, но с полнейшим спокойствием за здравый смысл слов радовался и радовался, какую ревностную помощницу нашел он в Алине Константиновне, пылко сочувствующей всему гуманному и прогрессивному... Нивельзин почувствовал наконец, что ему не остается выбора: расхохочется, если не остановить наивного энтузиаста.

— Но, я думаю, военно-уголовные законы были довольно чужды кругу занятий Алины Константиновны, и ваши мысли остаются несколько темны для нее?

— Конечно, прежде она не думала о возможности и важности этой реформы, — отвечал Соколовский как ни в чем не бывало. — Но она отдалась делу всею душою. Правда и то, что, попросив ее рассказать мне, как она передает свои убеждения другим, я заметил, что она не вполне овладела фактами, необходимыми для ее новой деятельности, и не совершенно отчетливо представляет себе связь между ними. Но тут нет ничего, чтобы надобно было отчаиваться: нельзя же упомнить все с первого раза. Я повторяю ей существенные доводы, и мы с нею будем говорить снова и снова, пока все станет ясно для нее. Терпение, — обратился он с одобрением к своей ученице. — Нужно только терпение, как оно и всегда, во всем необходимо человеку, желающему быть полезным. Я очень доволен ее терпением и внимательностью, — похвалил он ее Нивельзину, для лучшего ее поощрения.

Волгин заливался руладами, украшая множеством очень остроумных шуток рассказ Нивельзина о Тенищевой и ее учителе. Потом стал горячо благодарить Нивельзина, когда услышал, как избавляет его Нивельзин от нашествия Соколовского; при этом не упустил случая помотать головою и повздыхать о своей бесхарактерности, по которой не может защищаться от скучных посетителей, отнимающих у него время; не замедлил утешиться в этом замысловатою остротою, что Павел Михайлыч необыкновенно обидел его, принявши его за мокрую курицу, которая не могла бы сама отбиться от Соколовского, и после того стал опять заливаться на все возможные и невозможные для обыкновенного человече-

ского горла тоны, с несравненным и неистощимым остроумием поясняя Нивельзину и жене, какой смешной человек Соколовский. Нивельзин кончил рассказ, а Волгин все еще сыпал превосходнейшие шутки на эту тему и награждал себя за них самым усердным образом, пока не заболели у него бока от хохота.

— Я молчала, мой друг, потому что радуюсь, когда ты весел; хоть у тебя невыносимый голос, все равно рада, — сказала жена. — Но теперь замечу, мой друг, что вы с Нивельзиным слишком легко судите о наивности Соколовского. Он увлечен своими мыслями, поэтому делает и говорит много забавного. Но, судя по вашему же рассказу, Нивельзин, он вовсе не такой простодушный, каким вообразили его вы и Алексей Иваныч. Он искренен, благороден, предан своему делу бескорыстно, до самоотвержения — в этом смысле он простодушен, в хорошем смысле слова, но только в хорошем, никак не в смешном. Он умеет вести дела, и, по всей вероятности, он умеет понимать людей.

— В вашем характере нет насмешливости, и вы любите вступаться за тех, над кем смеются, — сказал Нивельзин, — Но...

— Позвольте, Павел Михайлыч, — не замедлил перебить его Волгин. — Согласен, Лидия Васильевна не насмешлива и любит вступаться, согласен. Но дело не в этом: точно, мы с вами несколько недоглядели. Она говорит правду. Соколовский — человек очень прак­тичный.

— Помилуйте, Алексей Иваныч... — начал было Нивельзин.

— Нечего миловать, Павел Михайлыч. Лидия Васильевна говорит правду. Если судить правильно, по всему видно, что он человек очень практичный. Подумайте- ка вы сам хоть о том, что он умел устроить свое дело о поступлении в академию, а вы сам знаете лучше меня, это было дело очень трудное. Все рассудил, все обработал. Как сделать? Надобно приискать сильного протектора. Что это, наивный или практический взгляд на вещи? И нашел и очаровал, — чем? Экзальтациею, благородством, умом? Нет-с, извините: на этом, говорит, далеко не уедешь с такими олухами, — покажу я ему, говорит, как я марширую и выделываю ружьем. Это наивность или практичность? Да и все разбирайте — во

всяком поступке то же; и результат берите: в четыре, в пять месяцев прапорщик — или в драгунах они называются корнетами? — оговорился он с обычною основательностью. — Прапорщик или корнет, без гроша денег, в заштопанном сюртуке, — куда пробрался? Сами сказали: «Буду на вечере, где увижу члена военного совета» — ого! Как вам это нравится? И по Невскому гуляет — с кем? С фрейлиною в собольей шубе! Тоже недурно для оборванного армейского прапорщика, недурно.

— Но, помилуйте же, Алексей Иваныч: эта самая Тенищева — в каком свете выставляется его практичность восторгом оттого, что он приобрел себе прекраснейшую, полезнейшую сотрудницу в Тенищевой! Пусть еще была б она молода, имела бы поклонников, — тогда, пожалуй, можно бы ждать какой-нибудь пользы от ее усердия. Но — пожилая женщина, никому не интересная, всем надоевшая пустою, невыносимою болтовнею, справедливо заслужившая у самых глупых людей репутацию, что она еще гораздо глупее их. Восхищаться ее усердием, ждать от нее пользы, — это имеет смысл?

— Для вас, Павел Михайлыч, это смешно, потому что вы не родились агитатором; и для меня это отчасти забавно, потому что я слишком вялый человек: знаете, я люблю смеяться над тем, на что не хватает энергии у меня. Агитаторы мне смешны. Но все ваши сомнения и мои насмешки ровно ничего не значат. Она пуста — так что же? И пустые люди в искусных руках бывают полезны, лишь были бы усердны. Он умел заставить ее усердствовать, и будет польза, потому что она скачет по его команде, — по глупости оступится, кинется в сторону, он поднял, повернул на дорогу, — и скачет опять, как ему надобно. Нельзя-с, умных людей не наберешь столько, сколько надобно орудий агитатору, он должен нянчиться и с глупыми. «Но никто не уважает ее». Пусть, а ему какая надобность? Все равно, когда это ей не остановка: лезет ко всякому и барабанит. «Но никто не слушает ее». Слушай не слушай, поневоле кое-что услышишь, когда трещит над ухом. Помилуйте, умными ли людьми пользуются умные люди, чтобы подымать шум? Нет, умные люди не годятся быть волынками: взял под мышку, налегай, волынка и дудит, — глупые удобнее для этой роли. Невозможно вести пропаганду

без помощи дураков и дур, ими все дело красится и цветет.

— В ваших словах много правды, — согласился Нивельзин.

— Нельзя, чтобы не было, Павел Михайлыч; и читал, и думал об этих нелепостях, — отвечал Волгин и задумался.

— Прибавь, мой друг, она живет у Илатонцева, — заметила жена.

— Это удивительно! — воскликнул он с ожесточением и покачал головою. — Всегда самое-то главное и оставлю без внимания! Само собою, Павел Михайлыч, все, что я говорил о пользе от языка самой Тенищевой, — мелочь, вздор. Натурально, некоторую пользу может принести, но совершенно незначительную. Конечно, у него не тот расчет. В чем же? Очень просто: он оседлал ее, сел верхом и поехал, — куда же, позвольте спросить, въехал он на ней? В салоны Илатонцева. Она верует в него, — потому он свой в доме Илатонцева. Приедет Илатонцев, — каким обществом наполнятся салоны? Члены государственного совета, министры, генерал-адъютанты. А он там свой. Как же вы полагаете: есть разница, мелкий офицер подает бюрократическим порядком докладные записки в руки мелюзге, или светский знакомый говорит с знакомыми в таком доме, куда они лезут с усердием и где он чуть не хозяин? А мы с вами: «Тенищева дура!» Кто же простяк, он или вы? О себе я не говорю.

— В самом деле так, — сказал Нивельзин.

— То-то же, — глубокомысленно подтвердил Волгин. Он был хорош тем, что если и не замечал иногда что-нибудь сам, — это иногда случалось, — то как только покажут ему, сейчас же замечал и усердно объяснял. В объяснениях он был так же силен, как в остроумии. — Да, — продолжал он, погружаясь в размышление. — Не знаю, сознательно ли руководится таким расчетом Соколовский или просто повинуется инстинкту своей агитаторской натуры. Вероятнее, просто инстинкт. Прет его инстинкт — он и лезет, как лунатик; но только, вы знаете, лунатик пробирается так ловко и верно, что самый отличный акробат не сумеет так пройти. Да, может быть, он так же непрактичен, как я, во всем, чего не подскажет ему инстинкт. Но в нем есть инстинкт поли-

тического деятеля, — качество, которого не найдете вы ни в одном из наших либералов.

— Думаешь ли ты, мой друг, что он понравится тебе? — спросила жена, начиная делать чай. Волгин любил пить чай после обеда.

— Это очень может быть, голубочка. Если сказать правду, я почти уверен в этом.

— Если он понравится тебе, ты не бойся, пригласи его, пусть бывает у тебя, и сам иногда заходи к нему, чтобы он видел, что его знакомство приятно тебе. Тебе нужно развлечение, и я была бы очень рада, если бы ты нашел хоть одного человека, разговоры с которым доставляли бы тебе удовольствие и отдых, а не скуку и утомление, как с другими. Не опасайся, что он будет когда-нибудь в тягость тебе. Пусть он совершенно не способен замечать сам, есть тебе время болтать с ним или нет; но наверное, он выше всякой мелочности. Если тебе некогда, я буду говорить ему: «Уйдите, мужу некогда», и он не будет в претензии; напротив, будет любить, что с ним обращаются искренне.

— Твоя правда, голубочка, — сказал муж, подумавши. — Ну, посмотрим. Если понравится, не буду уклоняться от него.

Пришел Миронов, с двумя или тремя товарищами. Стали сговариваться о том, чтобы устроить маленький концерт. Миронов хорошо играл на скрипке. У Нивельзина была скрипка: он сам был отчасти и виртуоз, кроме того, что порядочно пел. Послали за нею.

Волгин, напившись чаю, пошел в кабинет. Через полчаса вышел в зал, подождал, пока кончилась пьеса, и сказал Нивельзину:

— Сейчас мне вздумалось, не к Соколовскому ли относятся рассказы, которые я слышал от одного старичка поляка, присланного на житье в город, где я служил перед женитьбою и переселением в Петербург. Наружность, лета, характер, ссылка в оренбургские батальоны солдатом — все сходится у Соколовского с Болеславом, как называл старичок того своего родственника. Мне тогда не пришло в голову спросить фамилию. Полагал, тоже Зелинский, как звали старичка. Не случилось вам узнать, как имя Соколовского? Болеслав? И не рассказывал он вам ничего о деле, по которому был сослан?

Нивельзин отвечал: «Нет». Волгин стал делать другие вопросы: не случилось ли Соколовскому упомянуть,

откуда он родом? Не с Волыни ли? Был ли он в университете? И в каком? Не в Петербургском ли?

То и другое так, — припомнил теперь Нивельзин. Соколовский упоминал, что приехал в Петербург позже, нежели мог. Когда его выпустили из Оренбурга, он проехал на Волынь и зажился там дольше, нежели думал. Там у него мать, еще бодрая старушка, и сестра, больная, от самого детства почти не встающая с постели. По разговору его видно было, что перед ссылкою он жил несколько лет в Петербурге, а перед самою ссылкою уезжал на родину: он выразился, что его провезли мимо дома, где жили мать и сестра, и не позволили видеться с ними.

— Все это совершенно так. Очевидно было, Соколовский — тот Болеслав, о котором говорил Зелинский.

— Не мешай нам, — сказала Волгина мужу. — Или перестань говорить с Нивельзиным, и пусть он опять поет, или уведи его к себе: мы обойдемся и без него.

— Я пойду к Алексею Иванычу, — сказал Нивельзин. — Мне любопытно все, что относится к Соколовскому.

В 1848 году студент Петербургского университета, поляк, — не Зелинский, как прежде предполагал Волгин по ошибочной, но очень естественной догадке, а Соколовский, отправился провести каникулы на родине, на Волыни. Сам он не имел ничего: поместье его отца было конфисковано после восстания 1830 года, когда был и убит отец, собравший партию из крестьян, своих и соседних. Но разные родственники его благополучно остались помещиками. Их именья лежали вообще недалеко от галицийской границы. Соколовский был в гостях у одного из этих родных, именно у того самого Зелинского, который впоследствии рассказывал все это Волгину. У Зелинского был вечер. Прямо с вечера Соколовский поехал гостить к другому родственнику; поехал, по обычаю небогатых людей того края, на телеге или фуре еврея. Другой еврей, бывший во вражде с этим, донес на своего недруга, что он взялся провести какого-то студента-поляка за границу. Обвиненного еврея арестовали на дороге; также и Соколовского. Соколовского повезли в Петербург, и там решили: сослать в солдаты, в оренбургские батальоны, по подозрению в намерении уехать за границу. Буквально так было

сказано в решении. Зелинский справлялся и хлопотал; он имел тогда и деньги, и знакомых, — да и сам он пользовался уважением: его послали на житье в Россию уже годом позже, за то, что он помогал платьем и деньгами проводимым через Волынь полякам, взятым в плен в Венгерскую кампанию. В 1848 году на него смотрели еще хорошо. Ему нетрудно было узнать всю правду о своем родственнике. Буквально так: «По подозрению в намерении».

— По подозрению в намерении — сослать в солдаты! — повторил Нивельзин. — Замечательный приговор,

— Не столько замечательный, сколько прискорбный, — флегматически возразил Волгин. — Не замечателен, потому что в нем нет ничего особенного. Но огорчительно, что наши производители дел так плохо владеют пером по недостатку просвещения. Будь люди просвещенные, конечно, догадались бы написать иначе. Например: «По соображению обстоятельств, показывающих, что его поездка была исполнением замысла эмигрировать» — согласитесь, тут было бы все, как требует доброе приличие. «По соображению обстоятельств, показывающих» — не можете не понимать, что были улики. Правда, их не было. Но в приговоре и не говорилось бы, что они были. Истина не была бы нарушена. А все-таки нельзя было бы не понимать, что улики были. И дальше: «показывающих, что его поездка была исполнением замысла» — ого! Это уже не то, что «намерение». Намерение, согласен, вздор, пустая мысль; за мысли нельзя наказывать, наказывать строго — говорят одни, вовсе нельзя наказывать —говорят другие. Но «исполнение замысла» — это факт; преступление уже совершилось. Да, и все было бы прекрасно: обнаружен преступный факт; наказание справедливо. А они, как люди необразованные, брякнули: по подозрению в намерении — то есть безо всякого основания. Да, огорчительно: считаемся во всей Европе варварами за то, что не умеем вла­деть пером. Обидно, прискорбно. Но погодите, просве­тимся; будем выражаться благовиднее.

Нивельзин горько улыбался.

— Вы умеете быть зол.

— Я, зол? — Волгин покачал головою. — Я кажусь вам зол потому, что вы видите вокруг себя все только невинных младенцев; да и сам вы, извините, тоже невинный младенец. Умно то общество, в котором я

кажусь резким и едким! Я, цыпленок, — зол! Хороши птицы, среди которых цыпленок — ястреб! Невинные, невинные! — Он опять покачал головою. — Ну и что же? Вы действительно так невинен, Павел Михайлыч, что поверили: «по подозрению в намерении» — могли сослать в солдаты? Невинным людям воображаются везде оборотни, люди-звери. Людей-зверей нет. Нет таких жестоких людей, которые бы захотели делать вред, наносить страдание без надобности. Сослать в солдаты «по подозрению в намерении», сделать такой ничтожный и неопасный поступок, эмигрировать, — это невозможность, — само собою, это было только предлогом, пустым предлогом. Натурально, должно было быть и резонное основание. Оно осталось не высказано в приговоре, по необразованности не нашлись, как выразить его. А оно было резонное, справедливое.

Волгин бросил шутовство и стал опять рассказывать серьезно.

— Соколовский был арестован по подозрению в замысле, не имевшем ничего ни опасного, ни важного. Велик был бы убыток, если б юноша и хотел и успел эмигрировать! Кому страх от этого? А донос был голословный. Улик не нашлось. Поэтому люди, решавшие судьбу Соколовского, были расположены очень добродушно принимать его оправдания. Он оправдывался умно и успел убедить их, что донос был вздорною выдумкою. С ним стали говорить уже не как с подсудимым, а просто так, для препровождения времени, потому что кому же не бывает приятно потолковать о всякой всячине с умным человеком? Он рассуждал обо всем очень основательно, по мнению своих судей; приобрел их уважение, хоть был еще юноша. «Скажите, — стали они спрашивать его, — почему не все молодые люди имеют такой умеренный, прекрасный образ мыслей, как вы? Скажите, какие бы меры могли быть наиболее полезны для предотвращения развития безрассудного образа мыслей в молодых людях?» Он стал объяснять, что существенная причина увлечений неосновательными мыслями — недостаток основательных знаний. Наука стеснена, и молодые люди не имеют почти никакой возможности приобретать здравые политические убеждения. Надобно освободить мысль, и она сделается спокойною, мирною. Он отвечал с такою же искренностью, с какою спрашивали его; спрашивавшие, хоть не были привычны к подо-

бным взглядам, хоть не были люди образованные, но все же имели здравый смысл и житейскую опытность. Им казалось, что в его словах много справедливого. Пошли разговоры подобного рода, — и кончились тем, что друзья-слушатели Соколовского, к собственному прискорбию, увидели себя обязанными отправить его в Оренбург.

— Его обманывали, завлекали; говорили с ним только для того, чтобы запутать его! — сказал Нивельзин, — Хотели сослать, не имели улик и выманили из него какие-нибудь неосторожные слова!

— Обыкновенная манера наших прогрессистов; да и не наших одних! И в Европе тоже умны! Бросьте эту манеру, Павел Михайлыч. Консерваторы, даже реакционеры, вовсе не такие хитрецы и злодеи, какими воображают их либералы. Ни у кого не было охоты ссылать Соколовского. Думали освободить его. Но с обеих сторон поступили неосторожно: заговорились, увлеклись. Ошибка, согласен. Но ошибка очень естественная: они, вместо дикого революционера, увидели человека умеренного; он, вместо злодеев, увидел людей далеко не злых. Приятная неожиданность с обеих сторон — и поддались впечатлению, вообразили, что могут понимать друг друга. В этом и вся беда. Если бы врагами прогресса были только злые люди! Если бы в борьбе за него надобно было побеждать только интриги, коварства! О, тогда было бы так же хорошо, как если бы противниками консерваторов были только наши господа-либералы! Все шло бы вперед и быстро и спокойно. Консерваторы не затруднялись бы производить улучшения; чего же затрудняться, когда нет в перспективе ничего опасного ни для чьей головы, ни для чьего кармана? И жизнь народа облегчилась бы самым отрадным образом.

— По вашему мнению, могло бы, например, не быть убытка для помещиков от освобождения крестьян?

— Ну! Когда речь пошла об освобождении крестьян, со стыдом умолкаю, — остроумно отвечал Волгин и залился руладою. — Я уже имел честь докладывать вам, Павел Михалыч, что вся ценность всех помещичьих имений, по свободным рыночным ценам, не составляет полугоры тысячи миллионов. Государству, имеющему семьдесят миллионов жителей, затрудняться платежом каких-нибудь полуторы тысячи миллионов! Но я

докладывал вам, что помещики пальчики облизали бы, заплясали бы от восторга от получения суммы, несравненно меньшей. Вы знаете...

— Ты увел Нивельзина говорить о деле, а вот уже хохочешь, — сказала Волгина, входя в кабинет. — Кончил дело и забавляешь Нивельзина сказочками, по своему обыкновению? Подавай же нам его, нам необходим первый тенор. Идите, Нивельзин.

— Правда твоя, голубочка: я начинал забавлять себя и Павла Михайлыча сказками, — отвечал муж и залился руладою в одобрение удачной шутке; потому что он был глубоко убежден, что сострил очень тонко и удачно.

Нивельзин ушел домой много раньше времени, которое назначил Соколовскому. Он полагал, что энтузиаст, при нетерпении подружиться с Волгиным, может приехать, пожалуй, и целым часом прежде, нежели условился.

А Волгин, хоть и обещался Нивельзину прийти в девять часов, несколько запоздал, и запоздал бы гораздо больше, если бы жена не помнила времени за него.

Она привыкла к тому, что муж вечно забывает обо всем за работою, и в девять часов пришла сказать ему, что пора идти. Но он не работал, а лежал на своем диване; и не читал, а думал, чем занимался очень редко, когда бывал один. Он был любитель и мастер погружаться в глубокие размышления, но только среди разговоров. Когда он был один, его глубокомыслие вообще не находило себе никакой пищи.

— Что ж это? Ты спал, мой друг?

— Неужели девять часов? Не спал, голубочка, а думал об этом Соколовском. Он должен быть очень замечательный человек. Натурально, я не рассказывал Нивельзину, почему так думаю. Нивельзину я рассказывал только пустяки, которые, конечно, рассказывает о себе и сам Соколовский; то, что можно и должно говорить перед всеми. Но Зелинский полагался на меня и говорил больше. Видишь ли, Соколовского судили за намерение эмигрировать и не уличили в этом. Да и точно, он вовсе не хотел эмигрировать. Напротив. Тут было совершенно другое намерение. Видишь ли, голубочка: в 1848 году...

— Надоел ты мне, мой друг, со своим 1848 годом, — да и некогда мне слушать: играем в лото; и тебе некогда рассказывать: пора идти. Одевайся, и приди показаться мне, не забыл ли повязать галстук.

Так и осталось нерассказанным то, что больше всего заинтересовало Волгина в пользу Соколовского.

А действительно, Волгин был совершенно прав, что почувствовал очень сильное уважение к этому человеку, когда увидел, что он — тот самый Болеслав, о котором говорил Зелинский. Этот Болеслав, — в то время еще юноша — один сохранил рассудок в целом очень большом собрании, среди пожилых людей и стариков, у которых у всех закружились головы; один, такой пылкий от природы, остался хладнокровен, когда и флегматики — предались увлечению.

Галиция волновалась. В пограничных польско-русских землях со дня на день ждали оттуда известия, что поднялось восстание, и готовились поддержать его. Собирались, организовывались, старались запастись оружием, уговаривались о плане действий. В том крае, где была родина Соколовского, местом собраний служил дом Зелинского. Однажды съехались. Собрание было очень многочисленное. И вдруг получается известие: ныне Галиция взялась за оружие. Тотчас же было решено: прямо из этого собрания каждый едет в свою околицу, поднимает ее, и начинается восстание. Все, решили единогласно. Один Соколовский спрашивал: да правда ли, что Галиция поднялась? «Поднялась!» — кричали ему. Но он был так настойчив, что наконец перекричал гвалт, убедил не разъезжаться, не выслушав его. Верны ли известия, что Галиция поднялась? Кто привез их? Привезли десятки, сотни людей: на всех рынках, к вечеру все знали; каждый приезжавший с границы подтверждал. Но кто видел? Через два или три часа бурного сопротивления Соколовский умолил, чтобы дозволили ему съездить за границу, взглянуть и привезти положительные сведения.

Он не доехал до границы. Его арестовали по доносу, действительно не совсем точному: он не хотел эмигрировать и мог доказать, что не хотел, необходимейшие вещи оставались у него дома; ясно было, что он думал возвратиться домой очень скоро. Это не помогло ему» в нем увидели человека тем более опасного, что он очень даровит, энергичен и в особенности очень рассудителен.

Нашли нужным удалить его. Он много и долго должен был страдать — не за свою поездку, о ней ничего не узнали и наконец нашли, что она могла быть невинным переездом от одного родственника в гости к другому, но за то, что по поводу его поездки узнали его характер и дарования.

Он не мог исполнить дела, которое взял на себя. Но отсрочка, которую он вымолил, вынудил, была достаточна, чтобы дело разъяснилось уже и без его присутствия. Известия о восстании в Галиции оказались вздорными. Сотни, если не тысячи людей уцелели от напрасной погибели, на которую пошли бы, если б не его рассудительность, — и весь край избавился от напрасного разорения.

Каждый, каков бы ни был по характеру и принципам, будет чувствовать уважение — и, если честен, влечение — к человеку, который, бывши юношею, имел рассудок спасти пожилых людей и стариков от опрометчивости. Волгин был мнительного, робкого характера; принципом его было: ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать. Поэтому он ценил поступок Соколовского еще гораздо выше, нежели могут ценить люди отважные.

Действительно, Соколовский был тот Болеслав, о котором рассказывал Зелинский. Сначала поговорили об этом старике, человеке благородном, но не выходившем из ряда обыкновенных добряков, не интересных ни для кого, кроме своих родных и друзей. Потом Соколовский говорил о своей жизни в Оренбурге. Так прошло довольно много времени. Волгину представлялось нужным, чтобы Соколовский присмотрелся к нему, несколько привык не шокироваться его слишком угловатыми манерами, его привычкою шутить, большею частию некстати хохотать, не договаривать фраз и умолкать также некстати, смотреть в угол и в пол, — вообще держать себя неловко, дико. Рассудив, что Соколовский достаточно приготовлен не смущаться нелепыми формами, в каких он обыкновенно выражает свои мысли, и обращать внимание только на сущность их, Волгин сказал, что, конечно, и Зелинский, и Оренбург — предметы для разговора не хуже множества других, но что, конечно, Соколовский хотел видеться с ним вовсе не для того, чтобы толковать о таких вещах.

— Вы заинтересованы вашим проектом, Болеслав Иваныч, и разумеется, хотели, чтобы я помогал этому делу как журналист.

— Конечно, так. Но был у меня и другой мотив желать сближения с вами: сходство наших убеждений.

— Само собою. Но об этом мы поговорим после, если будет надобно. А теперь, насчет содействия вашему доброму намерению, откровенно скажу: не только сам не хочу помогать, советовал бы, чтоб и вы бросили это дело. — Соколовский вскочил и опять так же быстро сел, подавивши нетерпение вскликнуть что-то, — вероятно, что не верит своим ушам. — Видите ли, — вяло продолжал Волгин, — из ваших стараний ничего не выйдет. А к чему ведет излишняя охота вразумлять людей, вы уже испытали. Стоит ли губить себя понапрасну?

— Вы кончили? — терпеливо спросил Соколовский. При всей своей горячности он умел быть терпеливым; при всей экспансивности, делавшей его чрезвычайным охотником говорить, умел и слушать. — Вы кончили? — спросил он, видя, что Волгин замолчал. — Или еще не досказали?

— Пожалуй, хоть и кончил, потому что развивать перед вами мою мысль — совершенно бесполезно. Вы не ребенок и знаете наши обстоятельства. Не нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь указывал вам факты и объяснял их смысл. Но я не думаю, чтобы вы были готовы принять мой взгляд на вещи, и не воображаю, чтобы мог переубедить вас. Если я сказал, как думаю, то, разумеется, для того, чтобы устранить себя, а не с намерением учить вас.

— Вы отвергаете возможность этой реформы в частности или вообще возможность реформ? Высказывайте же и основания вашего скептицизма.

— Я нисколько не скептик. Скептик тот, кто не умеет сказать, «да» или «нет» согласнее с правдою. Возможности реформ я не отвергаю: как отвергать возможность того, что происходит? Происходят реформы в огромном количестве; я не могу не знать этого, потому что читаю газеты. И вообще говоря, вы можете думать, если вам угодно, что я совершенно согласен с вами. От этого не будет убытка ни вам, никому, потому что ровно никому не может быть ни вреда, ни пользы от того, как я думаю. Я только отстраняюсь от участия в ваших заботах, потому что не имею охоты хлопотать.

— Продолжайте,— заманивающим тоном сказал Соколовский.

— Мне нечего продолжать, Болеслав Иваныч. Я сказал, что не хочу спорить с вами.

— Вы не имеете охоты хлопотать о реформах! Как же понять это, если вы принуждены соглашаться, что русское общество занято реформами?

— Можете понимать различными манерами; не знаю, какую манеру понимать я могу рекомендовать вам. Например: быть может, я полагаю, что никто не послушается меня; быть может, я считаю неприличным лезть с моими советами, когда никто не просит меня об этом; быть может, я думаю: не нужно бы никаких реформ. Я могу думать и это. Какая мне надобность в реформах? Мне хорошо и без них. Если хотите знать мое собственное мнение, я полагаю, что это последнее предположение ближе всего к правде. С какой стати я имел бы охоту горячиться? Мои дела в хорошем положении, постоянно улучшаются. Ни от кого я не имею никаких неприятностей. По природе я человек смирный. Я желаю, чтобы все оставалось как есть, потому что ничего лучшего для меня не сделают никакие реформы. Соблюдая благопристойность, я не прочь говорить: «Люблю реформы», — согласитесь, неприлично выказывать себя равнодушным к общей пользе. И хотя я не бог знает какой хитрец, но не так и глуп, чтобы возбуждать презрение и ненависть к себе высказыванием моих задушевных мыслей, которые, как видите, не очень-то возвышенны и привлекательны. Но здесь, при людях, с которыми могу быть нараспашку, не имею охоты шарлатанить.

Соколовский слушал стиснув челюсти, но не прерывал.

— Алексей Иваныч шутит, — заметил Нивельзин. — Он любит шутить.

— Люблю. И если шучу, то шучу. Может быть, надобно прибавить: шучу некстати, неуместно. И это бывает. Но я полагаю, что я нисколько не шучу. А впрочем, действительно лучше, если Болеслав Иваныч будет думать вместе с вами, Павел Михайлыч, что я шучу.

Почти каждый на месте Соколовского был бы выведен из терпения. Но Соколовский имел очень сильный характер.

— Если вы так апатичен к общей пользе, то зачем же вы пишете? — спокойно сказал он.

— Это мое ремесло. Человеку, не имеющему состояния, надобно делать что-нибудь, чтобы добывать кусок хлеба. Я пишу — и добываю. И добываю очень хороший. Потому очень доволен своим ремеслом.

— Но вы пишете не то, что говорите.

— Я не могу писать того, что говорю: какая ж охота публике была бы читать мои рассуждения о моем характере? Он занимателен только для моих друзей или людей, желающих личного сближения со мной, как вы. Для публики нужны другие предметы, более занимательные, чем моя персона. Но то, что я пишу, не противоречит тому, что я говорю. Я говорю вам, что равнодушен к реформам. Я не пишу, что восхищаюсь ими. Я говорю, что не хочу писать о реформах. Я и не пишу о них.

— Вы не хотите говорить со мною, — сказал Соколовский, не теряя спокойствия.

— Не совсем правильно выразились, Болеслав Иваныч. Вы слышите, я говорю. И буду говорить, сколько вам угодно. Но я сказал, что не хочу спорить с вами; и не буду. Когда будет время, скажу, почему не хочу. И надеюсь, вы согласитесь тогда, что со своей точки зрения я прав. О чем вам угодно, чтоб я говорил? Я готов, с удовольствием и сколько вам угодно.

— Алексей Иваныч, — кротко сказал Соколовский. — Вы согласитесь, другой на моем месте мог бы принять такое обращение за обиду.

— Согласен, Болеслав Иваныч. Но вы не примете.

Соколовский стиснул челюсти, помолчал и опять, овладев собою, кротко сказал:

— Вы не хотите быть знакомы со мною?

—- Я еще не говорил этого, Болеслав Иваныч. Я говорил пока только о том, что в одном из ваших побуждений сблизиться со мною вы ошибались. Как журналист я бесполезен для вас. У вас был другой мотив: одинакость наших убеждений. Не знаю, достаточно ли обнаружилось для вас, что и в этом вы ошибались. Мой образ мыслей не сходен с вашим.

Соколовский встал и несколько раз прошел по комнате. Сел и начал спокойно:

— Вы уклоняетесь от спора со мною. Я хочу спорить с вами. Вы не хотите указывать фактов, которыми, по вашему мнению, опровергаются мои надежды. Я напомню вам факты, на которых основываются мои

ожидания и которыми, как мне кажется, совершенно устраняется возможность оставаться при безусловном отрицании.

— Я отрицаю! И даже безусловно отрицаю! — Волгин покачал головою. — Что могу я отрицать? Может ли немой отрицать?

— Я понимаю вас, — терпеливо продолжал Соколовский, не давши себе воли сбиться в сторону от выходки Волгина. — Я понимаю ваше отрицание. Я одних лет с вами. Мои убеждения формировались одновременно с вашими. И от одних и тех же фактов одинаково замирали надежды в наших сердцах. Тогда и я видел, что реформы невозможны. Но теперь другое время. — Он стал перечислять недавние события, которыми русские были пробуждены от долгого сна и потрясена система, повергавшая их в этот летаргический сон.

Вся жизнь русского была приносима в жертву духу завоеваний; все силы русского народа были истощаемы на служение этому духу, весь политический и общественный быт русского народа был подчинен потребностям этого духа, скован в организацию, не допускавшую никаких других направлений деятельности. Более полутораста лет владычествовала эта система, и успехи ее были блистательны. Русский народ привык думать, что его могущество, слава — результаты ее. Он ошибался. Причиною даже и военных успехов его была не эта система, а цивилизация, проникавшая в Россию наперекор ей. Но заблуждение было извинительно. Оно было следствием того логического миража, которым обманывается не только масса, — обманываются, слишком часто обманываются даже и великие мыслители; это известный фальшивый силлогизм: «вместе с тем, следовательно, потому». Система, сдавливавшая жизнь русского народа, говорила ему: «Видишь, при мне — следовательно, благодаря мне — из слабого, обижаемого, презираемого ты сделался могущественным, безопасным, славным». Он видел: да, сделался; и верил: да, благодаря ей...

— Нашим историкам, да и нашим либералам, далеко до такого понимания русской истории, — заметил Волгин Нивельзину. — Это я называю правильно понимать вещи. Читали ль вы до сих пор что-нибудь подобное ясному и твердому очерку дела, какой дает нам Болеслав Иваныч?

— У вас есть писатели, которые судят точно так же, — сказал Соколовский.

— Есть? Как вы скажете, Павел Михайлыч? Вы больше меня читали наших либералов и радикалов.

— Не говоря о либералах, и радикалы не говорят так безусловно, — сказал Нивельзин. — И признаюсь, я не приготовлен вполне согласиться с Болеславом Иванычем. О времени Петра, о начале правления Екатерины II, о первой половине царствования Александра Павловича я когда-нибудь поспорю с вами, Соколовский.

Соколовский спокойно ждал, пока возвратят ему свободу продолжать, и стал говорить по-прежнему, с пылкостью в манере и с прежнею ясностью и твердостью логики.

Русские привыкли считать свое войско непобедимым, свое государство могущественнейшим в Европе. Но вот они увидели, что враги безнаказанно вторглись в их страну, одерживают победу за победою над их войсками, принуждают их государство просить мира; что их государство принуждено с покорностью принять все условия, какие захотели продиктовать победоносные неприятели. Такого унижения не мог равнодушно перенести русский народ. С энергиею справедливого гнева он потребовал отчета в том, как могло произойти падение его могущества. Нельзя было скрывать от него истину, потому что он чувствовал ее; должны были сознаться: причиною всех бед была прежняя система; должны были согласиться: надобно отвергнуть ее, необходимы радикальные реформы; весь государственный организм был фальшивым, гнилым механизмом, не имевшим в себе ничего действительно живого, ничего свежего и прочного, — и все силы общества были подавляемы гнетом этой мертвой машины. Должны были согласиться: необходимо обновить все части государственного устройства, дать простор живым силам общества. Должны были согласиться: система механического угнетения была гибельною ошибкою, необходимо предоставить свободу развитию народа.

— В этом Павел Михайлыч согласится с вами, — заметил Волгин. — По его мнению, Крымская война точно то же для России, что война 1806 года была для Пруссии. Я полагаю, что союзники взяли Петербург и Москву, как тогда французы Берлин, и во власти русского

правительства оставалась только Пермь, как тогда у прусского — Мемель.

— Сила впечатления была одинакова, — спокойно отвечал Соколовский.

— А, это по новой геометрии: маленький краюшек равен целому.

— Иногда отломить маленький краюшек значит раздробить все тело.

— Вы умеете спорить. Этим Болеслав Иваныч лучше наших либералов: ошибается или нет, можно судить как угодно, но всегда понимает, что говорит, — обратился Волгин к Нивельзину. — Ныне всё проекты полезных учреждений; я думаю, не подать ли проект, чтобы вашего Рязанцева с компаниею переименовать в гимназистов и велеть им ходить на уроки к Болеславу Иванычу. Авось позаимствовались бы от него хоть каплею смысла. Нет, не позаимствовались бы: некуда поместиться смыслу в их головах: все битком набито вздором. Значит, нечего и подавать проект.

— Будьте откровенен, Алексей Иваныч, — сказал Нивельзин. — Признайтесь, вы свернули на бедного Рязанцева потому, что не нашли ничего возразить Соколовскому.

— Я еще не имел времени познакомиться с Рязанцевым, — сказал Соколовский. — Но воспользуюсь для этого первым досугом, потому что надеюсь научиться у него многому и убежден: мы пойдем с ним рука в руку.

— Пойдете; только долго ли, этого не умею сказать, — заметил Волгин. — Но извините, я перервал вас.

— Принуждены были сознаться, что радикальные реформы необходимы, — продолжал Соколовский изложение своего взгляда, во многом сходившегося с понятиями тогдашних наших прогрессистов, но имевшего ту разницу от их рассуждений, что у Соколовского все было логично и однородно, а их рассуждения захватывали что-нибудь похожее на правду лишь по мелочи и наполнялись больше хвастовством о великости совершенных ими подвигов. — Принуждены были обещать полное обновление народной жизни, — продолжал Соколовский. — И не только обещали, сами прониклись убеждением, что без этого нельзя обойтись; с искренним усердием готовят реформы, вызывают всех, могущих

дать совет, оказать помощь, — вызывают, просят их: советуйте, помогайте.

— Это факт, — сказал Нивельзин. — Каково бы ни было прежнее наше недоверие, мы не можем не видеть: это факт.

— Когда это факт, это недурно, — заметил Волгин.

— Алексей Иваныч, — начал опять Соколовский. — Я понимаю вас и отчасти сочувствую роли, которая досталась вам. Никто из людей, имеющих политическое образование, не может желать, чтобы не существовала оппозиция. Она и возбуждает удвоенную энергию в трудящихся, и контролирует, гарантирует разумность работы. Я вполне понимаю пользу, приносимую вами. Но...

— Я приношу пользу — это приятно слышать, — вяло вставил Волгин. — В России есть оппозиция — это прекрасно; и я один из представителей ее — это очень лестно для меня. Благодарю вас, Болеслав Иваныч: вы раскрыли мне глаза.

— Вы можете смеяться над собою и быть недоволен тем, что ваша партия менее сильна, нежели хотелось бы вам, — продолжал Соколовский, не смущаясь и не раздражаясь насмешками Волгина, которые обидели бы человека менее сильного, твердого и самоотверженного. — Я понимаю ваше гражданское страдание.

— Мое гражданское страдание, — недурно сказано, и следует запечатлеть в памяти. Сам я никак не мог бы заметить в себе такой удивительной вещи.

— И уважаю его, — продолжал Соколовский с теплым чувством, не обращая внимания на выходку Волгина. — Не скажу, чтоб и сам я не чувствовал иногда влечения негодовать. Дело пересоздания ведется слишком медленно; видишь ошибки, иногда довольно важные. Невольно поддаешься чувству. Но...

— Само собою, это досада нерезонная, — с неизменимой вялостью перебил Волгин, по-прежнему нагло злоупотребляя кротким терпением Соколовского. — Зритель чужой работы всегда бывает расположен слишком строго судить о трудящихся. Это психологический закон. Но тем не менее это несправедливость и нелепость. «Они работают не довольно скоро», — но вещь известная, человеческие желания нетерпеливы; когда сам не занимаешься делом — не чувствуешь, как оно трудно,

не умеешь брать в расчет, как много ему препятствий, как они сильны. «Работа ведется не без ошибок», — да какое же человеческое дело может быть ведено без ошибок? Люди не боги, чтобы требовать совершенства от них или их дел. Разумный человек довольствуется тем, когда видит, что работники усердны, добросовестны, прислушиваются к замечаниям, пользуются всяким советом, в котором есть здравый смысл. Вы находите, что работа ведется согласно с этими условиями; чего же большего можно требовать? Не могу строго осуждать вас, если вы, по человеческой слабости, иногда сердитесь на работников, — как быть! И вы человек, надобно снисходить к вашим человеческим слабостям; но должен сказать: вы были бы несправедливы, если бы отказывали работникам в сочувствии, одобрении, содействии. Вы и не отказываете. Вы прав.

— А вы?

— Я? О себе я скажу: вы видите, какой жалкий характер у меня, — не хотел спорить с вами, а начал. Стало быть, лучше всего для меня будет: подальше от соблазна; за шапку, да и проститься. — Волгин встал. — Вы не можете не понимать, Болеслав Иваныч, что видеться с вами было бы наслаждением для меня. Но я рассудил, что должен отказать себе в нем, и пришел сюда только затем, чтобы сказать это лично, чтобы вы не могли ошибиться в причине моего отказа, не приняли его за обиду, когда он происходит от моего высокого мнения о вас. По рассказам Зелинского, я очень уважал вас, — больше, нежели вы можете полагать, потому что Зелинский не скрывал от меня ничего. Ничего. — Волгин остановился, чтобы обратить внимание Соколовского на важность этого слова, и увидел, что Соколовский понял, о чем он говорит. — Немногие способны ценить ваше благоразумие так высоко, как я. У меня такой характер, мнительный, заставляющий меня всегда желать отсрочек, ненавидеть риск. Вы один из очень редких людей, в которых энтузиазм соединяется со способностью сохранять хладнокровие в решительные минуты, отвага с силою не только удерживаться, — удерживать и других от безрассудств. Я глубоко уважал вас, когда шел сюда. Увидевши, полюбил: вы не только силен и рассудителен, вы кроток и чужд всякой эгоистической мысли. Вы святой человек. Нельзя не любить вас. Но

тем тверже мое решение: нам не надобно видеться. Не для чего, потому что я не хочу помогать вашему проекту. Я не желаю, чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом. Никакое дело не требует, чтобы мы с вами виделись. Зачем же мы стали бы видеться? Чтобы спорить об отвлеченных вопросах или о пустяках, называемых нашими общественными вопросами? Не скажу, что я не охотник переливать из пустого в порожнее, и мне было бы приятнее болтать с вами, нежели с нашими либералами, — если бы это было так же безопасно. С ними я приятельствую беззаботно, потому что знаю: они всегда останутся прекрасными людьми, приятельство с ними никогда не может компрометировать. Вы — не то. Вы не останетесь прекрасным человеком. Если бы вы ограничились хлопотами о вашем проекте, я не боялся бы, что вы сделаетесь дурным. Вопрос специальный и, правду сказать, мелкий. Никто не встревожится из-за него. Но вы будете ввязываться во все, — и не с такою глупостью и трусостью, как наши либералы. Поэтому считаю вредным для себя видеться с вами. Прощайте.

Он сильно пожал руку Соколовского и торопливо пошел из комнаты. Соколовский оставался оглушен; потом бросился за ним:

— Я уверен в вашей любви ко мне и не могу обижаться вашим решением. Но оно кажется мне напрасным, дурным и очень печалит меня; очень, хоть я и не думаю, что мы расстаемся надолго. Нет, не надолго: события идут быстро и скоро сведут нас, — так или иначе, сведут, наперекор вашей воле. До свиданья.

— Понравился тебе Соколовский? Пригласил ты его? — спросила Волгина мужа на другой день, поутру за чаем.

— Вчера, голубочка, ты не стала слушать, когда пришла напомнить мне, что пора идти к Нивельзину. А я хотел сказать тебе, как вздумал сделать. Не знаю, хорошо ли. Видишь, он человек энергический, самоотверженный; я и вздумал, что осторожность лучше всего, потому гораздо безопаснее не связываться с ним. Так и сказал ему. Впрочем, и не жалею много. Потому что,

хоть он и не похож на нашу дрянь, но в таком же одурении, как они. Что за радость?

— Ты сам виноват, что я не стала слушать: зачем не начал говорить прямо о деле? Я подумала, что ты хотел, по обыкновению, рассказывать пустяки. Мне кажется, ты напрасно отказался от знакомства с ним. Быть осторожным — хорошо; но ты уже слишком боязлив.

Волгин задумался.

— Слишком! Я и сам себе говорил, голубочка: слишком. Ну, да все равно. — Он опять задумался. Но нет, голубочка: в сущности, я доволен собою. Пока он в одурении, он не опасен. Но оно пройдет; тогда чего хорошего ждать от него?

— Именно то и не хорошо, мой друг, что ты слишком много думаешь о том, чего еще нет. Ты говоришь, он был бы опасен для тебя; а на самом деле ты хуже его.

Муж опять задумался.

— Это у меня очень глупая привычка говорить вздор и понапрасну тревожить тебя, голубочка.

— Я не очень тревожусь, мой друг. На первый раз твои фантазии расстроили меня. Теперь я давно рассудила, что не стоит много тревожиться тем, чего, быть может, вовсе и не будет.

— Положим, голубочка; но все-таки, согласись, очень глупо с моей стороны говорить тебе вздор; тем больше глупо, что я и сам думал, в сущности, вовсе не об этих пустяках. Скука была бы с этим Соколовским, вот главное. Хлопотун, не может не суетиться из-за всякой мелочи и стал бы надоедать: что за радость? — Он помолчал и вдруг вскрикнул: — Удивительно! — и покачал головою. — Скажи ты, голубочка: как же можно было забыть, не попросить его, чтоб он справлялся об Илатонцевых, — то есть о Левицком? Удивительно, голубочка! Пусть бы говорил Нивельзину.

— Согласна, мой друг: если бы вздумалось тебе попросить его, тут не было ничего глупого. Но зачем же было и просить? Мы знаем все, что нам нужно, и если бы случилось что-нибудь новое, то Левицкий напишет тебе.

— Это правда, голубочка, — рассудил Волгин.

**Глава пятая**

Действительно, Волгины знали теперь о Левицком все, что им было нужно. Они получили ответ на свое письмо к нему. Ответ был такой, какого и следовало ждать.

Волгин писал к Левицкому, что смеется над вздором, которого наговорил ему, и ругает себя за то, что выпустил его из Петербурга. Совершенно ли хороши его отношения к Илатонцевым? Если совершенно, то невозможно ни просить, ни даже советовать, чтоб он бросил место, которое и очень выгодно, и необременительно. От управляющего петербургским домом Илатонцева слышно, что они проживут в деревне до нового года. Так ли? Если так, Волгину очень жаль, но сам он виноват: зачем тогда, весною, не удержал Владимира Алексеича? Волгина сделала приписку, в которой говорила, что много бранила мужа за Левицкого и желала бы, чтоб Левицкий поссорился с Илатонцевыми. Тогда он скорее приехал бы в Петербург снять с Алексея Иваныча часть работы. Но не надеется, чтобы он мог поссориться с человеком, каким она считает Илатонцева по рассказам его дочери.

Левицкий отвечал, что приглашение Алексея Иваныча привело его в восторг, но что действительно он не может бросить Илатонцевых. Он написал бы, как думает о Викторе Львовиче, но не может, потому что Надежда Викторовна хочет прочесть его письмо. Он в деревне ленится. Впрочем, не совсем. У него было написано кое-что. Он посылает. Будет присылать каждый месяц, но, вероятно, не помногу. Возвратившись в Петербург, он будет работать усерднее. Знает ли Лидия Васильевна, что он видел ее? Быть может, Алексей Иваныч забыл сказать ей это? Возвратившись, он расскажет ей, какое впечатление на него произвела она. Это не будет похоже на то, что слышит она ото всех. Илатонцева сделала приписку: она больше всех виновата в том, что они остаются в деревне до нового года. Если б ее воля, они остались бы в деревне и целый год, до следующей осени. Она оправдывает себя тем, что причины, по которым ее отец расположен долго оставаться в деревне, и важны, и хороши. Она очень часто говорит с Владимиром Алексеичем о Лидии Васильевне.

К письму Левицкого было приложено две статьи, довольно большие. Волгин сказал жене, что они снимают с него часть работы на две следующие книжки.

Это было за несколько дней перед тем, как Волгина предала Нивельзина в жертву Тенищевой и ее укротителю. Какая же была надобность просить Соколовского, чтоб он следил за новостями об Илатонцевых и Левицком? Никакой. Потому Волгин и согласился с женою, что напрасно бранит себя, зачем забыл попросить. Иначе, конечно, не уступил бы так легко: он был неумолим в порицании своих ошибок и глупостей. Правда, это не мешало ему ежеминутно делать их; и вся его строгость к самому себе оставалась совершенно бесполезна. Но он не был снисходителен и к этому своему недостатку и с негодованием удивлялся тому, что, как ни бранит себя, нисколько не исправляется.

Волгиной было бы приятно, если бы Левицкий возвратился в Петербург поскорее. Но она была уже приготовлена к тому, как он отвечал. Когда Нивельзин, ездивши к Тенищевой, узнал от швейцара Илатонцевых, что Виктор Львович останется в деревне до нового года, Волгина увидела, что нечего ждать и Левицкого раньше. По рассказам мужа о дружбе, которая была у Левицкого с Илатонцевым еще до отъезда в деревню, и по впечатлению, какое вынесла сама из разговора с дочерью Илатонцева, Волгина не могла не видеть, что положение Левицкого в доме Илатонцева не только выгодно в денежном отношении, но и вообще очень хорошо, совершенно свободно и, по всей вероятности, приятно.

В ответе Левицкого неожиданным для нее было только то очень приятное прибавление, что он прислал две статьи и будет присылать каждый месяц. Работа Волгина облегчалась через это, и Лидия Васильевна отчасти примирилась с отсрочкою времени, когда Левицкий приедет. Она считала очень возможным, что Илатонцевы, — стало быть, и Левицкий — не приедут и к новому году: Илатонцева писала, что «если б ее воля», они прожили бы в деревне всю зиму и лето, до следующей осени. Отсрочивши по ее желанию отъезд из деревни на несколько месяцев, отец будет делать уступку за уступкою. Пусть, лишь бы Левицкий и из деревни помогал мужу. А муж говорил, что он будет сильно помогать и оттуда: «Ты не смотри, голубочка,

что он говорит: ленюсь и буду писать мало; ленится он так же, как я, и пишет тоже сплеча, как я, — даже быстрее. Разница только та, что у меня от этого выходит вяло и плохо, а у него все-таки так хорошо, как ни у кого из наших самых заботливых писателей. Будет присылать много».

При всей хитрости Волгина — такой же замечательной, как его сообразительность, ловкость и многие другие достоинства, — для коротких знакомых его было нетрудно различать, когда он отделывается от правды своими необыкновенно замысловатыми выдумками, когда говорит правду. Тем легче различала это жена. Если он успел долго обманывать ее, скрывая, что сам лишил себя помощи Левицкого, это лишь потому, что невозможно было предполагать такой проделки. И это был едва ли не единственный случай, когда Волгина не заметила, правду ли говорит муж или выдумывает. Теперь она видела, что муж не выдумывает: Левицкий и в деревне будет писать много, будет сильно облегчать его работу. Волгина могла довольно терпеливо ждать возвращения Левицкого в Петербург.

Но все-таки она была очень обрадована, когда — недели через полторы или две после первого письма — Левицкий прислал второе, в котором говорил, что Илатонцев отказался от намерения оставаться в деревне до нового года: через несколько дней они едут в Петербург. Илатонцева опять сделала приписку. Она говорила, что сама не знает, радуется ли она или грустит, что они покидают деревню: в деревне она была так счастлива. Ее приписка была длинна, гораздо длиннее самого письма. Впрочем, и мудрено было бы сделать приписку, которая не была бы длиннее этого письма: оно состояло из двух с половиною строк. А первое письмо Левицкого заняло бы, на опытный глазомер Волгина, более четырех страниц журнального формата. Для глубокомысленного Волгина очевидно было: Левицкий написал теперь так коротко потому, что опасался проговориться. При помощи своей сообразительности, от которой не могло ускользнуть ничто, Волгин сделал множество открытий на основании двух писем Левицкого и двух приписок Илатонцевой. По прекрасному своему правилу он не утаил этих открытий, а стал излагать их жене со всею необходимою для основательности подробностью. Очень логично начинал свои соображения с несомнен-

ного существования дружбы между Левицким и Илатонцевою; присоединял к этому замечание, что из дружбы между молодым человеком и девушкою обыкновенно развивается любовь; после того принял во внимание, что у Илатонцевой ангельский характер, а ее отец — превосходный человек, очень любит дочь и чрезвычайно уважает Левицкого, — на этом жена остановила его тем, что зевнула и сказала: «Пойти посмотреть, что-то поделывает Володя, спит или нет», — если б не это, Волгин, конечно, не затруднился бы предсказать, что когда у приготовляемых им к венчанью родится со временем дочь или сын, то Лидия Васильевна будет приглашена быть крестною матерью малютки.

Это было перед обедом. Вечером пришел Нивельзин и сказал, что сейчас заезжал к нему Соколовский с известием: на днях Илатоицевы будут в Петербурге. Сам он не хотел быть у Волгина, потому что должен уважать чужое желание, хоть и не согласен с ним; и просит Нивельзина сообщить Волгину новость, интересную для него.

Нивельзин рассудил так же, как Лидия Васильевна и вслед за нею муж: не было никакой надобности поручать Соколовскому следить за новостями об Илатонцевых и Левицком, когда сам Левицкий стал писать Волгину. Но Соколовский не дожидался поручений, чтобы помнить о делах своих друзей, — все равно, хорошо ли или дурно поступают с ним люди, которых он считал достойными своей дружбы. Он услышал от Нивельзина, что Волгин заинтересован приездом Левицкого. Этого было довольно ему. Он попросил управляющего домом Илатонцева присылать ему всякое новое известие из деревни.

— Совестно перед таким человеком, — справедливо заметил Нивельзину Волгин. — Я держал себя с ним очень пошло и глупо. А он вот как поступает со мною. Нехорошо с моей стороны, уверяю вас, Павел Михайлыч.

— Я думаю то же, — сказал Нивельзин, засмеявшись: он еще не привык спокойно выдерживать уверений Волгина. — И если вы раскаиваетесь, это делает вам честь. Кроме шуток, заезжайте к Соколовскому, —

или, пожалуй, это и не нужно: когда вы соберетесь? Я позову его к вам.

— Натурально, это не такой человек, чтобы стал считаться визитами, — заметил Волгин. — Но только вы не так поняли меня, Павел Михайлыч. Положим, я поступил относительно его очень дурно. Согласен. Но так следовало. И пусть останется так. И если сказать правду, то даже нисколько не дурно. Напротив: очень хорошо.

— И если правду сказать, то вам нисколько не совестно? — спросил Нивельзин, смеясь оригинальному способу рассуждать: «Согласен, что так, но если правду сказать, не так».

Недели через полторы или меньше, поутру в половине первого Волгин услышал звонок и пошел отворить дверь: Лидия Васильевна, уходя, сказала ему, что он остается дома один: она взяла коляску и едет кататься с Володею; берет для Володи и Наташу, а Авдотья будет, по обыкновению, уходить между дела к служанкам в соседние квартиры. Волгин вспомнил, что кухарка, точно, имеет эту привычку. То, что кухарку зовут Авдотьею, он помнил.

Вошел пожилой мужчина, хорошо одетый. Волгин попросил его в зал и пригласил сесть. Пожилой мужчина пошел в зал, но не сел, а сказал, что он камердинер Виктора Львовича Илатонцева; Виктор Львович сейчас приехал, приказал кланяться и спросить: не у господина ли Волгина остановился Владимир Алексеевич Левицкий.

— Что такое? Да разве он уже в Петербурге? Разве он ехал не вместе с Виктором Львовичем?

— Точно так, не вместе. Владимир Алексеич выехал из деревни двумя днями раньше Виктора Львовича. Виктор Львович полагал найти его у себя. Но его нет у них в доме. Виктор Львович подумал: может быть, он не захотел поселиться там до их приезда и, может быть, остановился у господина Волгина? Но как Владимира Алексеича нет здесь, то, должно быть, он еще не приехал в Петербург, — прибавил свою догадку камердинер. — Может быть, не остановился ли погостить в Москве или где на дороге, у каких-нибудь знакомых. — Камердинер поклонился и ушел.

Его догадка показалась очень правдоподобна Волгину, знавшему, что один из двух товарищей, с которыми остался хорош Левицкий, занял место учителя гимназии в Новгороде. Вероятно, именно с тою целью, чтобы погостить у него, Левицкий и уехал из деревни раньше Илатонцевых.

По всей вероятности, так. Но так ли? Илатонцев думал, что он уже в Петербурге. Или он говорил, что прогостит лишь один день, и зажился у товарища дольше уговора? Или догадка камердинера об остановке на дороге неудачна? Волгину пришло в ум несколько других догадок; но и те не клеились с фактами. Волгин рассудил, что бесполезно упражняться в пустых предположениях; надобно будет пойти к Нивельзину — и попросить съездить к Илатонцеву, — или пусть он попросит Соколовского съездить к Илатонцеву и спросить, в чем дело. Илатонцев должен знать или по крайней мере имеет больше данных, чтобы разгадать. Когда Волгин был в своем кабинете и один, он вообще не был лишен здравого смысла.

Дождавшись, когда кухарка пришла взглянуть, что делается с кушаньем на плите, Волгин сказал, чтобы она не уходила, потому что он уходит, и пошел к Нивельзину. Нивельзин жил на прежней своей квартире, очень близко. Его не было дома. Волгин оставил записку, что зайдет к нему часов в восемь.

Но раньше того сам получил записку от него: «Соколовский у меня; приехал рассказать о Левицком. Ждем вас».

Тот самый камердинер, который в первом часу был у Волгина, в четвертом приехал в карете к Соколовскому и привез приглашение от Виктора Львовича кушать. Илатонцев писал, что слышал от управляющего домом, что Соколовский очень интересуется Левицким, так же как Нивельзин и Волгин. С ними Илатонцев еще незнаком; но Соколовскому его дом уже не чужой, и Соколовский извинит его бесцеремонность. Он устал после дороги, не хочет ныне выезжать из дому. Он сообщит Соколовскому то, чтó узнал о Левицком, поехавшем в Петербург раньше его и скрывшемся из виду по приезде.

Соколовский не был так непрактичен, как Волгин. Он усадил камердинера, стал говорить с ним. Одевшись ехать, посадил его с собою в карету и опять говорил всю дорогу. Все догадки, приходившие на мысль Волгину, поочередно представлялись и Соколовскому. На все он нашел ответы в рассказах камердинера.

Первое, что вздумалось Соколовскому, было: почему Левицкий уехал из деревни один и не дождавшись Илатонцевых только два дня? Не было ли ссоры? Соколовский стал делать вопросы издалека и очень осторожно. Но камердинер был человек неглупый, скоро заметил, к чему ведется разговор. Не сделал намека, что понял, но прямо стал сам заговаривать о том, до чего еще и не касался Соколовский, — об отношениях между Илатонцевыми и Левицким, об отъезде Левицкого раньше их. Соколовскому оставалось только направлять его словоохотливость по ходу своих предположений: камердинер не боялся говорить ни о чем, что любопытно было Соколовскому.

Отношения между Илатонцевыми и Левицким были дружеские, за несколько часов до отъезда Левицкого они говорили о том, как они разместятся в экипажах. Пятерым сидеть в одной карете нельзя: они считали пятерых, потому что Надежда Викторовна никак не соглашалась, чтобы ее горничная — она зовет ее Мери, — «эта горничная племянница моя», — заметил камердинер, — чтобы Мери ехала в тарантасе с дядею: в тарантасе будет навалено столько вещей, что и одному Ивану Антоновичу будет неловко. Мери измучилась бы. Надежда Викторовна очень любит Мери. Было решено: в одной карете поедут она, отец, Владимир Алексеич; в другой Мери с Юринькою, — и пусть Иван Антоныч сядет с ними. Это говорилось во время завтрака. После Владимир Алексеич ушел в свою комнату и был там один, лежал и читал, — может быть, и писал; этого Иван Антоныч не знает, писал ли он, но что он лежал и читал, — это Иван Антоныч видел и совершенно знает, что Владимир Алексеич все время от завтрака до обеда был один, в своей комнате, и никто не входил к нему: мимо Ивана Антоныча нельзя было пройти к нему в комнату. А Иван Антоныч заглядывал в нее, потому что топилась печь, — в деревне они жили просто, Иван Антоныч сам делал все прислуги и Виктору Львовичу, и Владимиру Алексеичу. Оба люди без капризов, можно

было успеть, и нетрудно. Входя в комнату Владимира Алексеича присмотреть за печью, Иван Антоныч видел, что он лежит и читает. Иван Антоныч позвал его к обеду. За обедом все говорили как обыкновенно, — и Виктор Львович, и Надежда Викторовна, и Владимир Алексеич, — все были веселы, в особенности Надежда Викторовна; и Владимир Алексеич тоже. Но вот, во время обеда, приехал мужик, который ездил в город за почтою, — привез газеты, письма. Одно было к Владимиру Алексеичу. Он тут же распечатал, прочел, сделался как будто и недоволен, и доволен, все вместе, и сказал: «Виктор Львович, я не буду ждать вас: уеду ныне же, — я попрошу вас приказать приготовить лошадей». — «Как? Что?» Он говорит: «По этому письму; нельзя». — «Что в письме?» Стали говорить о письме. Сколько мог понять Иван Антоныч, письмо было от какого-то ученого, — тогда он не расслушал хорошенько фамилию, но теперь, когда его посылали к Волгину, думает: тогда говорили эту самую фамилию. Да вот, не знает ли господин Соколовский: женат он? Знакома его жена с Надеждою Викторовною? Надежда Викторовна, провожая Владимира Алексеича, говорила ему кланяться от нее его жене...

— Так, — предупредил Волгин вопрос Соколовского, — от него ли было это письмо, — так; я имел неосторожность выразиться, что измучен работою, как собака, — ну, и многое в этом стиле. Я красноречив. Так вот что! Это письмо и взбаламутило его! Эх, дурак я, дурак! — Волгин покачал головою в порицание своему неуместному красноречию.

Никакого письма, кроме одного, Волгин не отправлял к Левицкому. А то было получено Левицким гораздо раньше, — и даже ответ Левицкого был получен Волгиным раньше того времени, когда мог быть отъезд Левицкого из деревни. Для Волгина было слишком ясно, что Левицкий воспользовался своими отношениями к нему для замаскирования истинной причины своего отъезда. Но он видел, что Соколовский расположен верить, будто его письмо произвело отъезд; Соколовский уже виделся с Илатонцевыми, и если верить, то, вероятно, и они говорили ему то же, что камердинер. Положение, в которое ставился этим Волгин, обрисовывалось так ясно, что при всей своей несообразительности и не-

находчивости он понял, какую роль должен играть в поддержку Левицкого.

— Вот дурак-то я! — повторил он. — Эко, наделал тревоги Левицкому! И черт меня дернул пускаться в красноречие! Ну, продолжайте, Болеслав Иваныч...

— Виктор Львович очень жалел, что Владимир Алексеич не может подождать, чтобы ехать вместе,— возобновил Соколовский свое пересказывание рассказа камердинера Илатонцева. — Надежда Викторовна жалела еще больше. Не могла не жалеть: она была очень, очень дружна с ним. Редко даже и можно видеть такое расположение, какое было у нее к нему. Когда прощались, то даже заплакала: «Только на несколько дней расстаемся с вами, Владимир Алексеич, а так жаль мне!» Отец посмеивался над нею — да и сама она смеялась над своими слезами, а все же не могла удержать их. — И правда, замечал об этом камердинер. — Кто не видел бы их дружбы, тот мог бы осудить эту жалость. Но он не может осудить, потому что девушка редко может найти себе такого друга.

Письмо от ученого из Петербурга достаточно объясняло торопливый отъезд Левицкого теперь, когда Соколовский услышал от самого этого ученого, как сильны были выражения, которыми петербургский друг убеждал Левицкого спешить. Но тогда, при разговоре с Иваном Антонычем, Соколовский полагал, что два дня не составляли такой разницы, чтобы Левицкий не захотел подождать. Не было ли письмо только предлогом, чтобы уехать? — думалось ему.

— Едва ли, — заметил Волгин, сделал вид, что раздумывает, и решительно сказал: — Нет.

Теперь Соколовский был согласен, что оно не было только предлогом, — разговор с самими Илатонцевыми убедил его. Решимость не дожидаться их была гораздо естественнее, нежели показалось по словам камердинера, из которых выходило только два дня разницы. Илатонцев сказал, что хотел довольно надолго остановиться в Москве. Натурально, что Левицкий почел нужным избежать такой неопределенной проволочки.

— Натурально, — подтвердил Волгин.

Так; но, тогда, разговаривая с Иваном Антонычем, Соколовский еще не думал так. Ему представлялось; не было ли письмо только предлогом, чтоб удалиться от каких-нибудь неприятных отношений? Эта мысль

очень сходилась с тем, что Левицкий теперь пропал из виду у Илатонцевых...

— Ну, а с какой же стати не показался бы он ко мне? — вставил Волгин. — Если хотел скрыться от них, то что же скрываться от меня-то? Дело ясное: просто задержало что-нибудь на дороге.

Так думают Илатонцевы; так думает теперь и сам Соколовский. Но пусть же Волгин не мешает ему рас­сказывать. Тогда, при разговоре с Иваном Антонычем, он еще держался другого предположения: быть может, Левицкий хотел разорвать свои связи с домом Илатонцевых? Он стал подробнее расспрашивать, как шла жизнь Левицкого в деревне, и убедился, что Левицкий не мог ни тяготиться обязанностями гувернерства — они были очень легки, — ни обременяться своими отношениями к самому Илатонцеву: они были приятны и свободны; не могло быть и того, что он влюбился в дочь Илатонцева и хотел удалиться от нее, считая свою любовь безрассудною...

— Само собою, ничего такого не было, — вставил Волгин. — Во-первых, вообще, что за поэтический взгляд на жизнь предполагать такой мотив? А во-вторых, будь у него к ней какие-нибудь не совершенно хладнокровные чувства, разве стал бы камердинер так расписывать их дружбу? Человек неглупый, сам вы говорите. Если сплетник, то сделал бы намеки. А он не делал. Значит, если не боялся говорить о их дружбе, то слишком был убежден, не было никаких щекотливых отношений, и надеялся, вы сами убедитесь в этом, когда посмотрите на Илатонцеву и поговорите с нею. — Волгин не всегда умел найтись, в каком вкусе ему надобно говорить, но, попавши в роль, он не затруднялся приискивать аргументы, какие нужны для нее.

— Совершенная правда, — согласился Соколовский, — но тогда это очень тонкое и верное соображение не пришло в голову ему. Его догадка была разрушена фактом менее идеальным, нежели вера в такт и скромность камердинера. Рассказывая о жизни Левицкого в деревне, Иван Антоныч стал распространяться о том, как Левицкий любил его и он любил Левицкого, и дошел до того, что привел в доказательство своей привязанности к Левицкому дело, в котором из расположения к Левицкому принимал грех на душу, делался виноват перед самим барином, рисковал со стыдом потерять место.

Иван Антоныч рассказывал это таким образом, непритворно совестясь за себя: «Ну, известно, молодой человек, не праведник; не по моим бы летам и слушать это, и в особенности от такой, можно сказать, девушки, с которою и говорить-то мне было бы нехорошо. Но как быть? Он к ней привязался; с ее стороны, вижу, такая любовь к нему, какой от нее и ждать нельзя бы, кажется. Ну, и потворствовал ей: в дом пускал ее. Прошу вашего извинения, что говорил об этом; да и мне самому, в мои лета, неприличен такой разговор. Но, говорю, значит, умел же привязать меня к себе Владимир Алексеич, когда я брал такой стыд себе на душу и вводил себя в опасность». Итак, Левицкий имел любовницу, — дружба с Илатонцевою была просто дружбою. Волгин согласился, что этот факт еще лучше его собственных соображений доказывает совершенную ничтожность Илатонцевой для Левицкого.

Таким образом, еще раньше, нежели приехал к Илатонцевым, Соколовский был уже почти убежден, что у Левицкого не было никаких причин расходиться с ними; что если поспешность его отъезда и кажется странною, то все-таки не следует искать для нее других мотивов, кроме слишком горячего желания поскорее снять с Волгина часть обременительной работы; что если и остается загадочным, почему Илатонцевы не нашли его в своем доме, то нечего думать об этом: вероятнее всего, что-нибудь задержало его на дороге. Приехавши к Илатонцевым, всмотревшись в Виктора Львовича и Надежду Викторовну, поговоривши с ними, он совершенно убедился, что не о чем думать. Волгин знает, какое благородное, кроткое, искреннее существо Надежда Викторовна. Невозможно, чтобы сорокапятилетний мужчина имел простодушие и чистоту молоденькой девушки. Но, сколько допускается разницею лет, Илатонцев походит характером на дочь. Это человек честный, добрый, деликатный. Невозможно сомневаться в искренности его разговора о Левицком. А кто стал бы сомневаться в искренности его дочери, заслуживал бы презрения. Оба они говорят о Левицком с самым теплым расположением. Оба не видят ничего особенно тревожного в том, что Левицкого до сих пор нет; оба уверены, что скоро он явится к ним или напишет, где он и что его задержало. Илатонцев просил передать это Волгину и успокоить его.

— Вы можете сказать им, как покорно приводил я себя в спокойствие, — отвечал Волгин, зевнув. — Слушал все ваши бесчисленные подробности, хоть мне и не было надобности в них, чтобы считать Илатонцевых не способными сделать и малейшую неприятность порядочному человеку. Я и без вас знал их обоих за людей очень благородных, деликатных, симпатичных. Понимаю их желание уничтожить во мне всякое предположение, что Левицкий мог быть недоволен ими. Учтивость обязывала меня выслушать все, что вы хотите сказать в удовлетворение вашему естественному желанию разрушить во мне всякие невыгодные для них мысли. Но поверьте, что это было напрасным опасением со стороны Илатонцева, напрасным трудом с вашей, напрасною терпеливостью с моей.

— Я надеялся, что вы не будете подозревать никакой неприятности между ними и Левицким, — сказал Соколовский. — Но успел ли я успокоить и ваши опасения за Левицкого?

— Помилуйте, чего же мне было тревожиться? И не думал, могу вас уверить. Говоря серьезно, могла бы быть одна тревога: не арестован ли он? Но теперь времена тихие, не слышно ни о чем подобном. А главное, Илатонцев занимает такое положение в обществе, что не могли бы не уведомить его, если бы арестовали гувернера его сына. С Илатонцевым никто не может быть забывчив. Надобно признаться, это опасение мелькнуло у меня в голове, но в ту же секунду и вылетело. Слишком нелепо.

Действительно, тогда были такие времена, что подобные мысли могли представиться только чрезвычайно трусливому человеку, каков был Волгин, да и тот не мог ни на минуту продержать в голове такой вздор.

— Вы совершенно спокоен? — сказал Соколовский.

Волгин флегматически повторил, что и не думал беспокоиться; несколько живее прибавил, что ему, впрочем, очень понравилась заботливость Илатонцева рассеять все недоумения; потом совершенно одушевился, начавши благодарить Соколовского и бранить себя. Он говорил, что совестится, что просит Соколовского забыть его глупый отказ и быть знакому с ним. Но Соколовский понимал его боязнь очень серьезно и отвечал, что не находит ее ни трусостью, ни капризом, как уверяет теперь Волгин. Когда потребует общая польза, нечего ду-

мать о себе; но пока обязанность гражданина не велит пренебрегать риском, надобно избегать риска, и самого ничтожного. Волгин полагал, что может быть компрометирован дружбою с ним; не его дело судить, почему так полагал Волгин; полагал, этого довольно. Без надобности он не будет видеться с Волгиным.

— Вот это я называю: человек, — сказал Волгин, обращаясь к Нивельзину, и не продолжал настаивать.

— Вы любите смеяться над всеми; я немного заражаюсь от вас дурными привычками. Оба вы с Соколовским несколько забавны, — сказал Нивельзин.

— Против этого я не спорю, — отвечал Волгин, погрузился в размышление и, при своей способности к быстрым соображениям обдумавши вопрос со всех сторон в течение нескольких секунд, повторил решительно: — Не спорю, мы с Болеславом Иванычем забавны; почему? Потому что оба ищем бури в болоте; болото всегда спокойно; буря может быть повсюду кругом, оно всегда спокойно. — Он опять погрузился в размышление, встал, взял фуражку, вяло поблагодарил Соколовского еще раз и ушел, извинившись тем, что не имеет времени посидеть и поболтать, хоть это было бы очень приятно ему.

— Полноте, боитесь компрометировать себя политическими разговорами с таким опасным человеком, как Соколовский, — сказал, смеясь, Нивельзин.

Но, лгавши во всем, что говорил на этом свиданье, Волгин не солгал, объясняя, почему не остается дольше. Действительно, он спешил послать депешу в Новгород.

Он мог успокоиться предположением о поездке Левицкого в Новгород, когда не знал, как уехал он от Илатонцевых. Но теперь было ясно, что Левицкий просто хотел вырваться от Илатонцевых. Волгин не сомневался и в том, что Левицкий поехал прямо в Петербург, безо всяких остановок. Предлог отъезда налагал на него эту необходимость.

Он приехал в Петербург, — был убежден Волгин. — Почему же он до сих пор не был у меня? Он должен был, как приехал, спешить ко мне. Волгин был теперь сильно встревожен.

Как услышал он от Соколовского о своем небывалом втором письме с настоятельным вызовом, он хотел уйти, не слушая ничего дальше. Но он успел рассудить, что это значило бы только обнаружить свое беспокойство

и возбудить в Соколовском подозрения безо всякой пользы: вечер — неудобное время для справок. Одно, что возможно до утра: послать депешу в Новгород, — и то почти только для того, чтобы отнять у себя последнюю возможность сомневаться, в Петербурге ли Левицкий.

Возвратившись домой, он услышал, что жена уехала с Мироновым на вечер. Он сел работать, но не мог. Лег читать. Это помогло. Он скоро уснул.

— Будешь помнить и сумеешь приготовить хорошо? — говорила Волгина следующим утром кухарке, выходя в ее сопровождении из кухни в столовую, где кипел самовар. — Наташа, позови Алексея Иваныча — разве не видишь, я еще не договорила с Авдотьею, не пойду звать сама? — Наташа, с ребяческим усердием занимавшаяся осуществлением фантазии расставить чайные принадлежности вокруг самовара правильною звездою с пятью лучами, неохотно оторвалась от своей полезной заботы и пошла самым тихим шагом: так велико было ее неудовольствие. Волгина продолжала говорить с кухаркою об обеде.

Наташа, вышедшая из столовой с достоинством, какого требовала досада, вбежала назад разинув рот, хлопая глазами и размахивая руками от изумления.

— Алексея Иваныча нет, Лидия Васильевна! И сюртука нет, и в передней теплого пальто нет, и калош алексей-иванычевых нет!

— Неужели еще не приехал? — начала вторить ей кухарка по первому же ее слову. — С восьми-то часов уже часа полтора будет; а сказал: «Скоро вернусь!» А ты не умела сказать как следует: «Видно, ушли куда- нибудь, потому что пальто и калош их нет», — обратилась она с назиданием к Наташе. — Так надо сказать; а ты: «Алексея Иваныча нет, и сюртука нет», точно кто украл Алексея Иваныча вместе с сюртуком! Можно ли так говорить? Ты должна слушать и понимать, как говорят, и сама стараться...

— Где же Алексей Иваныч? После доучишь ее, как надобно уметь говорить.

— Ушли и чаю ждать не захотели; я говорила: в пять минут поставлю самовар, — не стали ждать. «Я, говорит, скоро приеду», — да вот тебе и скоро! А я думала, они уж дома, Наташа впустила.

— Ты тоже умеешь говорить. Куда он уехал? Зачем? Верно, он говорил, чтобы ты сказала мне.

— Как же, сказали. «Справляться», говорит. А я думала, они уже давно дома.

— «Справляться», — только сказал он? Не сказал, о чем, о ком?

— Искать кого-то, сказывали они, да я не умею выговорить фамилию-то: не русская какая-то, должно быть. Ну, они говорили, того, о котором вчера разговаривали с вами; лакей-то приходил, они сказывали.

— Левицкого? Это не русская фамилия!

— Так, так, Левицкого! — повторила кухарка в восхищении от своей памятливости.

— Что ж, он узнал о Левицком что-нибудь новое? Где искать, почему искать?

— Не знаю, Лидия Васильевна.

— Да как же он проснулся так рано? Приходил кто-нибудь, разбудил его?

— Приходил, почтальон, только не настоящий почтальон, а совсем особый, и принес письмо, только тоже не настоящее, а особое, и велел разбудить. Я не хотела. А он: буди. А я: впервой ли нам получать письмо? Никогда не будила: проснется — прочитает. А он: наши письма не такие, по нашим письмам все велят будить себя. Буди. Да еще что, Лидия Васильевна? Ругать меня стал, дурою назвал, ей-богу! А я ему...

— Алексей Иваныч не говорил, с собою взял эту депешу или оставляет мне?

— На столе на своем оставил, — скажи, говорит, Лидии Васильевне, что оставляю на столе.

— Эх, ты! А еще меня учила говорить! — с торжеством заметила Наташа.

Волгина нашла на столе мужа телеграмму: «Левицкий не был в Новгороде. Уезжая из деревни, писал мне: спешит к вам».

Волгин возвратился домой уже в третьем часу и еще из передней начал:

— Голубочка, где ты? Будешь бранить меня, голубочка, за то, что я уехал, не напившись чаю: но я уверяю...

— У Лидии Васильевны кто-то есть, Алексей Иваныч, — перервала Наташа. — Дама какая-то, белая

молодая, — та самая, может быть помните, которая была весною и опять приезжала, как мы воротились с дачи.

— Савелова? — спросил Волгин, укрощая свое громогласие.

— Так, она, — подтвердила Наташа. Волгин пробрался в кабинет потише и поосторожнее, чтобы не попасться в надобность отличаться своими светскими талантами.

Он прислушивался, как будет уходить Савелова, и лишь только Лидия Васильевна проводила ее, он встал и пошел к жене, еще в кабинете начавши по-прежнему;

— Голубочка, ты будешь бранить меня; а пожалуйста, не брани, потому что, уверяю тебя, я заезжал по дороге в кондитерскую, и напился чаю, и даже закусывал, и уверяю тебя, вовсе не голоден. Видишь ли, голубочка: из разговора с Соколовским я увидел, что Левицкий...

— Знаю, мой друг. Если ты получил ответ из Новгорода, то, понятно, ты посылал туда депешу, — значит, был встревожен за Левицкого. И нельзя было не понять, что ты встревожился тем, что услышал от Соколовского. Я посылала за Нивельзиным и знаю все.

— Посылала, голубочка? Значит, теперь и Нивельзин понимает, что дело было не в том, как поверили Илатонцевы, да и Соколовский, да и он тоже... Э, что ж я! — перебил он сам себя с досадою. — Натурально, важность только в том, чтобы не усомнились Илатонцевы, — а от Нивельзина чего таить? Нечего, разумеется.

— Конечно, так, мой друг. Что же ты узнал?

— Ничего, разумеется. Был в адресном столе, там нет ничего. И натурально, — тут же размыслил Волгин. — Не стоило и справляться в адресном столе: сведения не получаются там так скоро, в несколько дней, — разве через две, три недели дойдет туда. — Поэтому Волгин был у обер-полицмейстера, был у всех полицмейстеров — просил всех приказать справиться поскорее; все они при нем и отдали приказание, потому что все видели: действительно, его предположение слишком правдоподобно — Левицкий, вероятно, тяжело болен, так, что не мог и известить Волгина. Ничем другим нельзя объяснить, что он не уведомил о себе человека,

на вызов которого так спешил. Все приняли самое доброе, самое живое участие.

— И что же, мой друг, ты думаешь, это самое лучшее и скорое средство узнать, где Левицкий, что с ним?

Волгин с ожесточением мотнул головою:

— Само собою, нет, голубочка. Кому же из полицейских будет охота слишком усердно хлопотать по обыкновенному приказанию начальства? Известно, как исполняются официальные поручения: лишь бы отделаться, лишь бы дать какой-нибудь ответ. Натурально, следовало начать вовсе не с того, как я, — это самое последнее. Вот давай-ко поскорее обедать, да и отпусти меня: поеду к мелким чиновникам, — обещаю сто рублей за известие. Тогда справятся как следует.

— Я очень довольна, мой друг, что ты так думаешь. Значит, Нивельзин не ошибся: он уехал с тем, чтоб именно так и сделать, как ты говоришь. Кроме того, и сам будет искать. Мы с ним также подумали, что, вероятно, Левицкий приехал больной и не мог не только ехать к тебе — даже и написать.

— Удивительно, голубочка, почему я всегда только уже после увижу, как надобно сделать, а начну непременно не так! — с ожесточением сказал Волгин. — Это удивительно, голубочка, уверяю тебя! Почему же Нивельзин с первого раза увидел, как следует сделать?

— Мой друг, я тысячу раз говорила тебе: ты вовсе не живешь с людьми, — как же тебе уметь жить в свете, уметь приниматься за дела?

— Нет, голубочка: это уже врожденная глупость, уверяю тебя, — с негодованием возразил Волгин и ужасно мотнул головою. В другое время он стал бы доказывать это очень подробно и основательно, по своему обыкновению. Но теперь ему было не до того, чтобы заниматься разъяснением своих удивительных врожденных умных свойств: он был слишком серьезно встревожен за Левицкого, поэтому замолчал.

— Я не думала, чтобы ты мог любить кого-нибудь, — сказала жена.

— И я сам то же думал, голубочка. Все дурачье, только смех и горе с ними. Все дурачье — ты не поверишь, голубочка, что такое все эти умные люди, — о, какие слепые дураки! Жалкое общество, какие у него руководители! Бедный народ, чего ждать ему от такого общества с такими руководителями!

Он вытащил платок и начал с ожесточением сморкаться.

— Голубочка, пожалуйста, ты не говори Нивельзину, что я хуже всякой бабы, — заметил он, кончивши свое занятие платком, и непринужденно захохотал; потом покачал головою и сказал: — Это очень глупо, голубочка, уверяю тебя: потому что, согласись, какая мне надобность? Никакой. Но вот глупая слабость: расчувствовался, как самая старая баба, — и всегда так расчувствуюсь. Удивительно. Да, — продолжал он, углубляясь в размышление. — В том и штука, что Левицкий — незаменимый человек. Полезный человек.

— Пока у тебя еще нет никакой причины слишком тревожиться за него, мой друг, — заметила жена. — То, что он болен, и довольно серьезно, это очень вероятно. Но только. А ты уж и оплакал его: ты слишком мнителен. Пойдем, взгляни на Володю, поиграй с ним: ты огорчаешь меня тем, что совершенно не занимаешься им.

— А, погоди, голубочка: подрастет — будешь, пожалуй, говорить, что и слишком много занимаюсь с ним, когда стану набивать ему голову всею этою чепухою, которую называют ученостью; пойдем, пожалуй, посмотрю, какой он милый, по твоему мнению, — но уверяю тебя, голубочка, что и теперь можно видеть, что будет тоже молодец вроде меня. Вперед восхищаюсь его ловкостью.

**Глава шестая**

После того, как ушла тайком из квартиры Волгиных, Савелова должна была стыдиться взглянуть на Лидию Васильевну: будучи глубоким знатоком человеческого сердца, Волгин не сомневался в этом и, конечно, не мог оставить жену в незнании насчет своего блистательного соображения: «Уверяю тебя, голубочка, она не покажет носу к тебе», — предрек он жене. Предсказание, делавшее такую честь его необыкновенной проницательности, оправдывалось. Ни до переезда на дачу, ни во все продолжение дачного сезона Савелова не была у Волгиной.

Тем справедливее удивился глубокомысленный прорицатель, вскоре по переселении в город услышав от жены, что ныне поутру приезжала к ней Савелова. По свойственной его уму быстроте в делании самых труд-

ных соображений, Волгин мгновенно постиг тайну такого мудреного случая и стал уверять жену, что непременно у Савеловой была какая-нибудь особенная, большая надобность, — без того она не поехала бы. Жена сказала, что из разговора Савеловой не было видно, чтобы она хотела посоветоваться или попросить о чем-нибудь.

— Ну, а все-таки, по твоему мнению, голубочка? — спросил муж, любивший глубокие соображения.

— Какая же надобность мне иметь какое-нибудь мнение? — заметила жена. — Она хотела вести пустой разговор, я была очень рада, что нет ни обниманий, ни слез.

— Знаешь ли, голубочка? Она приезжала поговорить о Нивельзине — спросить, не имеешь ли каких-нибудь известий о нем, — уверяю тебя, голубочка, потому что, уверяю тебя, она и теперь сохраняет некоторое расположение к нему. Она, бедняжка, только не решилась спросить о нем. А поверь, так.

Жена сказала, что она сама подумала так, и, не дожидаясь вопроса, тяжелого для Савеловой, рассказала все, что знает о Нивельзине, — он в то время еще не возвратился из-за границы. Савелова слушала с интересом, и призналась в этом, и благодарила за рассказ, и потом продолжала прежний разговор.

Мгновенно углубившись в небольшое размышление, муж объявил, что когда так, то нет: Савелова приезжала не за этим. Если б за этим, то после и не было бы никакого другого разговора. Видно, она вспоминает о Нивельзине мило и нежно; и крестится обеими руками от радости, что не заставили ее уехать с этим человеком, о котором так приятно плакать.

Волгина очень желала бы не отдать визита Савеловой. И не отдала бы, если б этим нарушились только правила этикета. Но Савелова увидела бы в этом не простое пренебрежение условных обычаев, а презрение к своему характеру, — была бы слишком жестоко поражена. Волгина пожалела ее. Сделала принуждение себе и поехала отдать ей визит. Но с тем, чтоб не пришлось повторять его. Этого можно было достичь, не обижая женщину более жалкую, нежели дурную. Волгина хотела мягко, но решительно сказать, что не

может наряжаться так богато, как аристократки, с которыми она встречалась бы у Савеловой, что они стали бы смотреть свысока на нее, что из этого происходили бы неприятные столкновения.

Волгина и сказала это. Но, чтобы найти минуту сказать, должна была просидеть у Савеловой гораздо дольше, нежели хотела. Она застала Савелову не одну. Довольно пожилой мужчина в пальто, совершенно по-домашнему расположившись в больших и низеньких мягких креслах, не подходивших к остальной мебели и, очевидно, принесенных в гостиную нарочно для него, пил кофе, читал газету и курил, — все вместе. Савелова на диване подле него вышивала угол полотняного платка. Картина походила на семейную, и Волгина подумала, что мужчина — какой-нибудь родственник хозяйки или хозяина, приехавший в Петербург погостить. Но Савелова отрекомендовала его как «Петра Степаныча, о котором она так много говорила»; и как села, Волгина должна была высказать свое мнение об узоре платка: оказалось, что платок вышивается для Петра Степаныча. Действительно, Савелова очень много толковала о Петре Степаныче, бывши с визитом у Волгиной, — почти все только о нем и толковала. Кто такой Петр Степаныч, Савелова не объясняла: вероятно, по ее мнению, все в Петербурге или в целой России должны были знать, кто Петр Степаныч; Волгина не знала и не полюбопытствовала спросить; но скоро увидела из ее слов, что Петр Степаныч — какой-то чрезвычайно высокий сановник, по всей вероятности, начальник Савелова. Дальше оказывалось, что он совершенно одинокий человек, старый холостяк. Савелова не могла досыта наговориться о своей дружбе с Петром Степанычем и приплетала ее ко всему, о чем болтала. Она сваливала на Петра Степаныча даже и то, что не была у Волгиной во время дачного сезона: нельзя было вырваться от Петра Степаныча, чтоб съездить из Ораниенбаума в Петербург и заехать к Волгиной на Петровский. Поверит ли Волгина? Она во все лето ни разу не была в Петербурге. Они жили в Ораниенбауме потому, что там жил Петр Степаныч: ее муж должен каждый день работать с Петром Степанычем. Она и прежде была очень хороша с Петром Степанычем; но в Ораниенбауме они подружились так, что он решительно не мог жить без нее: все вместе, все вместе; и теперь он беспрестанно

у нее: каждый день, сидит утро или сидит вечер. Это было бы утомительно, если бы Петр Степаныч не был такой милый человек и если бы она не любила его. Но она очень любит Петра Степаныча, потому нисколько не обременяется.

Тут было страшно много хвастовства; еще больше аффектации. Но Волгиной казалось, что есть и кое-что похожее на искреннее расположение к Петру Степанычу. О том, что тут нет ничего похожего на волокитство со стороны Петра Степаныча, нечего было и сомневаться.

Петр Степаныч бросил газету и оказался очень разговорчивым собеседником. Анекдоты его были милы; шутки не пошлы; серьезные слова не глупы. Вся манера его держать себя была совершенно без претензий. Лицо его было еще красиво; волоса еще довольно густы и без седин. Но он не забывал свои сорок с лишком — быть может, и пятьдесят лет. Зато совершенно не считал нужным помнить, что он очень высокий сановник. Очевидно, он любил Савелову как родную и верил, что она любит его совершенно бескорыстно. Эта уверенность была отчасти слишком наивна. Впрочем, ошибка его не была неизвинительна. Если Савелова и начала ухаживать за ним исключительно по служебным надобностям мужа, то теперь имела до некоторой степени и душевную привязанность к нему. Действительно, он был так искренен с нею, что нельзя было ей не начать хоть немножко платить ему тем же. Вообще он очень понравился Волгиной: показался человеком добрым; честным; не орлом по уму, но далеко не дураком.

Через полчаса или больше пришел в гостиную Савелов с бумагами в руках. Как видно, он не знал, что у его жены сидит Волгина; быть может, не знал, что его жена и знакома с нею. Волгиной было довольно забавно подметить, как ловко и быстро он согнал со своего лица удивление и устроил мину, прекрасно показавшую, что он не имеет удовольствия знать — кто гостья, но что вид неизвестной дамы произвел на него самое выгодное для нее впечатление. А когда жена представила его Волгиной, он сделался непритворно мил и, без особенных церемоний извинившись перед Петром Степанычем, что заставит его несколько подождать разговора о делах, сел к Волгиной и довольно долго говорил с нею, главным образом о своем уважении к ее супругу. Волгина засмеялась и благодарила его за любезность.

Но он очень серьезно отвечал, что она ошибается: он говорит о ее супруге то, что чувствует. Дороги, по которым идут он и Волгин, очень различны, и хоть ведут к одной цели, но не представляют им случаев встречаться на пути к ней. Притом же Волгин затворник; даже у Рязанцева, единственного общего друга их, бывает редко, да и то лишь в назначенные дни, когда собирается толпа. А он по своим официальным отношениям избегает являться в эту толпу. Потому он не знает, скоро ли встретится с Волгиным. А нарочно искать сближения — это было бы неудобно при его официальном положении, при положении Волгина в литературе; сплетники сочинили бы, что кто-нибудь из них ищет чего-нибудь в другом. Он дорожит репутациею независимости; Волгин, конечно, не меньше. Тем больше он рад, что его жена и Волгина подружились: он надеется, что из этого естественно выйдет сближение между ним и Волгиным. А пока он просит ее передать его чувства ее супругу.

Это было еще до приезда Нивельзина из-за границы. Волгин не хотел поверить жене, что в длинных и горячих тирадах Савелова об уважении к нему должно быть что-то серьезное: «Э, голубочка! на что ему заботиться расположить меня в свою пользу? Просто он хотел быть любезен». Но когда приехал Нивельзин и Рязанцев объявил Волгиной, что ее муж посылал Нивельзина с важными поручениями в Лондон, Волгин понял, что действительно слова Савелова не были пустою любезностью. В те времена петербургские реформаторы добивались, чтобы в Лондоне были милостивы к ним. Савелов вообразил, что Волгин пользуется там сильным влиянием.

Только дикарю Волгину представлялось, будто бы Савелова должна была до такой степени совеститься своего бегства, что не приехала бы к Волгиной без очень серьезной надобности в совете или помощи. Когда он сообразил все обстоятельства, раскрывшиеся для него в последствии времени, то увидел, что предположение жены было справедливо: в этот раз Савелова приезжала просто затем, чтобы показать Волгиной — и окончательно убедить саму себя, — что не имеет причины стыдиться: ее поступок был хорош, она пожертвовала

преступною страстью для священных обязанностей и достойна не порицания, как, может, представляется Волгиной, а почтения и похвалы.

Она пылко протестовала против решимости Волгиной не входить в аристократический круг; она с пафосом говорила, что не хочет подчиняться излишней гордости Волгиной, не согласна лишить себя ее дружбы. Но видно было, что, в сущности, для нее все равно. Волгина думала: может быть, увижу ее у себя еще раз или два, — вероятнее, не увижу.

Но сомневалась только до приезда Нивельзина. А подружившись с ним, предполагала, что не увидит ее у себя.

Пусть отношения к мужу, к Петру Степанычу, к целому десятку важных старух и целому стаду важных стариков были для Савеловой важнее любви. Но все-таки она любила Нивельзина со всею силой, какую могло иметь благородное чувство в ее сердце, не совершенно дурном, хоть и слишком набитом пошлостью. Пусть воспоминание об этой любви успело очень ослабеть в долгие месяцы, наполненные светскими заботами и полубескорыстною возней с дружбою Петра Степаныча. Но все-таки это было единственное поэтическое воспоминание, — единственное, которое годилось для минут благородного настроения души. Оно не могло не быть мило ей. В ней должна была сохраняться нежность к Нивельзину. Ей не могло не быть тяжело смотреть на Волгину, когда она стала видеть Волгину вместе с Нивельзиным и на Невском, и в театре.

И, однако же, она приехала к Волгиной — в то утро, которое Волгин употребил на тревожные разъезды с просьбами разыскать, где Левицкий, что с ним. Она приехала очень бойкая и развязная, но слишком бойкая и развязная, так что напомнила Волгиной совершенную непринужденность Алексея Иваныча, когда Алексей Иваныч становится в отчаянии развязным светским человеком, чрезвычайно свободно попирающим все свои затруднения. «Бедная! Что с вами? Что грозит вам?» — едва не вскликнула Волгина при взгляде на ее натянуто-беззаботную улыбку, принужденно веселое лицо. Но она, с неудержимою говорливостью, какою блистал и Алексей Иваныч, когда бывал так же беззаботен,

очень скоро успела отличиться так ловко, что и сам Алексей Иваныч согласился бы признать ее превосходство над собою.

Она приехала звать Волгину на обед. Она уверена, Волгина сделает ей это удовольствие. Возражения Волгиной не применяются к этому случаю: обед будет совершенно запросто, маленький, скромный — можно сказать, семейный. Будут только сослуживцы ее мужа — старики. Не будет ни одной дамы. Для такого общества не нужны брильянты, дорогие кружева. Она сама не будет в бальном платье. Этот обед — завтра. Это именины ее мужа. Она не сомневается, Волгина приедет.

Все это говорилось таким тоном, будто в самом деле ей только стоило сказать: «Приезжайте» — и Волгина с восторгом поедет, будто Волгиной должна быть необыкновенно приятна честь сидеть за одним столом с нею, с ее мужем и его сослуживцами. Вероятно, бедняжка не воображала давать такой тон своим словам; вероятно, она только усердствовала показать, что не затрудняется и не сомневается. Но слишком усердствовала, и выходил такой тон.

— Зачем же я поеду? — холодно сказала Волгина.

Ей будет так приятно, если приедет Волгина. Сослуживцы ее мужа — все старики, все скучные. С ними такая невыносимая тоска! Она уверена, Волгина не откажется: вдвоем им будет весело. Ей одной невыносимо скучно. С Волгиной она сейчас же после обеда уйдет в свою комнату; одна, она должна будет оставаться с этими гостями и умрет от скуки.

Необычайная легкость тона продолжалась. Решительно, сам Алексей Иваныч не мог бы говорить так умно и мило.

— Вам хочется, чтобы за обедом была какая-нибудь дама, которая дала бы вам предлог уйти от скучных стариков, желание очень естественное. Но я полагаю, что у вас есть сотня приятельниц. Можете выбрать из них любую.

Но она выбирает Лидию Васильевну. Неужели Лидия Васильевна откажет ей в этой маленькой дружеской услуге?

— Если б я не видела, что вы взволнована, я сказала бы вам: разве ваши обеды такая честь для меня? Кажется, я довольно ясно говорила вам, что не хочу

бывать у вас ни на обедах, ни до обедов, ни после обедов? Почему это? Между прочим, и потому, что вы слишком заняты важностью вашего мужа. Я сказала бы это и попросила бы вас идти вон. Но вы сама не понимаете, что ваши слова были дерзки. Я не должна сердиться. Не должна, и, однако же, сержусь. Но удерживаюсь. Вместо того чтобы попросить вас уйти, спрашиваю: зачем вы приехали? Говорите прямо, если не хотите, чтоб я потеряла терпение. Зачем вам надобно, чтоб я приехала завтра на ваш обед? Это серьезная надобность? Если очень, очень серьезная и если никто не может заменить меня, то я подумаю — и могу согласиться.

Савелова вспыхнула и несколько времени сидела молча; по-видимому, она не знала, что ей делать; вероятно, первою ее мыслью было, что Волгина оскорбила ее и что она должна встать и уйти, сказав, что она не ожидала такой обиды, — или что-нибудь подобное. В самом деле, слова Волгиной были очень суровы. Но Савелова не хотела обращать внимания на прежние холодные замечания Волгиной и упорно оставалась при своем легком тоне, будто не верила, что женщина, муж которой не важный человек, может не считать за честь себе ее приглашение, — будто не верила, что Волгина, бывши у нее, серьезно говорила о своем нежелании входить в ее общество. Савеловой трудно было принять подобные слова за правду, когда сама она жертвовала всем для своей светской карьеры. Она, по своему характеру, должна была считать их только притворством, которое будет отброшено в сторону при настойчивости с ее стороны. Может быть и то, что она, в своей отчаянной бойкости, и действительно не понимала, как нагл и раздражителен тон ее приглашения. Теперь она опомнилась и сидела, не зная, что ей делать. Вероятно, сначала в ней преобладало то впечатление, что она обижена, должна встать и уйти. Она будто порывалась встать, — но не вставала. Она сидела молча. Грудь ее стала дышать тяжело, на глазах у нее стали навертываться слезы.

— Я остановила вас, может быть, слишком резко; но должна была остановить, потому что начинала терять терпение. Я вспыльчива, — сказала Волгина, смягчившись: видеть огорчение, страдание — это обезоруживало

ее. — Я очень вспыльчива, но зато моя досада и быстро проходит. Не могу не любить ваше личико. Помиримся. Не плачьте, пожалуйста. Для вас необходимо, чтобы я не оставила вас быть одну за вашим обедом?

— Боже мой, боже мой, если бы я могла обратиться к кому-нибудь, кроме вас, разве приехала бы к вам? — простонала Савелова. — Я люблю Нивельзина, я ревную, я завидую, я люблю его, — она залилась слезами. — Я люблю его, и все-таки я обращаюсь к вам! О, поймите же, как велико мое страдание!

Волгина стала ласкать ее, чтоб успокоить. Сказала, что приедет; говорила, что в чем бы ни состояло горе Савеловой, вероятно, она слишком робеет; что, вероятно, можно будет отвратить его.

Савелова рыдала до того, что совершенно расстроила свои нервы, и горячечная экзальтация овладела бедняжкою. Она повисла на шею Волгиной, обливала ее слезами, говорила о том, что никогда не забудет Нивельзина, что Нивельзин не может любить ее, но что она любит его, что любовь к нему поддерживает ее, что без любви к нему она сделалась бы презренною женщиною, что она благодарит Нивельзина за счастье, которое давала ей любовь к нему, что она не эгоистка, не завистница, что она любит Нивельзина как брата, что у нее теперь одно желание — то, чтобы он был счастлив, что скоро она будет иметь силу сама сказать ему это, что она просит Волгину сказать ему, что она любит его как брата, убедить его, чтобы он не презирал ее, что она нежно желает ему счастья, что она счастлива его счастьем.

Конечно, мимолетная экзальтация гораздо больше участвовала в этих нежных излияниях, нежели прочное чувство. Но если бы тут был Волгин, все-таки он расчувствовался бы до глубины души, по основательному соображению, что сердце, способное хоть на минуту возвышаться до такого энтузиазма, не совершенно испорчено. Так он и решил, когда в последствии времени узнал об этой сцене: сказал, что Савелова, в сущности, хорошая женщина; размыслил и повторил: «Да, как бы то ни было, все-таки не совсем дурная женщина».

Волгина не занималась размышлениями о том, хорошая ли женщина Савелова, а уговаривала ее выпить

холодной воды, наконец успела заставить выпить стакан; после того повела ее к рукомойнику и велела ей умыться, дала выпить еще стакан холодной воды и после того стала говорить о деле:

— Я сказала вам, что приеду на ваш обед. Следовательно, это вещь решенная. Но я думаю, что для вас самой было бы полезно, если бы вы предупредили меня, какой помощи вы ждете от меня?

Только той, чтоб Волгина не покидала ее после обеда. Савелова опять начинала волноваться.

— Только? Там будет Петр Степаныч?

— Конечно, будет.

— Неужели он не мог бы оказать вам этой услуги? Вы понимаете — я не думаю отказываться: дала слово, то уже не стану отговариваться. Но вы так дружна е этим добрым, честным человеком? Неужели вы не могли попросить его, чтоб он не отходил от вас, если вам надобно было только, чтобы кто-нибудь был подле вас?

— Я не могла сказать даже и ему... Никто не должен знать, даже и он... И я не знаю, захотел ли бы он... — Савелова опять начинала трепетать. — Вы одна можете... И перед вами мне уже все равно стыдиться: вы презираете меня...

Волгиной опять пришлось успокаивать ее. В том, что она не решилась бросить мужа, нет ничего особенного; почти все поступили бы точно так же, как она. Савелова была расположена думать, что не заслуживает порицания, да и не горевала о Нивельзине; потому утешилась очень легко. Воспоминания не были особенно важны для нее, как убедилась Волгина: она мучилась только опасностью, которая теперь грозит. Опасность была и велика, и дурна; это было видно из того, что Савелова стыдилась сказать о ней Петру Степановичу и не надеялась на его желание или силу пособить. Но в чем состоит эта ужасная и постыдная опасность, Волгина не видела; и не стала больше спрашивать, хоть было бы очень полезно узнать это заранее, чтобы обдумать, что и как можно сделать. Савеловой слишком тяжело было говорить, и Волгина отпустила ее со словами, что она не хочет знать ничего, — и не будет видеть ничего, кроме того, что надобно будет видеть для ее пользы.

Савелов не имел состояния и был не жаден на деньги; дорожил своею вполне заслуженною репутациею бескорыстного человека и презирал внешний блеск. Квартира Савеловых была немногим больше квартиры Волгиных и мёблирована почти так же скромно.

Но если неподвижная мёбель не очень большой гостиной была не блистательна, тем ослепительнее резал глаза эффект ходячей мёблировки, которая вся собралась в гостиную; в то время, как приехала Волгина, в зале устанавливали раздвижной стол, и все съехавшиеся на обед были загнаны этим в одну комнату. Звездоносными группами они тихонько толклись вдоль окон гостиной. На пятнадцати или шестнадцати фраках и военных мундирах сияло чуть ли не десятка три звезд.

Хозяйка, выбежавшая в зал встречать гостью, провела ее мимо звездоносцев, не удостоив ни одного из них словом или знаком, что он может идти за нею и гостьею к дивану. И ни один звездоносец не осмелился сопутствовать дамам без приглашения: все потянулись в другую половину комнаты, распределились вдоль окон и солидно, тихо передвигались там, переминались, поговаривали, помалчивали, все смирно и в совершенном удовольствии.

И не только хозяйка предоставила этим смирным созвездиям заниматься между собою, как могут, — даже и хозяин был так же бесцеремонен с ними. Савелова не было в гостиной. Тридцать звезд на пятнадцати сановниках не смели, как видно, обижаться: двигались вдоль окон, скромно сияя.

Внезапно они замерцали паническими переливами света, закопошились и обратились на дверь из зала. В зале раздался голос хозяина:

— Я замучил вас; но будьте добр, заезжайте в канцелярию и останьтесь там, пока доклад будет переписан: прошу вас об этом, не в службу, а дружбу. Мне хочется, чтобы к шести часам он был здесь. Мне все тут и подписали бы его. Петр Степаныч также будет здесь, и в восемь часов я повез бы его Чаплину.

— Будьте уверен, в шесть часов доклад будет здесь, — отвечал другой голос — конечно, чиновника, работавшего с Савеловым и теперь отпускаемого им. — Я надеюсь, что успею и прочесть внимательно, чтобы не было описок.

Чиновник говорил с Савеловым без подобострастного тона; так свободно, что даже не вставил «ваше превосходительство». В тоне Савелова не было чванства: он не был горд перед кем нечего было важничать.

— Этим не обременяйте себя: вы устали; дождитесь только, пока будет переписано все и станут сшивать. Вам надобно отдохнуть. Я могу поправить описки сам: когда буду читать графу, увижу и отмечу.

— Очень благодарен вам, Яков Кириллыч, за такое облегчение, — сказал чиновник, — действительно, я устал. Но и вы не меньше моего.

— Кланяйтесь Анне Ивановне, поцелуйте за меня Митю, Варенька такая большая, что не смею посылать ей поцелуя.

Конечно, это были жена и дети его сотрудника. Он был внимателен и добр, когда это было возможно.

Чиновник не боялся его, по всей вероятности. А сияние звезд было отчасти тревожно.

Хозяин показался в дверях; он был одет запросто, в сером пальто, несколько потертом по рубцам обшлагов; в дверях он замедлил шаг, расправляясь — «выпрямляясь» нельзя сказать, потому что он не был сгорблен: вероятно, он никогда не сгорбливался, — он повел плечами назад, несколько выгибаясь на спину, как делает человек, не сгибавший стана, но уставший от долгой работы, стал расправляться, перегибаясь на спину, но, увидевши Волгину, отказал себе в удовольствии кончить это фамильярное движение: перед созвездиями он не считал нужным церемониться, но перед дамою он обратился в светского человека. Наскоро обошел звездоносцев, подавая обе руки, двоим враз, мимоходом, милостиво наделяя их небрежными приветствиями; поспешил бросить эти созвездия, чтобы подойти к даме, и несколько минут сидел подле Волгиной.

Она ждала, что ее присутствие произведет на него очень неприятное впечатление. Зачем именно упросила ее приехать Савелова, она еще не знала. Но было несомненно, что тут будет какая-то борьба против него: кого и чего могла бы трепетать Савелова, если бы муж не был в союзе с противною стороною? Волгина ждала, что Савелов увидит в ней врага какого-нибудь своего плана или требования. Нет, он, очевидно, не придавал никакой особенной важности тому, что она тут.

Через минуту Волгина даже увидела из его разговора: он знал, что жена пригласила ее, — жена пригласила ее с его согласия.

— Что же значит все это? — тихо спросила Волгина Савелову, когда он пошел наконец удостаивать созвездия своего хозяйского внимания. — Я не понимаю, чего вы можете опасаться. Ваш муж не думает, что вы призвали меня на помощь против него?

— Петр Степаныч просил, чтобы мы пригласили вас.

— Петр Степаныч? Вы сделали Петра Степаныча моим поклонником?

— Боже мой, боже мой! Не смейтесь надо мною! Я должна была просить Петра Степаныча. Мой муж не должен знать ничего. Он не простил бы мне.

Созвездия снова закопошились: слуга доложил о приезде его высокопревосходительства, Петра Степановича.

— Подавать обед, — громко отвечал на доклад хозяин, двигаясь встретить Петра Степаныча.

«Что ж это, — думала Волгина. — Чего она боялась от этого обеда, когда за обедом не будет никого, кроме этих стариков, которые ничтожны для нее и для ее мужа? Петра Степаныча нечего и считать: он свой для нее».

Петр Степаныч обошелся с подчиненными ему звездоносцами очень любезно, гораздо внимательнее, нежели Савелов; потом предался своей обязанности заниматься исключительно Волгиною. Он помнил, что он просил, чтобы она была приглашена.

Вошел слуга и доложил хозяйке, что повар просит извинить и обождать несколько минут: обед еще немножко не готов.

— Обождать — то обождем, — весело и добродушно заметил Петр Степаныч.

Конечно, он не мог понимать — не мог предполагать, что задержка не в поваре. Волгина взглянула на Савелову, Савелова вспыхнула.

Это было хуже всего, что знала о ней, чего могла ожидать от нее Волгина. Пожертвовать любовником для нелюбимого мужа — дело такое обыкновенное, гораздо более обыкновенное, нежели пожертвовать своим положением в свете для любви. Но тут было что-то менее обыкновенное. Какая-то проделка, при которой должен остаться в дураках Петр Степаныч, — и Саве-

лова не предупредила человека, который так честно и сильно расположен к ней. Первым порывом Волгиной было сказать Савеловой: «Вы ждете еще кого-нибудь?» Но она удержалась: ей подумалось, что Савелова не могла бы добровольно участвовать в интриге против своего честного друга; что, вероятно, принуждение со стороны мужа было слишком грозно; что, вероятно, Савелова и сама достаточно чувствует унизительность своей роля перед Петром Степанычем. Волгина только взглянула на Савелову — и пожалела даже о том, что взглянула: Савелова совершенно растерялась от ее взгляда; так, только ее мужа надобно винить за ее пошлую роль. Волгина продолжала разговор с Петром Степанычем, чтобы дать ей время оправиться.

В дверях опять явился слуга и провозгласил:

— Его светлость, граф Илларион Илларионыч Чаплин.

Созвездия вздрогнули и окаменели.

— Граф Чаплин! — с изумлением произнес хозяин и торопливо пошел в зал.

— Граф Чаплин! — сказал Петр Степаныч, наклонившись к Савеловой. — Вот почему обед не был готов! Граф Чаплин, — и вы не предупредили меня! И вы хотели, чтобы я был в дураках! Но нет, я несправедлив к вам, добрая, милая моя Антонина Дмитриевна, — тотчас же прибавил он. — Вы не могли хотеть обманывать меня. О, теперь я понимаю Якова Кириллыча! Он хочет сесть на мое место! Я не ожидал, что он захочет поступить со мною так! Интриги против меня! Но вас я не виню. Вы только боялись сказать мне. Яков Кириллыч интригует против меня! Горько мне, горько, Антонина Дмитриевна!

— Петр Степаныч! — только и могла проговорить она, и слезы брызнули у бедной женщины.

— Довольно, заметят, — шепнула Волгина.

Но не было большой опасности, что. заметит кто-нибудь, пока еще не возвратился наблюдать Савелов. Если бы Петр Степаныч и Савелова обнялись, может быть, и то прошло бы не замечено никем из звездоносцев: так окаменели они от изумления и благоговения. Савелова успела отереть слезы, пока способность видеть и понимать возвратилась к звездоносцам. Да и тут им было не до хозяйки и не до Петра Степаныча:

все внимание их было поглощено ожиданием неожиданного посетителя.

Посетитель подавал о себе предвестия, изумлявшие Волгину.

Вероятно, еще из передней начали доноситься в гостиную первые предвестия: посетитель ступал, производя ногами стук, подобного которому не могут делать сапоги петербургского мужика, — они слишком легки, — для такого стука необходимы деревенские, мужицкие, двухпудовые. Вероятно, не в таких же сапогах ходит граф Чаплин? Как же он умудряется делать такую стукотню? Потом стало слышно сопенье — громче и громче, — с храпом и сопом, раздалось: «Вот я и у вас, Яков Кириллыч. Поздравляю». Стук, сон и храп заглушили любезность, которую отвечал хозяин: слышно было только, что Савелов говорит: но чтó такое говорит, нельзя было разобрать. Стук, соп и храп усиливались, отдавались эхом по залу, — и вот отдались еще новым эхом, уже от стен гостиной: в двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человекоподобная масса.

Ввалила — потому что она не шла, а валила, высоко подымая колени и откидывая их вбок, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко от корпуса, будто под мышками было положено по арбузу, ворочаясь всем корпусом, с выпятившимся животом, ворочаясь и головою с отвислыми брылами до плеч, с полуоткрытым, слюнявым ртом, поочередно суживавшимся и расширявшимся при каждом взрыве сопа и храпа, с оловянными, заплывшими салом крошечными глазками. Правда, такому тучному человеку нельзя иметь плавную, легкую походку; но другие, изредка встречающиеся, такие же толстяки, умеют ходить, хоть и неуклюжим образом, все-таки по-человечески, — умеют потому, что помнят о своем безобразии, стараются, чтоб оно не производило слишком отвратительного впечатления. Чаплин был совершенно без церемоний. Видя его милые движения, слыша его храп и соп, можно было удивляться только тому, что на нем военный сюртук, а не нанковый халат: как это нарядился военным разжиревший мясник?

Без малейшего сомнения, это был переодетый мясник: по лицу нельзя было не угадать. Не то чтобы оно имело выражение кровожадности или хоть жестоко-

сти; но оно не имело никакого человеческого выражения — ни даже идиотского, потому что и на лице идиота есть какой-нибудь, хоть очень слабый и искаженный, отпечаток человеческого смысла; а на этом лице было полнейшее бессмыслие, коровье бессмыслие — нимало не жестокое, ничуть не злое, только совершенно бесчувственное. Ни лавочник, ни трактирщик, ни разбогатевший мужик, превращающиеся иногда в таких толстяков, не утрачивают смысла до такой степени: они видят людей или природу, это поддерживает следы смысла на их лице. Только мясник — человек, не смотревший ни на людей, ни на природу, смотревший все лишь на скотов и на скотов, — мог приобрести такое скотское выражение лица.

И такой кровяной цвет лица. Мясник не кровопийца. Нет, он не пьет крови. Он только дышит запахом ее — спокойно, беззлобно — и с пользою своему здоровью: дышать запахом крови — это очень здорово. Благодаря этому, как бы ни заплыл жиром мясник, его лицо пышет цветущей кровяною свежестью. У всякого другого толстяка, так ожиревшего, лицо имеет сальный цвет, желтовато-тусклый. У этого сало пропитано свежею кровью, которою надышался он. Нет сомнения, это переодетый мясник.

Раскачивая выпяченным животом, раскидывая коленами и болтая оттопыренными руками, поматывая брылами, хамкая слюнявыми губами, переодетый мясник валил к Савеловой. С храпом и сопом мясник проговорил:

— Я приехал на именины Якова Кириллыча. Вот сюрприз вам. Поздравляю.

— Благодарю вас, граф; прошу садиться, — сухо отвечала Савелова. С провозглашения о приезде графа Чаплина Волгина не смотрела на Савелову: и без того Савеловой должно было быть слишком тяжело. Теперь, казалось Волгиной, Савелова ждет ее взгляда в награду, в одобрение своей решимости быть холодною с этим отвратительным человеком.

— Это прекрасно, — сказала Волгина, перенося взгляд через Савелову на Петра Степаныча и будто бы продолжая прежний разговор.

Петр Степаныч посмотрел на Волгину, не поняв:

— Вы сказали?

— А вы не слушали, что я говорила! О, как это мило! В наказание вам не хочу повторять.

— Действительно, я был рассеян в эту минуту и не вслушался.

— И нет особенной потери.

— Вот и я здесь, Петр Степаныч, — проговорил мясник. — Здравствуйте. Очень рад. — Он опустился на диван подле Савеловой и обратился опять к ней: — Мне так приятно, что я приехал к вам.

— Благодарю вас, граф, — по-прежнему отвечала Савелова и немножко отодвинулась к Волгиной, потому что он уселся было локоть к локтю.

— Однако же у вас довольно тепло, или это я так вспотел? Но мне чрезвычайно приятно, что я приехал к вам, — проговорил мясник, доставая платок, придвинулся опять поближе к Савеловой и принялся утираться. Помолчал, утираясь. — Ужасно вспотел, очень. — Он стал прятать платок, при этом подвинул губы к плечу Савеловой и потихоньку просопел в ухо ей: — А эта ваша знакомая кто? — От такого человека было уже чрезвычайною деликатностью, что он постарался просопеть вопрос потише.

— Лидия Васильевна, рекомендую вам: граф Чаплин. Лидия Васильевна Волгина, граф.

— Мне очень приятно, — просопел мясник, протягивая руку. Волгина отвечала только тем, что кивнула головою, и, повернувшись к Петру Степанычу, сказала:

— Пойдем ходить.

Мясник захлопал глазами, подержал руку на воздухе, хлопнул глазами еще и прибрал руку.

Отходя от дивана, Волгина расслышала, что мясник просопел Савеловой: «Она, должно быть, очень робкая?» Если б он и не был бессмыслен, все равно он не мог бы подумать иначе: конечно, графу Чаплину еще не представлялось случая понять, какое чувство возбуждает его вид.

Ходя по пустому залу, Петр Степаныч жаловался Волгиной на коварство и неблагодарность Савелова. Как могли скрыть от него, что приглашен граф Чаплин? Савелову он не винит: она не скрыла б от него, если бы не велел муж. Но стал ли бы скрывать Савелов, если бы тут не было интриги? Вот уже две недели, или больше, Савелов не был у графа без Петра Степаныча, сколько было известно Петру Степанычу.

Когда же он пригласил Чаплина? Очевидно, он бывает у Чаплина тайком от Петра Степаныча. Почему же тайком, если бывает не за тем, чтоб интриговать против Петра Степаныча? Потому надобно было скрывать и то, что граф Чаплин приглашен.

— Я не хочу защищать Савелова, я не считаю его хорошим человеком. Но я почти уверена, что он не бывал у Чаплина тайком от вас, — сказала Волгина. Она полагала, что приглашение было сделано не мужем, а женою, по приказанию мужа.

— Как же нет, когда граф приглашен, и Савелов скрывал от меня это? Зачем было бы скрывать, и кто мог бы пригласить?

— Я не могу ничего отвечать на эти вопросы. Но Савелов не так глуп, чтоб ездить к Чаплину тайком от вас: разве мог бы он надеяться, что подобные проделки останутся секретом? Я думаю, у него сотни врагов, которые следят за каждым его шагом.

Это правда, — сказал Петр Степаныч, задумываясь. — Но кто же мог пригласить Чаплина? И зачем было скрывать от меня, если тут нет интриги? — Добрый Петр Степаныч не мог и вообразить, что интрига ведется через Савелову: он был слишком убежден в ее дружбе. Потому-то Волгина и рассчитывала, что может возразить против его неудачной мысли о тайных визитах Савелова, не компрометируя Савелову. Волгина надеялась убедить ее, чтоб она сама открыла все Петру Степанычу, если интрига не разрушится: Петр Степаныч так любил ее, что простил бы ей все и мог бы служить ей опорою против требований мужа, если бы муж не согласился освободить ее от слишком тяжелой игры в кокетство с человеком, который создан не так, чтобы довольствоваться улыбками и тому подобными так называемыми невинными любезностями.

— Я не говорю вам, что тут не может быть интриги. Не мое дело говорить об этом. Но я почти совершенно уверена, что Савелов не бывал тайком от вас у Чаплина. Вы должны тем больше доверять моему мнению, что я вовсе не расположена к Савелову.

— Как же здесь Чаплин? Яков Кириллыч не из тех немногих, о которых Чаплин помнит сам. Кто-нибудь должен был сказать ему, что Яков Кириллыч празднует ныне свои именины. Кто-нибудь должен был прислать его сюда.

Петр Степаныч был так уверен в Савеловой, что скорее, нежели подумать о ней, готов был предполагать какое-нибудь постороннее влияние на Чаплина. Волгина должна была молчать, слушая его догадки о том, какой бы из его врагов или соперников мог войти в заговор с Савеловым.

В зал вошел Савелов и пошел подле Петра Степаныча. Лицо Савелова было угрюмо — даже больше: печально и с тем вместе раздражено. Раза два прошли по залу молча.

— Дорого дал бы я, чтоб узнать, кто устроил эту интригу, и постарался бы отблагодарить этого человека! — проговорил Савелов сквозь зубы, стискивая кулак. — Петр Степаныч, если это дело не разъяснится, я подам в отставку.

— Что вы сказали, Яков Кириллыч? — Петр Степаныч был поражен изумлением.

— Я спрашивал у Чаплина, Нина спрашивала у него, — кто сказал ему, что я ныне праздную свои именины, что он поступит очень мило, если приедет сюрпризом. Он говорит: «Никто, я сам». Это невозможно. Кто-нибудь подучил его — бедняк не может понимать, на что подучили его! Он хотел оказать мне честь своим приездом, невинное существо! Кто из моих врагов подучил его? У кого могло быть столько хитрости, чтобы нанести мне удар такой ловкий? Этот человек может достичь своей цели. Он очень хорошо рассчитал мой характер. Я должен буду подать в отставку, если это дело не разъяснится. Я понимаю, в какое положение перед вами ставит меня эта интрига, и не соглашусь оставаться в таком положении. Выйти в отставку значило бы для меня с Ниною остаться без куска хлеба, не говоря обо всем остальном, почему я дорожу службою. Но этот человек знал, что для меня есть вещи дороже и куска хлеба, и всех расчетов, всех стремлений.

Он быстро ушел, не дожидаясь ответа Петра Степаныча.

— Он честолюбец, но он не мог бы так низко интриговать против меня, — сказал Петр Степаныч. — И вы слышали — он хочет подать в отставку, если не обнаружится, что я ошибся? Он не любит шутить. Тем больше такими словами.

Волгина должна была молчать. Только сама Савелова имела право сказать Петру Степанычу — как все это произошло.

Да и какое было дело Волгиной до того, что Савелов хочет ссадить Петра Степаныча и сам сесть на его место? Правда, Петр Степаныч был человек добрый — несомненно, с искренним желанием общей пользы. Но Волгина привыкла слышать от мужа: «Э, голубочка! Все равно, тот ли, другой ли: никто из них не может ничего сделать, как желал бы: больше ничего, как писари, которые пишут, что велят им писать». Она слишком хорошо видела теперь, что хоть муж ее говорит слишком резко и безусловно, но что, в сущности, почти так: что, например, Петр Степаныч ничто перед Чаплиным. Она не могла также не видеть, что, насколько может Петр Степаныч поступать так или иначе, он поступает во всем по мыслям Савелова. Какая же будет потеря, если Савелов и займет его место? Волгина не могла компрометировать Савелову, чтобы сберечь должность Петру Степанычу.

Эффектное уверение Савелова, что он подаст в отставку, совершенно разбило мысли Петра Степаныча.

Чем больше думал этот не глупый, но далеко не чрезвычайно умный человек, тем больше убеждался, что Савелов не ждал приезда Чаплина. Если бы ждал, не остался бы в пальто: оставаться в пальто, когда ждешь графа Чаплина, это слишком фамильярно. Невозможно. Да и жене он велел бы принарядиться: она даже не в бальном платье. Да и по этикеткам на бутылках видно, что не ждали Чаплина: нет слишком высоких сортов вин; да и обед будет посредственный: повар у Савеловых очень, очень немудрый; как было бы не позвать аристократичного повара, если бы ждали Чаплина? А Петр Степаныч знал, что не приглашали другого повара. Словом, все мелочи доказывали, что Савеловы не ждали графа Чаплина. Не могли они рисковать, чтоб он остался недоволен обедом и винами. А это может быть: останется недоволен.

И вот уже четверть часа Чаплин здесь, а обед все еще не подан. Очевидно, когда после приезда Петра Степаныча было прислано от повара сказать, что обед еще не готов, тут не было уловки дожидаться Чаплина: действительно, повар не успел управиться с обедом, слишком превосходившим обычные требования.

Наконец явилась прислуга с чашками супу на подносах. В гостиной тихо, скромно зашелестели десятки сапогов — это звездоносцы устраивали из себя свиту; паркет застонал под сапогами мясника, и граф Чаплин, с храпом и сопом, явился, ведя под руку хозяйку к столу. Он занял место по одну сторону ее. По другую, против него, было место Волгиной; подле Волгиной место Петра Степаныча.

Предположение Петра Степаныча насчет обеда и вин оправдывалось. Граф Чаплин несколько раз изволил выразиться: «Не очень-то; да, соус-то не очень-то»; или: «А повар-то, видно, не очень-то»; или: «А винцо-то не очень-то». Граф Чаплин не изволил стесняться в выражении своих мнений.

Но зато он не стеснялся и в своей манере кушать.

Он находил, что кушанье «не очень-то», но благоволил кушать. Волгина жила в деревне, часто бывала на праздниках у поселян; она не видывала, чтобы самый неопрятный из мужиков держал себя за столом так мило, как изволил кушать граф Чаплин. Когда она была ребенком, отец брал ее с собою в свои служебные разъезды; иногда ему приходилось останавливаться на постоялых дворах, и не раз она видела, как едят извозчики — люди, знаменитые в народе тем, что едят очень много: она не помнила ни одного такого прожорливого, как его светлость граф Чаплин. Он накидывался на каждое кушанье, будто не ел трое суток, и жрал каждого по две, по три порции. Соусы текли с его усов, по его отвислому подбородку: обсасывая кости, он мазал себе всю нижнюю половину рыла; засаливши салфетку, утерся ею по всему лицу, вымазал соусом даже виски; слуга подал другую салфетку, он утер соус — и через пять минут новые полосы нового соуса очутились у него на лбу. Скатерть на пол-аршина кругом его тарелки была вся сплошь залита. Куски мяса валились у него изо рта в тарелку ему, и кругом, и мимо стола, на живот ему, на пол. Волгина отворачивалась, чтобы не видеть, как он жрет; но в ее ушах раздавалось чавканье, чмоканье, фырканье.

Савелова могла бы не очаровывать его, пока он был занят жраньем: пока он жрал, он был равнодушен ко всякому другому очарованию. В начале стола Савелова и не очаровывала его: наскоро совала ему на тарел-

ку новый кусок,— через минуту опять: «Кушайте, граф», — и только, даже не улыбалась. Но вдруг улыбнулась ему. Волгина взглянула на противоположный конец стола, где сидел хозяин: хозяин держал против глаз стакан с красным вином, всматривался в него и был недоволен; так он и сказал соседу: «Это вино поддельное, не пейте его», — и отдал приказание слуге: «Возьми эту бутылку, дай другую».

Несколько раз Волгина взглядывала в его сторону, при внезапных усилениях любезности Савеловой к милому гостю. Но уже не могла поймать Савелова в том, как он отдает безмолвные приказания жене. Для него довольно было быть пойманным один раз. Теперь он уже понимал, что Волгина — его враг. Она не могла много мешать ему в отдаче приказаний. Ей нельзя было часто и подолгу смотреть так далеко в сторону: заметили бы. А он с женою сидели лицом против лица.

Чем дальше, тем любезнее становилась хозяйка с милым гостем. Вот она переложила кусок со своей тарелки... И этой любезности мало: она сама стала резать ему кушанье, на его тарелке, склоняясь к нему... Она ест мороженое с одной тарелки с ним... Милый гость жрал очень проворно; но столько, что каждое блюдо доедал последний. Так и при окончании обеда: все должны были ждать, пока граф накушается фруктов. «Ну, не довольно ли будет! — просопел он в нерешительности. Кажется, что довольно. Вот по сих мест», — он провел рукою по месту, где у других людей в военном мундире виден воротник, а у него висели брылы подбородка. «Больше не полезет», — и сунул в пасть персик целиком, хамкнул и выплюнул косточку. «Еще один, пополам со мною», — сказала хозяйка и разрезала новый персик. «Не могу; ей-богу, не полезет — разве сама положите в рот, — ну, тогда полезет», — просопел милый гость, и половина персика была положена в пасть ему.

Стулья загремели. Милый гость, захрапевши от вставания, присовывал локоть к Савеловой. Волгина положила руку на ее талью: «Вы извините, граф: мне кажется, что Антонине Дмитриевне надобно отдохнуть». Она повела Савелову. Чаплин оставался, хлопая глазами.

— Я уведу вас и беру на себя объясниться с вашим мужем.

— О, нет, нет! Нет, нет! — в ужасе прошептала Са­велова.— Нет, я нисколько не устала, — продолжала она громко. — Но я надеюсь, граф, вы извините наш обед; мы не знали...

— Нужды нет, я поел порядком, не беспокойтесь; даже тяжело. Ну, да вот протрясемся с вами-то, и отпустит. Это часто со мною.

Она уселась близко, близко к нему, и разговор их продолжался в том же духе: граф говорил, что вот, когда он протрясется с нею, то и отпустит. Она извиняла своего повара. Он повторял, что нужды нет, ему тяжело, но он протрясется с нею, и тогда отпустит.

— Хотите, я покажу вам всю нашу квартиру, мою комнату, граф? — сказала Савелова через минуту.

— Пожалуй, промнемся немного, — отвечал милый гость.

«Не оставляйте меня одну, — говорила вчера Савелова Волгиной. Но теперь она обращалась к нему, не предлагая Петру Степанычу и Волгиной идти с ними. Она даже бросила на Волгину взгляд, который нельзя было принять иначе, как за просьбу не мешать ей и оставаться в гостиной с Петром Степанычем.

Она ушла со своим милым гостем.

Через две-три минуты вошел слуга и доложил Савелову, что его светлость уезжает, его светлость уже в передней. Савелов пошел проводить гостя. Вернулся; за ним вернулась и Савелова. Она боязливо поглядывала на мужа. Муж не обращал внимания на это.

— Мы уйдем от вас, Петр Степаныч, — сказала Волгина. — Быть может, мы не увидимся с вами больше. На всякий случай прощаюсь.

Савеловой, очевидно, не хотелось этого. Но Волгина встала, и Савелова должна была идти с нею.

Савелова краснела, бледнела и, введя Волгину в свою комнату, простонала и бросилась на постель в подушки лицом.

— Я привела вас сюда не затем, чтобы читать вам мораль. Встаньте, будем говорить о том, как вам избавиться от принуждения со стороны вашего мужа.

Но Савелова не хотела слушать, не хотела встать; лежала лицом в подушки и рыдала.

Волгина отошла от нее, пока она сделается способною думать, и от нечего делать стала осматривать спальную.

Эта довольно большая комната была убрана гораздо лучше парадных, даже не без роскоши, если для жены такого сильного человека, как Савелов, может назваться роскошью мебель, обитая атласом, и превосходное трюмо. На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. На письменном столе были фотографические портреты в дорогих резных рамках.

Подошедши к этому столу, Волгина вздрогнула от удивления: подле портретов Савелова и Петра Степаныча тут стоял портрет Нивельзина.

«Нет, не может быть, чтобы она была так неосторожна! — подумала Волгина. — Невозможно! Как же объяснить? Неужели Савелов способен к такому варварству? И как могло открыться, когда у нее после того не было никаких сношений с Нивельзиным, а тогда муж отступился от прежних подозрений? Как бы то ни было, несомненно то, что она уличена. Так; только при этом и понятно ее рабское повиновение мужу. Иначе она отказалась бы, возмутилась бы, как ни слаб ее характер».

— Вы должны презирать меня!.. Но я еще не сделалась его любовницею!.. О, вы не поверите мне, но я еще не сделалась его любовницею!..

— Я не поверила бы, если бы вы сказали, что вы его любовница. Презирать вас? Теперь, когда я увидела портрет Нивельзина у вас на столе, я сужу снисходительнее о вашем послушании мужу. Как он уличил вас? Этим он принуждает вас?

Этим. Он давно потребовал, чтоб она кокетничала с Чаплиным. Она решительно отказывалась. Как узнал он? Тогда ему донесла ее горничная. Горничная сама не знала ничего хорошенько; только подозревала. Он был совершенно убежден, что горничная оклеветала ее. Но теперь, когда Нивельзин возвратился из-за границы, когда она стала видеть его вместе с Волгиной, в ней пробудилась ревность; она много плакала. Однажды она плакала над письмами Нивельзина. Мужа не было дома. Она не слышала, как он возвратился. Она услышала только, когда уже его шаги приближались. Она успела спрятать письма. Она думала, что он не заметил ничего. Но он заметил, как она прятала что-то.

Через два дня она была на вечере. Он оставался дома. Ей показалось, что он посмотрел на нее с усмеш-

кою, когда она возвратилась. Она притворилась, будто скоро заснула. Он уснул; она встала и вынула маленькую шкатулку, в которой берегла письма и волоса Нивельзина. Двух писем недоставало — двух, более ясных, нежели другие. Конечно, она не могла заснуть до рассвета. Когда она проснулась, мужа не было. Он вернулся, вошел к ней и подал ей четырехугольный пакетик, обернутый в бумагу: «Я привез подарок тебе, Нина»... Это был портрет Нивельзина. Она пошатнулась. Он поддержал ее и сказал: «Я не из тех мужей, которые любят ссориться. Не буду упрекать тебя. Тем меньше надобности ссориться, что я знаю — твои прежние отношения к нему не могут возобновиться. Он увлечен другою привязанностью. Ты сохраняешь расположение к нему, но уже только дружеское, невинное. Я не имел бы ничего даже и против того, чтоб он бывал у нас. Но я понимаю, что это не было бы приятно ни тебе, ни ему. Пусть же по крайней мере его портрет напоминает тебе о нем». Он поставил портрет Нивельзина на ее стол с просьбою не снимать. С того утра она знала, что должна рабски повиноваться ему.

— Я думаю, довольно. Я не имею надобности знать ничего больше, — сказала Волгина и позвонила. Вошла служанка и на вопрос Волгиной, разъезжаются ли гости, отвечала, что нет: сидят, и курят, и, по-видимому, не собираются уезжать. Волгина попросила вызвать Савелова в его кабинет, который был рядом со спальною жены, и перешла туда. Савелов пришел с лицом очень серьезным, но совершенно любезным.

— Постарайтесь, пожалуйста, чтоб ваши гости разъехались поскорее,— сказала Волгина. — Или лучше мне попросить об этом Петра Степаныча?

— Нет, я сам желаю разговора с вами, — отвечал он. — Я очень хорошо знаю, какую силу имеете вы над мыслями Нины. Для меня важно объяснить вам истинное положение дела. Они остаются только затем, чтобы подписать доклад, который будет привезен очень скоро, я надеюсь. Если б не эта сцена, сделанная Ниною, он был бы подписан здесь и Чаплиным. Теперь Петр Степаныч повезет его к Чаплину. Я сам не могу ехать: мой вид только еще больше раздражил бы этого человека. Мне страшно за судьбу этого доклада; о, если бы вы знали, какою великою опасностью грозит, — не нам с Петром Степанычем только, а делу

свободы — эта досада Чаплина! О, как желал бы я, чтобы вместе с вами был здесь и ваш супруг, судить между мною и Ниною!

— Вы хотите пробудить жалость или стыд в моем муже? — сказала Савелова, горько улыбнувшись, когда Волгина вернулась к ней, — напрасная надежда. Слушайте, что было между ним и мною, что заставило меня приехать вчера к вам...

— Я понимаю, что вы приехали ко мне, только потерявши всякую надежду; зачем мне знать подробности?— останавливала ее Волгина. Но жалкая женщина хотела жаловаться и плакать. Волгина принуждена была слушать.

Давно Савелов хотел, чтобы жена его завлекала Чаплина. Она знала всю важность дружбы этого человека и, подавляя отвращение, стала кокетничать с ним. Но это не человек, а животное. Смотреть на женщину, говорить с нею, пожимать ее руку, — в этом нет никакого удовольствия ему. Вероятно, и целовать женщину не очень занимательно для него. Он не человек, он только животное. Женщина имеет для него только одну интересность — быть его наложницею. После трех-четырех разговоров он сказал ей: «Видно вы считаете меня за дурака» — и не хотел больше слушать ее любезностей. Она сказала мужу, что делала все, что могла, и не может сделать ничего. Муж не стал спорить.

Но когда завладел уликами против нее, он снова сказал ей: «Дружба Чаплина чрезвычайно важна для нас, Нина; прошу тебя, приобрети ее». Она должна была приобретать. При втором разговоре Чаплин сказал: «Да что, будто я не понимаю? Вы опять хотите кормить меня пустыми словами». Она принуждена была подавать ему надежду. Но еще два-три разговора, и он уже говорил: «Да что же, какие там у вас помехи да задержки? Я вижу, вы просто отлыниваете». Он злился. На ее беду, он почувствовал влечение к ней, и очень сильное. Он стал бы мстить ей, вредя мужу. Он может обратить ее мужа в ничто. Как она сказала бы мужу: «Я сделала его врагом тебе!» Прощение было бы невозможно. Она мучилась и не могла решиться говорить с мужем. И вот, третьего дня вечером, муж объявил ей, что в нынешнем году хочет

праздновать свои именины парадным обедом и что граф Чаплин должен быть на обеде: «Ныне бал, на котором ты увидишь его; пожалуйста, сделай, чтобы он приехал». Она поехала исполнить поручение. «Ну, что? Опять наплетете какую-нибудь небывальщину? Опять станете отлынивать?» — был привет графа Чаплина. «Нет, — сказала она, — я нашла наконец возможность говорить с вами наедине. Послезавтра именины моего мужа. Приезжайте, и мы будем говорить наедине».— «Как же это будет, по-вашему? С вами надобно ухо держать востро: больно мастерица отлынивать. Ну, как будет свидание?» — «После обеда я поведу вас посмотреть наши комнаты, и мы останемся в моей комнате одни». — «Так-то вы не отлыниваете? — сказал он. — Нашли дурака! Хорошо будет свидание! В соседней комнате усадите гостей; да еще станет поминутно соваться горничная. Понимаем-с! Выйдет: по усам текло, в рот не попало». Он храпел в бешенстве. Она испугалась. «Чего же вы требуете?» — сказала она. «Вот мое условие, государыня моя: после обеда поедем с вами в театр, в карете. Хотите, то прекрасно; не хотите, узнаете, каково играть со мною, точно с дураком». Она согласилась.

Муж дожидался ее возвращения: сидел в халате у постели и читал. «Исполнила мою просьбу, Нина?» — «Да, — отвечала она и отпустила горничную, — исполнила, Жак; но если бы ты знал, чего мне стоило это!» — «Чем труднее было исполнить, тем больше я благодарен тебе, Нина», — отвечал он, сбрасывая халат, и лег. «Выслушай меня, Жак!» — простонала она. «У меня слипаются глаза, Нина. Оставим это». — «Нет, ты должен выслушать меня! Я принуждена была обещать ему, что после обеда мы с ним поедем в театр, в карете!» — «Только-то, Нина? Что за пансионские страхи? Не завезет же он тебя в разбойничью пещеру. Поедете в нашей карете, не так ли? Если б у него на уме и была какая-нибудь подлость, то рассуди, что кучер и лакей твои, будут слушать не его, а тебя. Поедете в театр и приедете прямо в театр. В его ложу, конечно; там его мать, разные кузины. Что тут ужасного? — Он зевнул и закрыл глаза. — Я очень благодарен тебе, Нина». — «Жак! Ты неумолим?» Он молчал. Он притворился уснувшим. «Жак, я должна предупредить тебя, — сказала она, дотронувшись до его руки. —

Я предвидела, что не разжалоблю тебя, и приняла хоть ту предосторожность, что велела ему говорить, будто он приедет сюрпризом. Я сказала, что мы не можем сделать такого обеда, какой был бы необходим, если бы мы говорили, что ждем его». — «Это для меня все равно. Пожалуй, я не буду говорить, что жду его. Но что тебе так вздумалось, Нина?» — «Что сказали бы, если бы узнали, что он приехал по моему приглашению? Кто же не знает, что он может выслушивать желания женщины только тогда, когда она соглашается быть его любовницею?» — «В этом есть своя доля правды, и предосторожность твоя очень умна. Мне не пришло в голову. Хорошо: мы не ждем его. Но вот что: наша скрытность может возбудить неудовольствие в Петре Степаныче. Другим — никому; но ему надобно сказать, Нина». — «Ему меньше, нежели кому-нибудь, Жак: я дорожу его уважением». — «Изволь, Нина; не будем говорить ему. Это каприз твой, не больше; но я так благодарен тебе, что соглашаюсь. Петр Степаныч непременно рассердится и придумает бог знает какие подозрения. Но, так или иначе, можно будет успокоить этого добряка. Да и не очень важно его неудовольствие, если заберем Чаплина в свои руки. Я чрезвычайно благодарен тебе, Нина», — повторил он и в самом деле стал дремать.

Она видела себя обреченною, отданною в жертву Чаплину. Она не могла спать. К рассвету у нее стала возрождаться надежда: он согласился, что ее предосторожность не напрасна. Ему было бы неприятно, если бы все заговорили, что его жена — любовница Чаплина. Она заснула с решимостью возобновить свои мольбы.

Поутру она пошла в кабинет мужа и сказала: «Жак, терзай меня за мое прошлое преступление перед тобою, но терзай сам, не отдавай меня на поругание другому, не отдавай меня на поругание животному бездушному, бесстыдному, отвратительному». — «Ты фантазируешь, Нина, — отвечал он. — Терзать тебя? Я не сделал тебе ни одного упрека за прошлое: я умею забывать ошибки, Нина, когда вижу искреннее желание загладить их в моей памяти — когда вижу, Нина, — до сих пор и видел; и все, что ты слышала от меня, было только: благодарю тебя, ценю твои услуги. Ты несправедлива ко мне. Еще страннее твои слова о каком-то поругании. Я согласен, что услуга, о которой я

прошу тебя, неприятна. Но ты сама знаешь, как велика наша общая с тобою выгода, если мы возьмем Чаплина под нашу власть. Я понимаю, просидеть четверть часа в карете с таким неопрятным и гадким человеком — довольно мучительно. Но что тут особенно ужасного? Я не ребенок, Нина; я очень хорошо знаю, что женщина в подобном tête-á-tête[[16]](#footnote-16) не подвергается никакой опасности, если не увлечется сама. Опасность может состоять только в том, если у женщины взволнуется кровь и она забудет осторожность. С ним ты не можешь испытать этого: он гадок. Чего ж тебе бояться. Ты расфантазировалась и создала себе пустые страхи. Но повторяю: с тем, что это tête-á-tête очень неприятно, я совершенно согласен. Жалею об этой необходимости, Нина, искренне жалею. Но ты сама понимаешь, как важно для нас приобрести поддержку этого человека. Пококетничай с ним полгода — быть может, меньше — и потом ты свободна третировать его, как он того заслуживает. Я требую от тебя немногого. Но требую твердо. Подобные разговоры неприятны; и для того, чтобы они не могли повторяться, я должен поставить вопрос ясно: если ты помогаешь моим планам, ты жена мне; если нет, то нет. Не принимай этого за угрозу. Я не хотел бы развода. Ты очень полезная помощница мне. Но я был принужден совершенно прямо высказать тебе, в чем состоит связь между нами. Если ты порвешь ее, мне будет очень жаль; но она будет порвана. О, нет, не бледней, не трепещи, Нина. Я сказал лишнее. Я уверен, между нами не будет ссоры. Ты не изменишь мне на последних шагах трудного пути, который ведет ко власти! Ты поможешь мне подняться, — ты взойдешь вместе со мною на высоту, где ни тебе, ни мне уже не будет надобности интриговать! И я горд, Нина, как ты, — быть может, гораздо более горд, нежели ты; и мне мучительно хитрить, льстить. Но что же делать? Потерпим, потерпим эту тяжелую необходимость еще немножко — и скоро не будем иметь нужды ни в ком, не будем унижаться ни перед кем! Я надеюсь на тебя, Нина; ты не изменишь мне». Он поцеловал ее в лоб и ушел.

Она не могла удержать его, потому что у нее темнело в глазах, она была близка к обмороку. Да и ка-

кая польза была бы, если б она удержала его и продолжала свои мольбы?

С нею сделалась истерика. Его уже не было дома, он не слышал. Да если б и слышал, и видел, какая была бы разница? Он не поверил бы, подумал бы: «Играет комедию». И если бы поверил, все равно: разве сжалился бы он?

Когда она собралась с мыслями, она поехала к Волгиной. Она думала сказать Чаплину, что Волгина приглашена Петром Степанычем и ее мужем против ее воли; что они нуждаются в Волгине, завязывают сношения с Волгиным через его жену; что она должна соблюдать величайшие церемонии с Волгиною, не может уехать от нее, не может намекнуть ей о надобности уехать от нее. Она стала говорить ему это, лаская его; пока он не понимал, к чему ведет она, он слушал, и верил, и был нежен; но как заикнулась она, что не может уехать от своей гостьи, он захрапел: «А! Так вот к чему вы плели! Отлынивать! Я вам сказал по-русски, что эти ваши нежности не очень-то сытны для меня. Поедем в театр или нет?» Она стала больше ласкаться к нему. Он храпел: «Да это мне что! Поедем ли мы в театр или нет? Нет, видно? Ну, так хорошо же: я вам покажу, каково шутить со мною». В бешенстве он оттолкнул ее руку и ушел.

Что будет теперь с нею? Муж заставит ее умилостивить это отвратительное животное... Она не хотела и начинать говорить об этом с Волгиною: она знала, что помощь невозможна. Волгина привела ее сюда. Волгина знает теперь ее позор, Волгина презирает ее...

— Посмотрим, что можно сделать, — сказала Волгина.

— О, не говорите с ним! Я знаю, как вы будете говорить! Я знаю, потому и не хотела идти сюда с вами, не хотела рассказывать вам! Вы раздражите его против меня! Вы погубите меня! О, умоляю вас! — Она бросилась лицом в подушки и оттуда простонала: — О, умоляю вас, не губите меня!

Она должна была спрятать лицо в подушки, чтобы высказать эту позорную просьбу. О чем умоляла она? — Чтоб не мешали ей сделаться любовницею человека, на которого не могла смотреть без отвращения.

Сострадание боролось в Волгиной с негодованием. Волгина начинала чувствовать стеснение в груди, буд-

то недоставало воздуху дышать. У нее было теперь одно желание: поскорее вырваться из этого жилища гнусностей, поскорее.

Савелова лежала, спрятавши лицо в подушки, и рыдала, твердя: «Пощадите меня! Не губите меня!» Нельзя было, чтобы горничная увидела ее в таком унизительном отчаянии. Нельзя было позвонить. Волгина пошла сама найти кого-нибудь из прислуги, чтоб узнать, разъехались ли гости.

По залу ходил Савелов, сложивши руки на груди, склонивши голову. Но стан его был прям, походка ровная, твердая, как будто спокойного человека.

— Они разъехались, и я ждал вас. Терпеливо ждал, пока Нина выскажет вам все, в чем винит меня. Я не входил и в кабинет, чтобы не мешать ей. Надеюсь, и она не будет мешать мне, — твердо, будто хладнокровно сказал он, идя в гостиную и придвигая кресло к дивану, где садилась Волгина. — Мне хотелось бы говорить спокойно. Не знаю, буду ли я в состоянии. Меня сильно волнует судьба доклада, который повез Петр Степаныч к Чаплину.

— Вы совершенно рассеяли подозрения Петра Степаныча?

— Совершенно. И должен благодарить вас за то, что вы не отняли у меня возможности разуверить его. Вы приехали сюда моим врагом и все-таки не захотели выдать меня ему. Если бы вы сказали ему хоть одно слово, он потерял бы всякое доверие ко мне.

— Мне очень жаль, что я не могла сказать ему этого слова, не компрометируя вашу жену. Жалею и о том, что ее волнение не дало мне теперь возможности посоветовать ей, чтоб она рассказала ему, в чем дело. Не думайте, что я ждала бы от него какой-нибудь помощи ей: нет, я очень вижу, что он не способен бороться с вами. Но ей самой тяжело притворяться перед человеком, который совершенно верит в ее дружбу. Да и мне неприятно было видеть, что обманывают добряка. Я полагаю, и для вас эта надобность была очень неприятна? Я думаю, вы не притворялись раздраженным, когда говорили ему, что подадите в отставку, если не раскроется интрига, устроенная вашим врагом, — я думаю, вы действительно были раздражен необходимостью прибегать к обману? Вероятно, досада, в которой уехал Чаплин, также помогла вам окон-

чательно рассеять сомнения Петра Степаныча? Конечно, вы должны были предупредить Петра Степаныча, что Чаплин может заупрямиться подписать доклад, и, вероятно, вы объяснили досаду Чаплина тем разговором, который имела с ним ваша жена в своей комнате? Вероятно, вы сказали, что она увела его с целью намекнуть, что его приезд сюрпризом хоть и делает вам очень много чести, но подвергал вас неприятностям с Петром Степанычем, и что Чаплин рассердился на этот намек? Или я ошибаюсь — вы не догадались растолковать ему так? Monsieur Савелов, я верю словам, которые вы сказали вашей жене: вам тяжело унижаться до интриги, до обмана. У вас гордый, повелительный характер. Вы сказали вашей жене, что жалеете об унижении, которому необходимо ей подвергаться. Я скажу вам: если бы у меня было более снисходительности — я жалела бы о вас.

— Я не жду от вас снисходительности. Сначала я был обманут словами Петра Степаныча, что он просит пригласить вас. Но с той минуты, как он приехал и было сказано, что обед не готов, я понял: жена уговорила его обмануть меня, вы приехали быть моим врагом. Я прочел на вашем лице: вы не поверили, что обед не готов.

— Читать на моем лице нетрудно: я могу молчать, но выражение моего лица не повинуется моей воле. Да, в эту минуту я узнала, что вы ждете еще кого-то.

— Не в первый раз вы расстраиваете мои планы. Тогда вы надолго отняли у меня оружие. И теперь, если бы ваше присутствие не импонировало моей жене, она не решилась бы изменить своему условию с Чаплиным. Но я надеюсь, хоть вы и враг мой, ваше влияние на мою жену будет в результате полезно для меня и теперь, как тогда. Это потому, что, если вы и не расположены ко мне, вы расположены к ней; а ее и мои выгоды — одни и те же. Ваши советы ей и теперь будут в мою пользу, как тогда.

— Как тогда? Вы полагаете, что я советовала ей бросить Нивельзина? Напрасно. Я почти принуждала ее бросить вас и уехать с ним за границу. Если она осталась жить с вами — это ее собственная, вероятно, заслуга в ваших глазах, слабость в моих. Вы видите из этого, моя сила над ней не так велика, как вы ду-

мали. Может быть, это уменьшает вашу охоту продолжать наш разговор? Я не имела бы ничего против вашего желания прекратить его. Впрочем, вам очень может показаться, что я только пугаю вас этими словами. Вы можете понимать их даже в смысле, что я совершенно уверена в повиновении вашей жены моим советам. Нет, не думайте так. Мои слова надобно всегда понимать в прямом их смысле. Я почти уверена, что ваша жена и теперь не послушается моих советов, как тогда. Я еще не давала их ей, потому что она не спрашивала их. Она была так расстроена, что не могла спрашивать. Но если вы не будете держать ее под замком, то, вероятно, спросит, потому что ее состояние чрезвычайно мучительно. Тогда я дам их. В чем они будут состоять, я не обязана говорить вам. И если бы хотела, то еще не могла бы сказать: надобно будет видеть, каково будет настроение ее мыслей, когда она хорошенько обдумает свое положение. Кроме того, надобно мне знать и ваши мысли. Действительно ли вы хотите продать Чаплину вашу жену? Она уверена в этом; но что скажете вы сам?

Савелов вскочил. Он не мог говорить. Губы его дрожали, он весь дрожал.

— Если точно хотите продать, я посоветовала бы вам прежде получить от Чаплина все, чем он должен вознаградить вас. Если сначала отдадите жену, потом станете просить платы, он прогонит вас, посмеявшись вашей глупости.

— Вы злоупотребляете правом женщины оскорблять безнаказанно, — проговорил он, падая в кресло. — Я не могу потребовать у вас отчета за ваши слова!

— Не можете потребовать у меня — отправьтесь к моему мужу и потребуйте у него: он вам даст отчет! Расскажите ему, как я оскорбила вас, — и получите отчет! Да, мои слова не довольно сильны и грубы, я женщина; мужчина должен объяснить вам, какого имени заслуживаете вы. Отправьтесь к моему мужу, он удовлетворительнее, нежели я, поговорит с вами. Глупец, вы смеете оскорбляться, когда должны умолять меня, чтобы я молчала даже перед моим мужем о том, что узнала от вашей жены! Я оскорбила вас! Прощайте. Мой муж пришлет вам отчет — мой муж будет обязан позаботиться, чтоб общество узнало, как я виновата перед вами. Я женщина, я не могу говорить о ваших

делах, как надобно для вас. Он может. Вы будете довольны.

— Останьтесь, прошу вас! — Он схватил ее за руку. — Вы не слышали моего оправдания. Я не имел той гнусной мысли, которую приписывает мне жена.

— Разве стала бы я и говорить с вами, если бы не была уверена, что вы не хотели продать ее? Я только потому и стала говорить, что вы сам не понимаете, что вы делаете. Жалкий человек, вы только ослеплены вашим честолюбием — это ясно, вы злодей только потому, что вы слеп. Вы говорили мне, что вы и мой муж идете по разным дорогам. К чему приведет моего мужа его дорога — все равно: он видит и не пожалеет, что шел ею. К чему приведет вас ваша дорога — вы не видите, я скажу вам: вы погибнете, проклинаемый честными людьми, осмеянный бесчестными. Это потому, что вы хотите быть бесчестен только наполовину; люди, вполне бесчестные, пользуются услугами таких глупцов и потом прогоняют их с заслуженным позором. Так предсказывает о вас мой муж, и я вижу теперь: он не ошибается, вы уже начинаете запутываться в интригах, которые строите. Но я здесь не для того, чтобы убеждать вас стать честным. Я здесь не для вас. Я увидела несчастную женщину, и я здесь только по ее просьбе, только для нее. Смотрите, как вы запутались в обмане, участвовать в котором принуждаете ее. Она говорит вам, что надобно скрывать ото всех то, что Чаплин согласился приехать по ее просьбе. Вы думаете: это каприз; она только хочет запугать; он может ездить, и ее репутация не пострадает. Так вы думаете? В этом ваше оправдание? Она говорит, что ваши требования принуждают ее сделаться любовницею Чаплина. Вы думаете: вздор, она притворяется, запугивает, ей только неприятно кокетничать с таким непривлекательным человеком. Так вы думаете? В этом ваше оправдание? О, вы прав: вы только жалкий, слепой интригант. И чего же добиваетесь вы? Вы можете рассудить, если захотите. Вот вы уже добились того, что Чаплин озлобился. Чем больше она будет завлекать его, тем сильнее будет его мщение за обман. Или вы добьетесь до того, что обмана не будет, что она отдастся ему. Не говорю, что все честные люди будут тогда плевать в глаза вам, — пусть, это не важность для вас. Но подумайте о том, что вы заставляете ее ненавидеть вас. И если она от-

дастся Чаплину, какое будет первое приказание от нее ему? Она потребует, чтоб он стер вас с лица земли. Может быть, вам угодно получить отчет в моих словах? Отправьтесь к моему мужу. Он даст вам отчет в них. Я женщина; я не хочу больше говорить о ваших гадких делах. Одно я говорю вам: продолжайте, продолжайте, и она очень скоро увидит, что от нее зависит, оставаться ли вашею женою или сделаться графинею Чаплиною. Какой выбор сделает она, не знаю; я не посоветовала бы ей ни того, ни другого. Но я уже сказала вам, что она не очень слушается моих советов. Одно я посоветую ей — и этим советом она воспользуется, ручаюсь вам: я скажу ей, что она может хохотать над вашими угрозами. Правда ли, может? Вы согласен, ваши угрозы нелепы? Вам ли теперь пугать ее? Вы могли бы, укравши письма Нивельзина, — если бы не говорили ей о Чаплине. А теперь — теперь вы должны бояться ее. Почему? Я женщина и не даю отчета в моих словах; если он нужен вам, мой муж даст его. О, жалкий глупец! Смотрите, до чего вы уже довели себя! Каким тоном я говорю с вами, и вы не смеете слова сказать против меня! Вы прекрасно начали вашу мастерскую интригу — продолжайте, продолжайте, полубесчестный человек! Я не хотела ничего говорить вашей жене, не высказавши вам этих любезностей: не хотела сказать ей даже и того, что буду ждать ее к себе завтра поутру. Потрудитесь передать ей это. Если она не приедет, я буду знать, что мои любезности не были достаточно сильны и что вам нужен отчет в них. Прощайте.

Она встала. Он пошел за нею.

— Ваши слова...

— Я не просила вас отвечать. Если не ошибаюсь, я не подала вам повода думать, что мне приятно слушать вас. Молчать! Прощайте.

Волгина ушла, не услышав ответа Савелова, потому что слишком негодовала. Но и возвратившись домой и сделавшись хладнокровною, она не имела причины жалеть, что не позволила ему отвечать. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что он совершенно отказался от желания, чтобы его жена продолжала завлекать Чаплина. И если Волгина хотела видеть Савелову еще раз, то вовсе не для того, чтобы удостовериться в по-

корности Савелова, а только для того, чтобы внушить ей смелость на будущее время, на случай других столкновений.

Следующий день был днем, в который петербургские либералы собирались у своего предводителя. Нивельзин, все еще продолжавший благоговеть перед Рязанцевым, не пропускал ни одного из этих еженедельных собраний. Поехал и в тот раз.

Комнаты были набиты гостями, по обыкновению. По хозяина не было. Рязанцева объясняла новоприбывающим, куда и зачем уехал ее муж.

Вчера были именины Савелова. Рязанцев заехал поутру поздравить его. Савелов сказал, что крестьянское дело двигается наконец решительным образом, и дал прочесть черновую доклада об основаниях, на которых будут освобождены крестьяне. За обедом доклад будет подписан Петром Степанычем, вечером будет подписан Чаплиным, и на следующий день к вечеру доклад будет прочтен в собрании, которое решит, принять или нет принципы, предлагаемые Чаплиным и Петром Степанычем, — на следующий день, то есть ныне, Рязанцев поехал к Савелову узнать, чем решен вопрос.

Гости нетерпеливо ждали, какое известие привезет Рязанцев.

Чаплин очень силен, это правда; но в целом собрании он единственный решительный партизан либеральных принципов освобождения, выработанных Савеловым и принятых Петром Степанычем. Голос Петра Степаныча не имеет большой силы. Вся надежда на Чаплина. Он сильнее каждого из остальных членов поодиночке. Но их много, он один. Поодиночке каждый из них побоялся бы вступить в борьбу с ним. Все вместе они могут не побояться. Могут. И если отважатся, дело погибло.

— Пусть отважатся, — сказал Соколовский; он теперь был уже дружен с Рязанцевыми. — Пусть отважатся. Большинство будет против доклада. Но дело будет решено не по мнению большинства, а по мнению Чаплина.

Нивельзин и некоторые другие согласились. Но таких было мало. Почти все говорили: «Нет; вы слишком

уверены в успехе. Правда, Чаплин очень силен, но все-таки победа сомнительна».

Наконец возвратился Рязанцев. По одному взгляду на его печальное лицо все увидели, что он привез очень дурные новости.

Чаплин изменил делу свободы. Дело свободы погибло.

Прошло несколько времени, прежде нежели Рязанцев мог продолжать: так сильно было волнение, произведенное этими словами. Все кричали, все спрашивали: «Как? Изменил?» — «Не может быть! Неужели изменил?» — «Все погибло, говорите вы? Нет надежды?» И все сами же себе отвечали, восклицая: «Этот Чаплин притворялся! Он не мог сочувствовать свободе!» — «Все погибло». Один Соколовский, сложивши руки на груди, сдвинувши брови, сверкая глазами, молчал. Давши пройти первому взрыву изумления и отчаяния, он сказал громовым голосом: «Выслушаем подробности; тогда будем судить. Господа, хладнокровие и молчание!»

Все погибло. Рязанцев видел у Савелова самого Петра Степаныча.

Вчера Чаплин приехал на обед к Савелову. Ни Савелов, ни тем больше Петр Степаныч не могли объяснить себе, как это случилось: как узнал Чаплин, что Савелов именинник, что у Савелова обед; как вздумал оказать ему такое лестное внимание, такую милость. Но они уже догадывались, что тут есть какая-нибудь интрига. Теперь Петр Степаныч прочел объяснение загадки на лице одного из мелких членов собрания, в котором решалась судьба доклада; этот человек смертельный враг Петра Степаныча и заклятый реакционер. Но делец и хитрец. Он подучил Чаплина приехать к Савелову. Петр Степаныч убежден в этом. И Савелов согласился, что, вероятно, так. Чаплин приезжал, чтобы предложить Савелову должность Петра Степаныча, если Савелов согласится действовать в духе реакции. Петр Степаныч понял это из намеков Чаплина, что Савелов мог бы составить себе счастие, если бы не был злодей и бунтовщик. Чаплин формально говорил в собрании, что доклад, представленный Петром Степанычем, — дело бунтовщика, революционера, что он, Чаплин, убедился вчера, какой злодей тот человек, внушениям которого следует Петр Степаныч; невозможно было не понять,

что вчера Савелов отверг предложения, с которыми приезжал Чаплин. Савелов сначала молчал на эти слова Петра Степаныча, потом признался, что действительно отказался вчера от предложений Чаплина. Пока Петр Степаныч сам не узнал, в чем дело, он не мог говорить; но теперь должен сказать: все так.

Конечно, Савелов не ставит в заслугу себе того, что отверг предложения Чаплина. Какая тут заслуга? Он не мог покрыть позором свое имя. И Рязанцев не ставит ему этого в заслугу. Можно ли считать заслугою то, когда честный человек отказывается стать негодяем? Это его обязанность, не больше.

Еще не зная, какой разговор был между Савеловым и Чаплиным, не подозревая, что Чаплин уехал с обеда раздраженный Савеловым, Петр Степаныч повез к нему доклад. Чаплин выслал сказать, что не может выйти к нему и не может подписать доклада. Тут Петр Степаныч понял, что Чаплин, вероятно, раздражен чем-нибудь. Возвратившись домой от Чаплина, который так и не принял его, Петр Степаныч послал за Савеловым. Они просидели вместе до поздней ночи, обдумывая, как вести борьбу, когда явился новый враг, сильнее всех прежних, — враг, бывший союзником их. У них было теперь мало надежды на успех, но они хотели бороться до последних сил.

Так и теперь. Они будут бороться, хоть уже вовсе потеряли надежду. Петр Степаныч теперь один против всех, — обвиняемый всеми в том, что хочет сделать освобождение крестьян средством к низвержению всего существующего порядка, всех учреждений, — произвести революцию, — что он или орудие республиканцев, или сам республиканец.

Чаплин провозгласил это обвинение. За ним стали кричать то же все.

Дело свободы погибло.

Все видели, оно погибло.

Один Соколовский говорил, что оно не может погибнуть. Благородная, но нелепая надежда.

Так рассказывал Нивельзин Волгину, приехавши прямо от Рязанцева, в час ночи, затем, чтобы рассказать.

— Очень благодарен вам, Павел Михайлыч, — сказал Волгин, — разумеется, любопытная штука; и тем курьезнее, что совершенно неожиданная. — Волгина не

сказала мужу ни слова о том, чтó слышала и говорила она у Савеловых, ни о том, что говорила с Савеловою поутру; измена Чаплина была такою же новостью для Волгина, как для Нивельзина и Рязанцева. — Да, любопытная штука, — повторил он, по своему обыкновению помолчавши. — И если хотите, согласен, что в ней нет ничего особенно хорошего; можно даже сказать, что есть в вашей новости одна черта, очень мерзкая, или, если угодно, печальная: все у Рязанцева повесили носы, вы говорите. То-то же и есть, видите, какой народ эти ваши господа либералы: как щелкнули их по носу, они и повесили его. Приятная компания. Но опять и то сказать: это было давно известно, какой они народ. Стало быть, нет ничего особенного. Я вам говорил, что один Соколовский — как следует — человек; имеет свои странности, может ошибаться, но человек, а не черт знает что. Так оно и выходит. Горячится, по-пустому, положим, но человек. Поцелуйте его от меня, когда увидите.

— И привезти? — сказал Нивельзин, уже привыкший к рассуждениям Волгина о русском либерализме и потому оставлявший их без возражений, когда было не время подымать спор, как и теперь действительно было пора думать о сне, а не о спорах.

— Привезти? То есть Соколовского? — размыслил Волгин. — Оно, пожалуй; отчего же нет? А впрочем, незачем. Стало быть, лучше я попрошу вас: не привозите. Гораздо лучше. Незачем.

Никогда не теряя свойства быть основательным, Волгин недоумевал, как объяснить странный поступок громадного мужика, по всей вероятности дворника, мимо которого шел по улице. Мужик стучал железным заступом по тротуару, — в этом не было ничего непонятного: он очищал тротуар от гололедицы. Волгин шел себе мимо, не обращая внимания на такое обыкновенное дело. Но когда поравнялся с мужиком — этот геркулес положил ему руку на плечо. Что за чудо? Геркулес был совершенно незнакомый, был трезвый, смотрел безобидно; с какой стати ему вздумалось выкидывать такую штуку с прохожим, да еще и одетым по-благородному? — размышлял остановленный наложением его ручищи Волгин; ручища налегала на плечо вся тяжеле и

тяжеле, так что Волгину стало трудно выдерживать непонятную любезность или шутку, — он повернул плечо, раскрыл глаза и увидел, что перед ним стоит Соколовский. Стуканье заступа оказалось бряканьем сабли Соколовского по полу; Волгин спал крепко, и Соколовский трогал его плечо, чтобы добудиться.

— Вы не слышали, что произошло вчера? Чаплин перешел на сторону крепостников, доклад об условиях освобождения крестьян, составленный на демократических основаниях...

— Отвергнут? Знаю, Болеслав Иваныч; Низельзин заезжал ко мне от Рязанцева.

— Что вы думаете делать?

— Думаю, что когда уже вы разбудили меня, то сон — дело пропащее; думаю, надо встать. Очень рад, Болеслав Иваныч, очень рад, сделайте одолжение, садитесь. Ну, что, видно, по-вашему, надобно делать что-нибудь?

— Вам надобно написать адрес; садитесь, пишите.

— Адрес? — Волгин хотел залиться руладою, но посовестился смеяться над честностью энергического человека; а главное, подумал, что Лидия Васильевна, вероятно, еще спит. — Адрес? — повторил он, удержав свою остроумную веселость. — Да почему же писать адрес должен я? Ближе бы Рязанцеву.

— Пишите, пожалуйста; вы понимаете, в подобных делах время дорого.

— Дорого, согласен; вы и предложили бы Рязанцеву вчера же.

— Предложил бы, разумеется. Но видел, что бесполезно.

Видно было, что Рязанцев не решится? Кто же смелее его? Там были десятки людей, все записные прогрессисты. Почему никто не заговорил, что надобно поддержать Петра Степаныча и Савелова? Видно, все они умеют только вешать носы и хныкать. Почему сам Соколовский не высказал там свою мысль? Видно, чувствовал, что не найдет сочувствия. Кто же станет подписывать адрес? Делать эту пробу — значит только обнаружить реакционерам, что в либеральной партии почти вовсе нет смелых людей.

Соколовский принужден был замолчать: беспомощное уныние либералов у Рязанцева было фактом слишком убедительным, Соколовский еще мало сжился

с петербургским обществом, имел надежду, что есть круги более решительных людей, чем какой собирается у Рязанцева. Услышав, что нет, сознался в невозможности адреса.

Тогда Волгин пошел дальше. Мало того, что адрес остался бы без подписей. Вопрос не стоит того, чтобы хлопотать. Пусть Петр Степаныч и Савелов будут прогнаны; пусть дело об освобождении крестьян будет передано в руки людям помещичьей партии. Разница не велика.

С этим Соколовский не мог согласиться. Из-за чего идет борьба между прогрессистами и помещичьего партиею? Из-за того, с землею или без земли освободить крестьян. Это колоссальная разница.

— Нет, не колоссальная, а ничтожная, — находил Волгин. — Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — это все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек — вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, те купят себе землю. У кого нет, тех нечего и обязывать покупать ее: это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли.

— Я не ждал услышать от вас это, — сказал Соколовский. — Вы говорите, как человек помещичьей партии.

— Вопрос поставлен так, — вяло отвечал Волгин. — Потому я и не интересуюсь им.

— Чего же вы хотели бы? Освобождения с землею без выкупа? Это невозможно.

— Я и говорю: вопрос поставлен так, что я не нахожу причины горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их — либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше.

Он ожидал, что Соколовский осыплет его упреками за непрактичность, за апатию. Но Соколовский молчал, задумавшись.

— Это ваше последнее, решительное слово? — сказал он после долгого раздумья. — Значит, вы не захотели бы давать советов Савелову?

— Натурально; для меня все равно, прогонят ли его или нет; даже лучше бы, если бы прогнали.

— Спорить с вами некогда: время дорого. Не могу послать вас к нему, поеду сам. Вчера я остался у Рязанцева, когда другие разъехались, и спросил, как думает вести борьбу Савелов. Он думает только о рутинных, канцелярских средствах: писать новые доклады канцелярским жаргоном, вялым, непонятным; действовать по канцелярскому порядку, через Петра Степаныча. Нужно живое слово, и должен говорить он сам. Какой же оратор Петр Степаныч? Сам Савелов должен просить аудиенции и пусть говорит на ней честно, всю правду, без утайки. Без рекомендации он мог бы не принять меня. Дайте мне записку к нему.

Волгин не нашел причины отговариваться незнакомством. Савелов говорил Лидии Васильевне, что уважает его. Вероятно, не захочет пренебречь его рекомендациею. Он написал, отдал записку, в которой говорил между прочим, что Савелов не должен обращать внимания на резкость манер и пылкость тона Соколовского; этот человек только на первый взгляд кажется экзальтированным; в сущности, он очень холодно и здраво смотрит на вещи.

— Вы понимаете, почему я не мог просить рекомендации у Рязанцева, — сказал Соколовский. — Это прекрасный человек, но слишком наивный, он разболтал бы; а никто не должен знать, что Савелов действовал по чужому совету, только на этом условии он может принять его.

— Инструкция мне, чтобы я не разболтал? О, дипломат! — сказал Волгин и сделал небольшую руладу в поощрение своему остроумию, потому что нашел свое замечание остроумным.

Дня три либеральные люди в Петербурге ходили, повесив носы. На четвертый прочли в газетах, что генерал-адъютант граф Чаплин увольняется в отпуск за границу. Не было даже прибавлено смягчения: «по болезни» или «для поправления здоровья». Опала была открытая, полная. Либеральные люди протирали глаза и перечитывали: так ли прочли. Так. Они задрали носы и пошли по Петербургу победителями, завоевателями.

**Глава седьмая**

По поручению Волгиной Нивельзин принял все возможные меры для того, чтоб официальные розыски о Левицком шли деятельно. Но и сам искал его неутомимо. Конечно, главным мотивом тут было усердие исполнить желание Волгиной. Но и сам по себе Нивельзин глубоко заинтересовался молодым человеком, о котором с безусловным уважением говорил Волгин, презрительно отзывавшийся обо всех знаменитостях домашнего русского либерализма.

К вечеру первого дня поисков Нивельзина уже не оставалось никакого сомнения в том, что Левицкий приехал в Петербург и лежит больной. Нивельзин отыскал людей, которые сидели в одном вагоне с ним. Он был бледен, жаловался на жар и дрожь во всем теле, на боль в голове. Его сосед заботился о нем. Сосед был старик купец, говоривший, что пробудет в Петербурге дня два, много три. Он взял Левицкого с собою. Это было назад тому пять дней. Вероятно, купец уже уехал. Вероятно, Левицкий лежит, предоставленный на волю судьбы. Тем больше надобно было заботиться поскорее отыскать его. Нивельзин разослал несколько человек объезжать всяческие больницы, гостиницы и постоялые дворы; ездил и сам.

В этих поисках, остававшихся все еще напрасными, прошло два дня. Поутру на третий день один из агентов Нивельзина нашел Левицкого в маленькой, душкой и сырой комнате дрянного постоялого двора. Левицкий лежал без памяти. Никому на постоялом дворе не было охоты особенно заботиться о нем. Впрочем — хозяин не сбыл его в больницу, потому что у больного было портмоне с несколькими стами рублей, переданное хозяину купцом. Хозяин даже призывал раза два какого-то фельдшера. Фельдшер дал какую-то микстуру. Микстура стояла на столе, полный пузырек, как был принесен: больной лежал без памяти, как давать ему лекарство?

Понятно было, почему полиция не получала сведений о Левицком: хозяин опасался, что она отнимет выгодного постояльца в больницу. Он даже побранил служанку, не догадавшуюся или посовестившуюся скрыть больного. Хозяин был человек опытный и бойкий, он не

остался бы в убытке, хоть бы полиция и привязалась к нему в случае смерти Левицкого.

Нивельзин съездил за знакомым хорошим медиком и привез его к Левицкому. Погода была ужасная, состояние больного очень тяжелое. Медик нашел, что нельзя перевозить его. Но, разумеется, не оказалось затруднений устроить тут же хорошее помещение; хозяин уступил свой зал.

Услышав от Соколовского эту новость, Илатондев хотел тотчас же ехать сам заботиться о Левицком. Соколовский справедливо сказал, что это лишнее: Нивельзин уже распорядился всем, как только можно лучше; и пока Левицкий остается без памяти, то нуждается в визитах только медика.

Но Волгин каждый день приезжал сидеть в комнате больного и ждать медика. Он считал себя виноватым в болезни Левицкого: так или иначе, эта болезнь связана с отношениями Левицкого к Илатонцевым, свя­зана если не чем другим, то уже и тем самым, что Левицкий или занемог в деревне у них, или на дороге оттуда. Вообще Волгин был человек мнительный и часто выдумывал сам по себе фантастические упреки. Но в этом случае его раскаяние имело больше здравого смысла, нежели казалось Нивельзину, который говорил: «Да разве вы посылали его на какую-нибудь опасность, уговаривая отправиться прожить в деревне, отдохнуть? Если он встретил там неприятности или беды, подготовившие эту болезнь, это дело случая, которого вы не могли предвидеть. Все, по-видимому, обещало, что жизнь у Илатонцевых будет хороша для него и спокойна». — «Оно, конечно, так, — отвечал Волгин. — Само собою, я виню себя понапрасну». Но он отвечал это лишь потому, что не любил говорить о своих чувствах. По его мнению, ошибка его состояла в том, что он уговорил Левицкого жить без дела. Ему казалось тогда, что у Левицкого такой же флегматический характер, как у него самого; он вспоминал, как мирно лежал он, почитывая книги, пока не пришла надобность работать. Ему казалось, что и Левицкий будет так же спокойно лежать и зевать, или ходить и зевать, или слегка дурачиться и зевать в деревне. Теперь ему воображалось, будто он

был обманут холодною наружностью Левицкого; что это человек с сильными страстями, с жаждою жизни и деятельности; что не давать занятия такому человеку было подвергать его опасностям увлечений. Сам по себе Волгин, вероятно, не заметил бы своей ошибки относительно характера Левицкого. Но услышал от жены, что это должен быть человек с очень сильною волею и с привычкой скрывать свои волнения, сохранять спокойный, холодный вид, что бы ни делалось у него на душе. Как услышал это, Волгин тотчас постиг, что оно и действительно должно быть так: он уехал от Илатонцевых по какому-то сильному огорчению или раздражению, это было несомненно; а между тем Илатонцевы не заметили ничего; ясно, что флегматический вид его обманчив. Постигнув это, Волгин, по своей необычайной способности к основательным соображениям, без труда размыслил, что оставаться без дела — великая опасность для молодого человека с сильными страстями; и что в чем бы ни состояло огорчение, результатом которого, так или иначе, вышла эта болезнь, первою причиною беды было то, что Левицкий был оставлен без дела.

Несколько дней медик говорил Волгину, что не отвечает за жизнь больного. Причиною болезни, по словам медика, была простуда. Волгину не мудрено было понимать, как подвергся ей Левицкий в дороге. Вырвавшись от Илатонцевых один в экипаже или на почтовой телеге, Левицкий, вероятно, дал наконец волю долго сдерживаемому чувству — отчаяния ли, раздражения ли — и забыл о холоде и ненастье поздней осени. Потом, все в том же забытьи, пренебрег первыми симптомами болезни и дал развиться ей, безостановочно продолжая путь. А потом столько дней пролежал безо всякой помощи.

— Но, — говорил медик, — быть может, то было еще к лучшему, что корыстолюбивый хозяин не известил полицию о своем выгодном постояльце: попади Левицкий в больницу, наверное бы он умер. Теперь надежда еще не потеряна. Только надежда еще не потеряна, — говорил медик несколько дней. Наконец сказал: — Опасность миновала.

Это было сказано поутру, вечером приехал Соколовский, привез с собою мужчину лет сорока двух-трех, одетого хорошо, но скромно, и рекомендовал его Волгину как Виктора Львовича Илатонцева.

— Знает ли Алексей Иваныч великую новость? — начал Илатонцев, спросив о Левицком и с очень теплым, совершенно родственным чувством порадовавшись хорошему обороту его болезни. — Знает ли Алексей Иваныч великую новость, которая будет обнародована завтра?

Волгин еще ничего не слышал; вероятно, освобождение крестьян?

— Да, — отвечал Илатонцев. Соколовский вынул печатный лист и подал Волгину.

— Завтра эта бумага будет обнародована.

Илатонцев попросил Волгина прочесть ее. Волгин пробежал глазами и увидел, что принципы освобождения более либеральны, нежели он ждал. Савелов воспользовался своею решительною победою над помещичьего партиею — воспользовался мастерски.

— Все зависит от того, в каком духе будут применены эти принципы, — сказал Илатонцев. — А характер применения очень много будет зависеть от того, как будет держать себя дворянство.

— Правда, — согласился Волгин.

— Болеслав Иваныч привез мне эту бумагу, даже я еще не знал, что она уже печатается, и справедливо сказал, что надобно ковать железо, пока оно горячо: надобно воспользоваться первым сильным потрясением, какое произведет она, воспользоваться первым испугом моей братьи, помещиков, увлечь и приковать их к либеральной программе, пока они еще не опомнились, не одумались, не успели даже поговорить между собою. Послезавтра у меня обед, на котором я прошу быть и вас.

Соколовский молчал, давая ему говорить. Он говорил связно, дельно. Конечно, план принадлежал Соколовскому — Илатонцев и не скрывал этого, — но было надобно отдать справедливость и ему, как человеку неглупому, способному понять гениальную мысль — действительно гениальную: план, составленный Соколовским, заслуживал такого названия, по мнению Волгина, не слишком щедрого на слово «гениальный».

Взять штурмом слово и подпись самых первых вельмож было бы невозможно. Они слишком близко знают все закулисные тайны; да и привыкли держать себя дипломатически, выжидать, лавировать; пожалуй, заупрямились бы и по обиженному тщеславию, если бы посадить их за один стол со второстепенными аристократами. Этих слишком высоких магнатов надобно оставить в стороне. И не будет большой потери от этого. Дело будет решаться по губерниям, провинциальным дворянством. Они держали себя далеко от него, — жили почти исключительно в Петербурге или за границею; когда и случалось иным живать иногда в деревнях, почти все они только обижали местное дворянство своим высокомерием. Они не имеют влияния на него. Влияние принадлежит второстепенной, провинциальной, а не столичной аристократии, владельцам только тысяч, а не десятков тысяч душ. Эти люди будут ворочать делом в губернских собраниях. На них и надобно налечь. Кроме них, внимания заслуживают только образованные, умные и честные помещики, — но о них нечего заботиться, они и сами на стороне крестьян; чем благороднее будет программа, тем радостнее они примут ее, тем усерднее будут защищать. Надобно только штурмом покорить провинциальных магнатов.

Как всегда во время зимнего сезона, их много теперь в Петербурге. В нынешнюю зиму даже больше обыкновенного, потому что многие нарочно приехали следить за ходом крестьянского дела. Надобно созвать их на обед. Они приедут, не предугадывая ничего, только все ошеломленные новостью, которая разразится над ними завтра. В одни сутки они еще не успеют ничего сообразить, будут все еще только дрожать.

За обедом хозяин скажет о том, что дворянству надобно согласиться, как держать себя в деле, которое провозглашено, и попросит Рязанцева изложить свой взгляд. За речью Рязанцева начинается роль Волгина. Рязанцев не враг дворянства, только друг крестьян. Волгин идет гораздо дальше его, не правда ли?

Волгин сказал, что правда.

После того, что будет говорить Волгин, взгляд Рязанцева будет представляться очень умеренным, не правда ли?

Волгин сказал, что это совершенная правда, и остроумно прибавил, что позволительно сомневаться в других его достоинствах, но если хотят его показать как пугало, ошибки не будет: пугало он очень хорошее: все побегут от него и упадут в распростертые объятия Рязанцева.

После обеда Рязанцев станет читать программу. Конечно, Волгин будет находить почти каждый параграф слишком выгодным для помещиков. Благодаря его возражениям программа будет нравиться, одобряться, будет подписана всеми. С подписями влиятельнейших помещиков почти изо всех губерний она будет немедленно разослана повсюду. Повсюду дворянство будет нахлопнуто ею врасплох: нигде еще ничего не обдумали, не успели даже переговорить между собою — и вдруг им дается в руки программа, принятая, рекомендуемая предводителями, представителями помещиков целого государства: какое возможно сопротивление? Не будет и колебания, повсюду все примкнут к программе, единственной и предлагаемой помещикам каждого уезда от имени всего русского дворянства. Не правда ли, успех и верен, и громаден.

Волгин сказал, что штука придумана ловко. Правда, он от чистой души будет доказывать, что программа слишком выгодна для помещиков, — положим, он не читал проекта, из которого она будет извлечена, потому что ему некогда читать всякий вздор без надобности, но по разговорам с автором имеет достаточное понятие об основаниях этой будущей всероссийской программы. Она будет очень плоха, с его точки зрения. Но что нечего и толковать: когда нужно согласие помещиков, то провести ее было бы величайшим успехом, о каком только возможно мечтать. Штука ловкая, повторил он и с неистощимым своим остроумием заметил, что дело походит на то, как поступают калмыки и киргизы, когда хотят загнать к себе чужой табун: садятся на здоровенных жеребцов, хлещут их нагайками, мчатся на табун, гикнут, гаркнут, промчатся сквозь ошалевших животных и скачут своею дорогою — весь табун несется вслед куда угодно: точно он слыхивал, что эта штука всегда удается, — согласился он и наградил себя за остроумное сравнение обычною одобрительною руладою.

В тот вечер Волгин был так добр от радости верной надежды на выздоровление Левицкого, что не мог бы, кажется, огорчить никого никаким противоречием; если б его позвали играть на скрипке, он и то, кажется, сказал бы: «Извольте, буду, хоть никогда не пробовал».

Он не умеет сказать наверное, принял ли бы приглашение Илатонцева, если бы находился в обыкновенном расположении духа. Но, вероятно, все-таки принял бы. Ежеминутно делая глупости, он справедливо не считал важною разницею сделать одною больше или меньше. «Э, все равно!» — основательно решал он, когда кто навязывал ему участие в такой нелепости, какой не вздумал бы он сочинить сам по себе. «Э, все равно!» — думал он и сознательно шел остаться в дураках вместе с другими. Разумеется, это представляло и некоторую приятность, для разнообразия, чтоб не всегда же быть глупцом без собственной охоты и в одиночку.

Такими размышлениями он оправдывал себя, украшаясь в давно, давно не надеванный фрак, чтобы ехать на обед к Илатонцеву.

Следовало ли бы ему придумывать эти размышления? Была ли ему надобность оправдывать себя? Должно ли считать глупостью дело, затеянное Соколовским? Углубляясь в основательные соображения в безмятежной и твердой позиции у одного из дальних окон салона, поглощавшего десятки гостей и все-таки остававшегося малолюдным, Волгин справедливо находил, что излишняя мнительность тоже своего рода глупость; полагал также, что умный человек на его месте едва ли сомневался бы в успехе благородного замысла Соколовского.

Волгин мог безмятежно соображать, удобно и твердо прислонившись к вырезке стены у дальнего окна: Соколовский помогал хозяину принимать и пристраивать гостей; Рязанцев очаровывал их, находя сказать каждому что-нибудь милое: Рязанцев создан был очаровывать невинных; грациозный и важный, живой и солидный, он всегда сиял добродушием и умом, любезностью и чувством своего значения в двигании русского прогресса. Он толковал, что он сам помещик,

открывал общих друзей у себя с каждым, вклеивал науку и дух века, осыпал длинными, мудреными словами, звучавшими как-то невинно и приятно, и оставлял каждого в восхищении от того, что такой ученый человек предположил его понимающим все эти прекрасные слова. Нивельзин — потому что и Нивельзин был тут же — тоже занимался уловлением сердец, по инструкции Соколовского, и, по-видимому, имел в этом еще больше успеха, нежели сам Рязанцев. Кроме Нивельзина, Рязанцева и Соколовского с хозяином, у Волгина не было тут никого, хоть раз виданного хоть издали. Никто не мог подойти к нему; а сам он был избавлен от обязанности очаровывать, отчасти из уважения к его непригодности на уловление сердец, отчасти потому, что и будущая роль его была не привлекать их, а поражать трепетом.

Он совершенно удовлетворял требованиям своей будущей роли, нелюдимо и неподвижно занимая неприступную позицию в дальнем углу, и, вероятно, даже превзошел надежды Соколовского своею угрюмостью: не один из гостей, разговаривая с Соколовским, искоса посматривал на неуклюжую статую у дальнего окна: вероятно, Соколовский объяснял, что эта статуя — представитель ужасных мнений, к которым очень легко может склониться правительство, — мнений ужасных, но врожденных русскому народу, народу мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства, и приготовленных сделаться коммунистами, потому что живут в общинном устройстве. Правительству народа мужиков очень естественно принять мужицкие идеи.

Вероятно, так рекомендовал Соколовский угрюмую статую, объясняя угрюмость ее как чрезвычайную свирепость. А Волгин был угрюм потому, что им овладела грусть.

Он не был мастер наблюдать и был близорук. Но разве слепой не видел бы, что такое на душе у этих людей: не за два десятка шагов, за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая их лиц, по самым фигурам их.

Бессмыслие, бессилие, беспомощность.

Так должны глядеть, стоять, двигаться приговоренные к смерти.

Некоторые старались показывать, что они бодры, в хорошем настроении. Говорили, шутили, были очень развязны. Волгин знал эту развязность: она овладевала им самим, когда он, попирая все препятствия, блистал своими светскими талантами, желая себе провалиться сквозь землю.

Но огромное большинство было не в силах и заботиться скрывать свое уныние: «Мы агнцы, обреченные на заклание. Что мы можем сделать против такого жестокосердного решения? — Только идти на заклание смирно, чтобы хоть не колотили нас прежде, нежели возложат нас на алтарь отечества, — и не упираться, когда станут возлагать, чтобы хоть возложили без лишних пинков».

Волгин никогда не имел сношений с этими людьми. Он никогда не принадлежал и к мелкому светскому обществу, не только к их, высокому, важному. Но какой же город или городишко не гремел славою их подвигов? Волгин с детства знал, что эти люди буйные, наглые.

Волгин не интересовался толками о крестьянском деле. Но если бы он жил и не в Петербурге среди ярых эманципаторов, кипевших негодованием на упрямство помещиков, — если б он провел эти последние полтора-два года на самом далеком от помещичьей России, на самом пустом из Алеутских островов, — и туда, вероятно, доносились бы до его ушей храбрые крики: «Нами держится все! Не позволим, не допустим! Не хотим, и не посмеют! Пусть посмеют, и увидят, что такое значит прогневать русское дворянство!»

Теперь они присмирели, будто разбиты параличом. Смешно и отрадно демократам видеть такое превращение.

Волгину было смешно: он привык обращать все в шутку — умную или глупую, как приведется, веселую или горькую, все равно, лишь бы в шутку. Но ему не было отрадно.

Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, — потому что и в детстве он уже был глубокомыслен.

Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: «Город

в опасности — вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке». Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заспанное старческое лицо, с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит, не то стонет дряхлым хрипом: «Скоты, чего разорались? Вот я вас!» Удалая ватага притихла, передний за заднего хоронится; еще бы такой окрик и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что как они «веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», — разбежались бы куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек бедные искалечатся, — будочник, понюхав табаку, говорит: «Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце». И затворяется в будке, — и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно, добрый человек.

В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен; зато теперь находил, что незачем было ему и видеть живую картину, представляемую гостями Илатонцева, незачем; вперед было известно, какая это будет картина.

Но хоть вперед было известно, какая она будет, все- таки она произвела на него глубокое впечатление. Будучи основательным мыслителем, он не винил себя за то, что взволновался от впечатления, к которому был готов от самого начала храбрых воплей: «Не позволим! Не допустим!» Он знал, что представляющееся глазам действует сильнее воображаемого; потому и находил естественным, что расчувствовался.

Расчувствовался невесело: хоть и не любил ни вообще дворянства, ни магнатов в частности.

— «Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов — снизу доверху, всё сплошь рабы…» — думал он и хмурил брови.

Он не любил дворянства. Но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему. Молено ли ненавидеть жалких рабов? И теперь на него нашло такое настроение.

И потому ему мечталось теперь, что эти жалкие люди не виноваты в нищете и страданиях народа и что

не было бы надобности уменьшать их доходы ни на одну копейку — пусть бы себе благоденствовали по-прежнему, ни на одну минуту не прерывая своих возвышенных наслаждений псами и новыми каретами, попойками и цыганками, — зачем тревожить, зачем обижать? Они не виноваты ни в чем и ничему не мешают.

Они ли могут мешать? — Они хотят только пить, мотать и бездельничать. Они ли виноваты? — Кому же не приятно брать то, что ему дают, — кому же нравится терять доходы?

Как легко было бы не огорчать их! Стоило бы только гарантировать им их доходы. Подобная гарантия тяжела, быть может неудобоисполнима у наций, где поземельный доход уже высок и не может подыматься быстро. А у нас? В пять лет удвоились бы, в десять — учетверились бы средства нации, лишь бы освобождение было полное и мгновенное, по мыслям народа, который говорит: «Господа пусть уезжают из деревень в города и получают там жалованье», — несколько лет, небольшие займы, с каждым годом меньше, — и через десять лет что значило бы государству выкупить эти нынешние нищенские ренты?

Когда Волгин бывал чувствителен, он фантазировал в этом вкусе. Правда, он не всегда бывал чувствителен.

Но теперь был. Потому фантазировал.

Правда и то, что когда фантазировал, он помнил, что только фантазирует по чувствительности своего сердца. Потому он берег для собственного удовольствия свои буколические соображения, а в разговорах рассуждал несколько в ином вкусе: он не забывал, что история — борьба, что в борьбе нежность неуместна. Правда, он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого, что рус­ский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром? Так или нет вообще, но о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого жела­ния, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них.

Потому-то он и улыбался с угрюмою ирониею, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права

ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа.

Должно, и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука.

Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение — злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах, безнаказанны за все угнетения и злодейства; противно, обидно за справедливость, — и он опускал, опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен...

— Monsieur Волгин... — сказал незнакомый, звучный и приятный голос. Волгин поднял глаза: перед ним стоял Савелов. Савелов стал говорить, что очень рад встрече с ним.

Волгин отвечал, что тоже очень рад. Будучи необыкновенно светским человеком, он всегда приходил в экстаз любезности, когда ему говорили, что очень рады встрече с ним.

Сказав еще несколько обыкновенных слов, Савелов пошел в следующую комнату представляться дамам. Волгин стал искать глазами, где Соколовский; нашел и двинулся к нему.

— О Савелове не было речи, — сказал он, отошедши с Соколовским в сторону.

Соколовский с досадою пожал плечами:

— Чтó вы будете делать с этими невинными, как вы их зовете. Чуть остались без присмотра, тотчас впадают в наивность. Ошибка не очень важна, а все-таки непростительная ошибка.

Как только переговорили Соколовский и Илатонцев с Рязанцевым, Рязанцев в восторге души поехал сообщить своему другу Савелову, какой обед устраивается у Илатонцева. Савелов похвалил и сказал, что ему самому было бы очень приятно быть на этом обеде. Рязанцев примчался к Илатонцеву в новом восторге и заразил им Илатонцева. И вот, приехав сюда, Соколовский был встречен приятною новостью: приглашен также и Савелов, его присутствие и поддержка будут придавать уже совершенно неодолимую силу речам и программе Рязанцева. Добрые люди упустили из виду, что пригла-

шением Савелова они много попортили характер собрания. Оно должно было быть совершенно свободным собранием помещиков, семейным образом устраивающих помещичье дело, при помощи двух советников, и не важных, и не зависимых от правительства. Как люди просвещенные, помещики вздумали прислушаться к мнениям ученых. Мысли знаменитого юриста Рязанцева, который сам помещик, понравились им. Они сделали его своим секретарем, — только. Совещание было семейное дворянское; и программа, которая вышла из него, чистая дворянская. Так должно было быть. А теперь? Присутствие Савелова дает делу вид принуждения. Будут говорить, что программа принята под влиянием правительственного лица, и притом известного враждою к дворянству. Это сильно повредит ей во мнении дворян. Рязанцев сделал большую ошибку.

— Да... большую, — вяло повторил Волгин, помолчал и поплелся назад в свою позицию, оставив Соколовского продолжать прерванный разговор с высоким, прямым, худым, крепким усатым стариком, по усам и осанке отставным кавалеристом.

Конечно, не стоило говорить Соколовскому, что дело гораздо более плохо, нежели он думает: не то что авторитет программы будет ослаблен — сама программа будет испорчена. Конечно, не стоило говорить. Нельзя поправить; зачем же было бы огорчать Соколовского прежде времени? Не стоило говорить. Да и жалеть не стоит. С самого начала затея была пустая, — стоит ли жалеть о пустяках? — Не стоит.

Так размышлял Волгин, опять утвердившись в своем уютном углу, и не мог не согласиться сам с собою, что рассуждает очень основательно: дело было пустое, не стоило толковать; не стоит и жалеть, что оно испорчено... Так, не стоит жалеть, — размышлял Волгин и злился, злился хуже прежнего, с наслаждением злился, пока встрепенулся от слов Нивельзина:

— Идут обедать, Алексей Иваныч; а вы так углубились в ваше занятие, что и не слышите.

Волгин очнулся и увидел, чем занимался и с каким прекрасным успехом: на целую четверть была ощипана бахрома с занавеса окна, дававшего ему твердую опору для основательных размышлений. Мыслитель махнул рукою, в справедливое осуждение себе, и поспешил от места преступления, догонять последних уходивших.

— Погодите, так нельзя, — остановил его Нивельзин. — Взгляните на себя.

Волгин взглянул на себя и с чувством воскликнул:

— Это удивительно!

По-настоящему, было нисколько не удивительно, а, напротив, очень естественно; но было действительно очень недурно: фрак, жилет, брюки — все было приятно испещрено малиновым, синим и белым шелковым пухом.

— Нет, уверяю вас, Павел Михайлыч, это удивительно, какие штуки я делаю! — подтвердил мыслитель с глубоким убеждением и замотал головою в сильнейшем негодовании.

Подошел слуга со щеткою, и следы преступления были благополучно очищены с основательного мыслителя. Нивельзин повел его в обеденный зал.

Там уже все сидели за столом.

На ближайшем ко входу конце хозяин, подле него Рязанцев со своим другом Савеловым. По назначению Соколовского тут следовало сесть и Волгину, против Рязанцева, для удобства будущего спора. Волгин и сунулся туда, не разобрав, что не оставлено тут свободного стула. Нивельзин оттянул его за рукав и повел дальше, мимо всего стола, в другой конец.

— Это куда же? — спросил мыслитель.

— Боже мой, да я говорил вам, пока шла очистка лохмотьев с вас, — вы пропустили мимо ушей?

— А, точно! — был рассеян, не вслушался, — согласился мыслитель.

Илатонцева, узнав, что на обеде будет Волгин, выразила желание, чтоб он сидел подле нее. Соколовский, подумав, уступил и даже нашел, что так будет еще лучше: пусть спорят через всю длину стола; могут: у Рязанцева звучный голос, о способности Волгина кричать нечего и говорить; пусть же спорят через весь стол: будет слышнее целому обществу.

Волгин был от души рад этому перемещению: ему было бы тошно сидеть рядом с Рязанцевым, разозлившим его своею глупою наивностью. А к Илатонцевой он чувствовал такое расположение, что для разговора с нею не имел нужды в своей удивительной светскости.

Добрая девушка встретила его будто родного. По возвращении из деревни она каждый день хотела поехать к Лидии Васильевне, но все еще не могла: по утрам парадные визиты, с обеда до ночи гости. Она представила его своей тетушке, председательствовавшей на этом конце стола в качестве хозяйки. Волгин боялся, что тетушка завоюет его, по его беспомощности в подобных случаях. Но у тетушки уже был завоеванный какой-то провинциал, очень смирный. Восхитившись в нескольких словах удовольствием познакомиться с Волгиным, она оставила его в покое, предпочитая свою прежнюю жертву, внимавшую ей с увлечением.

Пристроив основательно мыслителя, Нивельзин пошел на свое место около середины стола, по соседству Соколовского. Там, с выгодных пунктов для действия на обе стороны, Соколовский и он дадут решительный поворот обществу, когда придет время. Время было назначено, когда начнут пить шампанское. Обед, хоть и очень многолюдный, должен был иметь вид совершенно семейного. Потому положено было, что не будет ни тостов, ни спичей. Но Соколовский с Нивельзиным устроят, что гости пожелают услышать, как думает об освобождении крестьян Рязанцев; хозяин должен будет попросить его об этом. Принципы Рязанцева возбудят свирепость Волгина, и гости увидят, что они хороши для дворянства.

Так предполагалось для подготовки общества к принятию программы Рязанцева в совещании после обеда. Но Волгин скоро стал видеть, что лишь бы не оправдалось его подозрение, а то не будет особенной нужды в его свирепости: программа Рязанцева и без этой приправы будет вкусным блюдом.

Стульев через пять наискось от Волгина сидел высокий, прямой, худой, крепкий усатый старик, с которым говорил Соколовский около времени приезда Савелова. Усатый старик быстро захватил диктатуру на том конце стола. Кроме тупоумного помещика, оставшегося в плену у Тенищевой, все слушали усатого старика, и все только поддакивали. Вначале двое или трое помещиков, по-видимому, имели охоту показать, что они тоже умные и могут иметь свои мысли; но усатый старик предупреждал возражения, давил оппозицию в самом зародыше и подавил ее так, что все человек

двадцать помещиков, слушавшие его, в один голос твердили: «Так, правда».

— Надобно понимать положение дел и не болтать попусту, — говорил усатый старик. — Крепостное право держалось только штыками. Позвольте, господа, нечего вспоминать прежнее вранье о патриархальных отношениях: надобно признать правду, когда пропадешь, если не захочешь признать ее. — Он не либерал какой-нибудь. Он старый гусар. Он вырос на том и умрет с тем, что не могло быть ничего лучше крепостного права не только для помещиков, но и для крестьян. Кроме немногих подлецов, помещики держали себя с крестьянами превосходно, и крестьяне благоденствовали. Но крестьяне — грубые болваны, звери, и потому никогда не могли понять, что крепостное право полезно для них. Оно, по их невежеству, лености, своеволию, всегда было ненавистно им и держалось только штыками, Теперь эта поддержка отнята у него, и помещикам надобно понять положение дела. Речь не о том, хорошо или дурно решение правительства: толковать об этом пустая болтовня, очень опасная. Сказано: «Освобождайте» — баста! Торопитесь слушаться, и только. Почему? — Отняты штыки, в этом весь резон.

Речь только уже о том, что надобно торопиться и надобно сделать так, чтобы мужики остались довольны. Почему? Резон простой: бунт. Будет промедление? Мужик скажет: «Помещики не хотят давать нам воли, — бей помещиков, братцы!» Дать мужикам не такие условия, какие нужны для их довольства, — то же самое: «Братцы, помещики изобидели нас; добром не получишь добра от них, — бей их, ребята!» В этом весь резон. Коротко и ясно, господа. Усмирят бунт? Кто это сказал: «Усмирят бунт»? Подумали ль вы, милостивый государь, о том, что сказали? В серьезных делах не годится говорить, не понимая, что такое говоришь. «Усмирят бунт», — сказали вы. Станут ли усмирять? Ой — бабушка надвое гадала! Но об этом после. Положим, станут усмирять. Но скоро ли усмиришь, когда они повсеместно подымаются бунтовать? Усмирят, положим; но помещики-то будут уже перерезаны, перевешаны, прежде чем успеют выручить их. Помнят ли господа про пугачевщину? Он может напоминать о ней: он не либерал. Мало того, он и не из трусов. Кто не знает, может спросить, из трусов

ли он. Он не побежит от бунтовщиков. Ему висеть или быть заживо изжарену, а не бежать. Кто мастер бегать, могут легче его рассуждать о бунте. Но и таким людям он скажет: невелика радость будет им пережить бунт; пусть приготовятся положить зубы на полку. Он не ученый, но может понимать, что Соколовский — вон тот драгун — говорит правду: смуты в государстве ни для кого не разорительны в такой степени, как для землевладельцев. Купец припрятал свои деньги или даже перевел за границу — и знать ничего не хочет. А поместья не перенесешь за границу, не спрячешь в карман. Что вы найдете, когда восстановлены будут ваши права на поместье по усмирении бунта? У вас был хлеб? Он разграблен; у вас был скот? Он уведен или перерезан; у вас был лес? Он вырублен; о доме и не спрашивайте: сожжен; все чисто, хоть шаром покати, голая земля. И останется голая; нечем засеять; да и некому пахать: мужики перебиты, сосланы, кто уцелел, разбежались; нет работников. Дорого стоит ваше поместье! Не восстановят ли ваши права на эту землю? С того и начиналась речь: возвратят ли вам ее? Станут ли хлопотать из-за вас? Захотят ли усмирять бунт? Дураки ли сидят в правительстве? Не скажет ли правительство: «Господа, вы сами виноваты вашею неуступчивостью; бунт против вас, а не против правительства; ведайтесь, как знаете, наше дело — сторона». Думают ли господа, что правительство не может сказать этого? Усмирять повсеместный бунт — каких расходов это будет стоить! Что за радость правительству входить в убытки? Не легче ли, не дешевле ли сказать: «Претензии мужиков справедливы; пусть все останется за ними; это и гораздо прибыльнее для казны: доход казне от мужиков, а не от помещиков». Думают ли господа, что невозможно ждать такого решения от разбойников, — усатый старик несколько понизил голос и указал глазами на дальний конец стола, — от разбойников, подобных Савелову? Помещикам надобно удовлетворить мужиков, чтобы не дать вмешаться в дело разбойникам, ненавидящим дворянство. Теперь мужики еще удовольствуются условиями, не разорительными для помещиков. Но сделайте промедление, и будет совсем другое. Тот драгун, Соколовский, говорит правду: «Спешите развязаться с ними, пока они еще не наслушались демократических речей;

если не поспешите, пойдут на вас с криком: вся земля мужицкая, выкупу никакого! Убирайся, помещики, пока живы!» — и правительство будет за них. Милостивый государь, — вдруг обратился усатый старик к Волгину. — Вы дружен с Савеловым?

— Не знаком с ним, — успокоил Волгин усатого старика, подумав, что он сообразил неловкость своего отзыва о Савелове при друге этого «разбойника».

— А он подходил к вам.

— Просто хотел показать любезность.

— Видите, господа, каково положение дел? — продолжал усатый старик. — Господин Савелов заигрывает с господином Волгиным, ищет его приятельства! А знаете ли вы, кто господин Волгин? Извините, милостивый государь, что говорю о вас при вас: разговор идет о деле, лишние церемонии не у места, — заметил он, обращаясь к Волгину, и продолжал: — Господин Волгин, по словам Соколовского...

Вероятно, Волгин услышал бы о себе характеристику, совершенно сходную с тою, какую сочинял себе, посмеиваясь в своем углу перед приездом Савелова, но слова усатого старика были перерваны говором: «Тише, тише! Виктор Львович хочет сказать что-то».

Илатонцев начал — все по плану, как нельзя лучше, — что некоторые из его гостей, говорившие перед обедом с Григорием Сергеичем Рязанцевым, были очень заинтересованы мыслями Григория Сергеича о деле, которое занимает всех здесь; что другие гости, услышав от этих за обедом о их разговорах с Григорием Сергеичем, тоже заинтересовались...

А Савелов между тем нагнулся к уху своего приятеля и шепнул что-то. Друг пришел в такое удовольствие, что стал потирать свои пухленькие ручки, кивая головою другу.

— По общему желанию прошу вас, Григорий Сергеич, — заключил хозяин, обращаясь к Рязанцеву, — Будьте так добр, полнее развейте нам мысли, которыми возбуждено наше любопытство.

Сияя радостью, Рязанцев очень красноречиво поблагодарил общество за честь, которую оно оказывает ему своим вниманием, мило и с достоинством выразился о слабости своих сил, ободряя себя тем, что общество будет снисходительно к недостаткам, которые он сознает

в себе как оратор, и, обещая, что если он не умеет ослеплять великолепными словами, то постарается изложить с ясностью принципы, справедливость и практичность которых открыта им посредством добросовестного и долгого изучения и размышления; все это было, положим, совершенно лишнею риторикою, но меньшего красноречия и нельзя было ждать от наивного добряка. Волгин знал его и был приготовлен услышать множество пышно-скромных фраз, но при всем своем знакомстве с простодушием красноречивого прогрессиста захлопал глазами от окончания прекрасного вступления. Будучи уверен в сочувствии общества, — продолжал Рязанцев, — он просит сначала почтить вниманием те немногие слова, которые желает сказать его друг, Яков Кириллыч Савелов.

Волгин хлопал глазами. Быть дураком — Волгин понимал, что очень можно быть дураком, и очень глупым дураком, он прекрасно знал это по себе, — но быть дураком до такой степени — это было уже непозволительно, даже по мнению Волгина: как не понимал Рязанцев, что связывает себя по рукам и по ногам, прося благосклонное общество слушать Савелова? Как он не понимал, что теперь его речь должна будет быть только отголоском слов Савелова? Как отнимать у себя всякую свободу? Как выставлять самого себя только прихвостником своего друга? Конечно, понятно, слишком понятно после той глупости, какую он сделал, устроив приглашение Савелову быть на этом обеде, — после такой глупости никакое тупоумие не должно удивлять, — рассудил Волгин и перестал хлопать глазами.

А Рязанцев между тем, в восторге души, объяснил благосклонному обществу, что слова Якова Кириллыча будут наилучшим вступлением к его собственной речи, просил общество обратить на слова Якова Кириллыча все то внимание, какого заслуживают произносимые публично, глубоко обдуманные, строго возвышенные слова государственного деятеля, изучившего великий вопрос во всей широте и полноте, — и, смеет прибавить он, Рязанцев, — государственного деятеля, коротко знающего все сокровеннейшие предначертания правительства, — и, отваживается сказать он, Рязанцев, — государственного деятеля, талантам которого вверено важное участие в развитии этих предначертаний, — он прибавляет это, не

опасаясь быть обвинен в пристрастии к Якову Кириллычу, дружбою которого гордится.

Он замолк наконец, потирая руки в восторге.

Савелов отвечал на восторги своего друга комплиментом его учености и гению и, принесши этим необходимую дань пустословию, продолжал просто, коротко, дельно.

Он говорит собранию помещиков. Он слывет врагом, злодеем дворянства. Он не будет оправдываться. Он предоставляет времени оправдать его. Он хочет говорить не о себе. Он хочет только объяснить мысли правительства, которые, по справедливым словам его уважаемого и ученого друга, известны ему. Правительство решило уничтожить крепостное право. Это признано необходимостью по двум причинам. Крепостное право противоречит духу века, оно было пятном для России во мнении Европы. Другая причина состоит в том, что оно несовместно с правильною администрациею, мешало государственному порядку. Естественно, что реформа, столь важная, возбуждает много разных толков. Некоторые из них совершенно ложны. Крепостное право будет уничтожено. Но право собственности останется священно. Правительство не может хотеть вреда никакому сословию. Невозможно выгнать десятки миллионов людей из домов, занимаемых ими; но за все неизбежные уступки помещики должны быть вполне вознаграждены крестьянами. Могут ли помещики опасаться, что вознаграждение не будет достаточно, когда им самим поручается сделать оценку? Точно так же напрасны и все другие опасения их, — напрасны по той же причине: им самим поручается заняться осуществлением реформы. Все подробности нового устройства будут определены их собственными трудами. Поручение, возлагаемое на них, очень обширно и многосложно. Излишняя медленность была бы несогласна с видами правительства. Но оно совершенно понимает, что и торопливость в таком трудном и запутанном деле была бы вредна. Великая реформа, конечно, потребует много времени для своего совершения. Полагаясь на патриотизм дворянства, правительство будет терпеливо. Пусть дворяне добросовестно изучают, обдумывают великий вопрос. Приготовившись к основательному разрешению его, они будут собираться по губерниям; в каждой губернии они выработают устав, соответствующий местным интересам. При

таком порядке дела можно быть уверенным, что великая реформа не нарушит выгод помещиков. Есть еще опасение, которое также должно быть рассеяно. Думают, что общественный порядок может подвергаться опасностям. Нет. Администрация не потерпит никаких беспорядков, и уже приняты меры, чтобы она повсюду имела под рукою достаточные силы для подавления беспокойных движений в самом начале; для этого по всем частям государства расположены войска.

Ожидания Волгина были далеко превзойдены. Он понимал, что Савелов приехал расстроить дело Соколовского, что программа Рязанцева погибнет. Но Савелов сделал гораздо больше. Он сказал помещикам, что они могут совершенно безопасно оттягивать освобождение крестьян, могут тянуть его так, что и конца не будет проволочкам.

Лица помещиков делались веселее, по мере того как Савелов раскрывал им истину. Усатый старик, вытягиваясь к Волгину, шептал:

— Мы ошибались, милостивый государь, вы сам видите, перед нами виляют хвостом. Нас боятся, милостивый государь, — понимаете, нас боятся? Что вы скажете? Ваши друзья, все эти Рязанцевы и Соколовские, больше ничего как пустомели, не правда ли?

— Они честные люди, желая добра народу, они искренне желают добра и дворянству. Я в этом случае хороший свидетель, потому что не выставляю себя вашим другом. Я не говорю, что мне было приятно думать, что вы избегнете бед, приняв их советы, и не скажу, что огорчен тем, что вы теперь отвергнете их советы. Отвергайте, мне все равно. Идите тою дорогою, которую открывают вам слова Савелова. Идите ею. Я не буду плакать о вас. Забывайте, что Савелов интригант, который заботится и о ваших головах столько же, сколько о благосостоянии народа.

— Хорошо, грозите, милостивый государь: ваши угрозы не слишком-то страшны; войско разгонит ваших милых мужичков.

— Я знаю это, милостивый государь. Будет разгонять, пока будет разгонять. И до той поры, пока будет разгонять, вам нечего бояться.

— Милостивый государь, о чем вы говорите, позвольте спросить?

— О том, милостивый государь, что мужицкий бунт не важная опасность для вас. Войско легко подавляет мужицкие бунты.

— Вы грозите революциею, милостивый государь?

— Понимайте как вам угодно, милостивый государь. И запретить, если вам угодно донести на меня, не могу.

— Хорошо, милостивый государь. Теперь мы будем понимать ваши желания, — сказал усатый старик и отвернулся слушать Савелова.

Объяснив помещикам истинное положение дел, Савелов перешел к пустословию, требуемому дружбою.

Правительство исполнит свою обязанность охранять порядок. Конечно, и дворянство исполнит свою обязанность добросовестно заняться освобождением крестьян. Для этого дворянству будет очень полезно познакомиться с трудами специалистов, изучавших великий вопрос. Не дружба только, но и строгая истина заставляет его, Савелова, сказать, что самый ученый труд по великому вопросу принадлежит его другу, знаменитому нашему юристу, Григорию Сергеичу Рязанцеву, — полились великолепные фразы в честь друга и горячие убеждения, чтоб дворянство приняло к сердцу благородные мысли знаменитого юриста...

Волгин обдумывал между тем, как ему поступить. Знаменитый юрист сиял, радуясь тому, как прекрасно внушает его друг, чтобы помещики полюбили его мысли. Он станет ораторствовать как ни в чем не бывало.

И пусть бы себе ораторствовал. Но Соколовский поднимет скандал, если не отнять возможности поднять скандал. Челюсти Соколовского были стиснуты, глаза горели; по легкому подергиванию костлявых плеч его было видно, что его бросает в лихорадку от негодования.

— Надежда Викторовна, я уйду из-за стола. Будьте добра, скажите, что со мною дурно, но что беспокоиться обо мне нечего, — скажите, что пройдет. — Волгин встал и пошел из обеденного зала.

А Рязанцев продолжал сиять в близком ожидании минуты, когда начнет красноречиво излагать свои принципы, так сильно рекомендуемые его другом.

Выходя из обеденного зала, Волгин услышал стук порывисто отодвинутого стула и тяжелые, торопливые шаги. Соколовский догонял его. Прошедши до зала, в

котором совершал свое преступление над бахромою, Волгин остановился и обернулся.

Соколовский был бледен как смерть, на дрожащих углах губ у него выступала пена.

— Куда вы? Вы изменяете?

— Изменяю, Болеслав Иваныч. Вы сам видите, мы с вами не могли бы сделать ничего. Вы стали бы принуждать меня говорить, чтó мог бы я сказать? Грозить революцией, как и погрозил вашему усатому старику? Не говоря о самом себе, не говоря даже и о том, что это значило бы компрометировать хозяина, спрошу вас: не было ли бы это смешно? Кто же поверил бы? Кто не расхохотался бы? Да и не совсем честно грозить тем, во что сам же первый веришь меньше всех.

Соколовский опустился на диван, закрыв лицо дрожащими руками.

— Идите, будем бороться с ними! — воскликнул он через минуту, вскакивая.

— Полноте, Болеслав Иваныч; какая тут борьба?

— Нет, я пойду!

— Незачем, Болеслав Иваныч. Слушать Рязанцева они станут и без вашей протекции: люди благовоспитанные, сами просили его говорить, — надобно выслушать, хоть уже и не для чего. И после обеда прослушают его программу и похвалят, — зачем быть невежливыми, нелюбезными? Не хлопочите, обойдется без вас. Лучше поедем со мною. Хочу взглянуть, что с Левицким. Может быть, уже пришел в сознание. Поедем, а то еще компрометируете себя.

— Нет, я пойду к ним! Буду бороться!

Волгин покачал головою:

— Скука с такими несговорчивыми людьми, как вы, Болеслав Иваныч, скука, уверяю вас, — очень основательно рассудил он.

— И можно ли было ждать от Савелова такой измены?

— Измены никакой нет, — совершенно справедливо объяснил Волгин. — Вы хотели выставить помещикам положение дел в ложном свете. Савелов исполнил прямую свою обязанность, опровергнув клеветы, которые взводили вы на правительство.

— И неужели все погибло?

— Не могло не погибнуть, если бы Савелов и не услышал вовремя о вашей затее. Она держалась только

на недоразумении, на одурении от первого впечатления. Все равно, истина разъяснилась бы, — с обыкновенною своею основательностью отвечал Волгин и объяснил, что жалеть не о чем. Пусть бы и удалось ныне заставить помещиков подписать программу Рязанцева, — через несколько дней они отреклись бы от нее. И были бы правы: подписи их получены обманом, — стали бы говорить они. И точно, обманом. Все дело было совершенно пустое и, правду сказать, недобросовестное. Нечего и жалеть, что оно расстроилось. — Объяснивши это, Волгин вздохнул, подумал, подтвердил: — Да, пустое дело, не стоит жалеть, — и прибавил: — Ну, так что же, поедем, Болеслав Иваныч?

— Нет, я пойду к ним, буду бороться до последней минуты!

Волгин покачал головою и был совершенно прав.

— Изменить, струсить перед дворянством — кто бы мог ждать этого после победы над Чаплиным!

— Эх, Болеслав Иваныч! Отдельную личность можно победить, а целое дворянство, — помилуйте! Что такое Савелов, чтоб сметь ему и подумать о борьбе с дворянством?

— Такая слабость, такая трусость! Между ними нет ни одного государственного человека!

— Эх, Болеслав Иваныч! — возразил Волгин, покачавши головою. — Я удивляюсь вам, как это приходит вам в голову такое странное требование, — уверяю вас, это удивительно, — подтвердил он, подумавши, еще покачал головою и пошел в переднюю, остановился, сказал: — Ну, что же, Болеслав Иваныч, поедем со мною, — гораздо лучше, уверяю, — но, не получивши никакого ответа от Соколовского, протянул руки вставить их в подаваемую слугою шубу, вздохнул, еще раз покачал головою и надел фуражку, после чего совершенно успокоился ото всех своих волнений.

Но более сильное волнение, и волнение радостное, ждало его.

Он надеялся, что найдет Левицкого уже пришедшим в сознание; почти с полною уверенностью в этом он подходил к той комнате, в которой провел столько мучительных часов у постели больного, и все-таки он едва

удержал крик восторга, услышав из этой комнаты голос жены: она говорит с Левицким, Левицкий пришел в сознание, Левицкий вне опасности!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч, — хорош я? — проговорил Левицкий. Он был еще чрезвычайно слаб и едва мог протянуть худую-худую руку входившему. — Что там, у Илатонцевых? Лидия Васильевна рассказала мне, что вы были у них.

— Хорошие люди, и отец, и она, — в особенности она. С какою милою привязанностью она говорила о вас, Владимир Алексеич! Она и на меня смотрела будто на родного, из-за того, что мы с вами любим друг друга.

— Да, она очень добрая и милая девушка, — отвечал Левицкий. — И я знаю, что она очень любит меня.

Эти слова совершенно сбили Волгина с его мыслей. При своей сообразительности он был совершенно уверен, что Левицкий спешил уехать из деревни именно для того только, чтобы удалиться от Илатонцевой, что Левицкий влюблен в нее, что любовь его была несчастна. Теперь, при помощи той же сообразительности, он увидел, что ровно ничего такого не должно было быть. Очевидно, чувства Левицкого к Илатонцевой были совершенно спокойные, дружеские, — такие же точно, как и ее к нему.

— Они оба будут чрезвычайно обрадованы, узнав, что вы стали говорить.

— Да, будут, я уверен.

— Знаете ли что? Я пошлю кого-нибудь к ним, сказать.

— Пошлите. Это хорошая мысль.

Волгин пошел искать хозяина, распорядился.

— Но скажите же, Владимир Алексеич, почему вы уехали от них так торопливо и сочинили предлог, письмо от меня, чтобы замаскировать причину отъезда?

— Друг мой, он еще слаб, ему вредно было бы много говорить, — заметила Волгина, — расскажет когда-нибудь после.

— Твоя правда, голубочка, — согласился муж, не замедлив сообразить, что действительно правда.

— Расскажите вы, что там было, у вас? Удалось или, как вы ждали, не удалось? — сказал Левицкий.

Волгин не утаил ничего: хоть ему очень хотелось бы утаить от жены историю о том, как он украсил себя разноцветными шелками: при своей сообразительности

он рассудил, что утаивать было бы напрасным трудом: все равно рассказал бы Нивельзин.

При всем желании побранить его жена не могла не смеяться. И Левицкий улыбнулся. Потом скоро стал дремать. Волгина увела остроумного рассказчика.

— Чудак ты, мой друг, — заметила она ему, когда они сходили с лестницы, — человек только что начинает оправляться, а ты вздумал расспрашивать его.

— Это твоя правда, голубочка, — согласился основательный мыслитель. — Но только отчего же он уехал из их деревни? Я вижу, вовсе не от Илатонцевой, уверяю тебя, голубочка, не от нее.

— Ты ужасный простяк, мой друг.

— Это твоя правда, голубочка, — не замедлил согласиться основательный мыслитель.

— Но как я рада, мой друг, о, как я рада за него; и еще за саму себя: теперь я не буду беспокоиться, что ты убиваешь себя, теперь ты не будешь сметь слишком много работать.

1. Господин Савелов *(франц.)*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Госпожою Савеловой *(франц.)*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Господине Нивельзине *(франц.)* [↑](#footnote-ref-3)
4. барышня (франц.). [↑](#footnote-ref-4)
5. госпожу (франц.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Горы Звезды (франц.). [↑](#footnote-ref-6)
7. Правильное написание: j’ai, j’avais – я имею, я имела (*франц.*) [↑](#footnote-ref-7)
8. О, изменник! О, чудовище! (франц.). [↑](#footnote-ref-8)
9. О, чудовище! Посмотрите, как он лжет! Уверяю вас, что вы чудовище! (франц.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Свиданиях *(франц.)*. [↑](#footnote-ref-10)
11. мой дорогой господин Нивельзин (франц.). [↑](#footnote-ref-11)
12. зять *(франц.).* [↑](#footnote-ref-12)
13. Господин Нивельзин! Я в восхищении... (франц.). [↑](#footnote-ref-13)
14. «...вместе, я в этом уверена» (франц.). [↑](#footnote-ref-14)
15. Докладах (франц.). [↑](#footnote-ref-15)
16. свидании наедине (франц.). [↑](#footnote-ref-16)